



Татьяна Георгиевна Скребцова — кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН. Автор трех книг по когнитивной лингвистике, в их числе: «Когнитивная лингвистика: классические теории, новые подходы». Научные интересы также включают лингвистическую семантику, историю языкознания, лексикографию, прикладную лингвистику.

STUDIA PHILOLOGICA

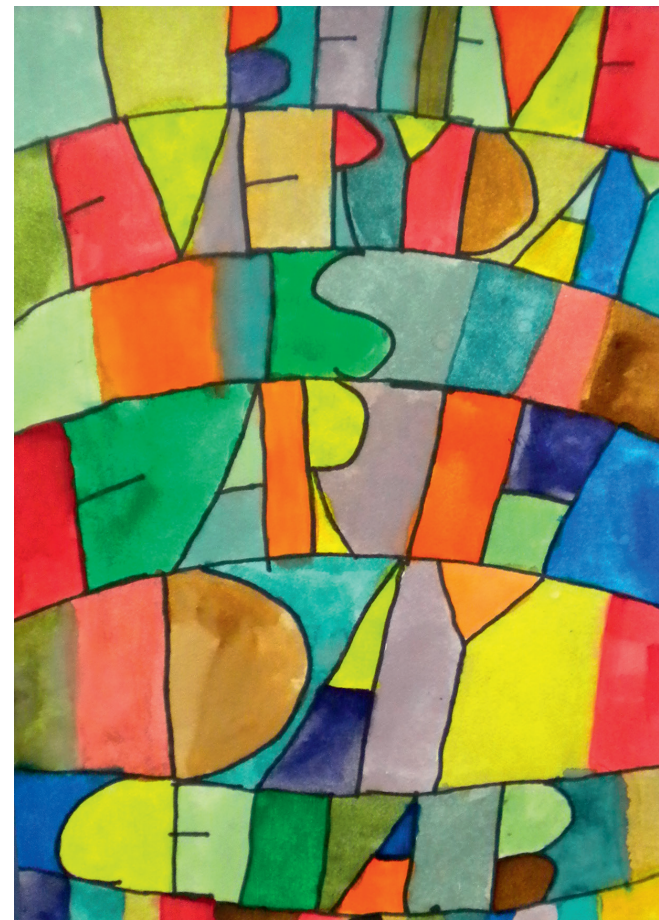
Т. Г. СКРЕБЦОВА ЛИНГВИСТИКА ДИСКУРСА

STUDIA PHILOLOGICA

Т. Г. СКРЕБЦОВА

ЛИНГВИСТИКА ДИСКУРСА

СТРУКТУРА
СЕМАНТИКА
ПРАГМАТИКА



Курс лекций

Т. Г. Скребцова

**ЛИНГВИСТИКА
ДИСКУРСА:
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА,
ПРАГМАТИКА**

КУРС ЛЕКЦИЙ



Издательский Дом ЯСК
Москва
2020

УДК 81.42

ББК 81

С 45

Скребцова Т. Г.

С 45 Лингвистика дискурса: структура, семантика, прагматика. Курс лекций. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 312 с. — (Studia philologica).

ISBN 978-5-907290-15-0

В книге освещается широкий круг вопросов, связанных с лингвистическим анализом дискурса в структурном, семантическом и коммуникативно-прагматическом аспектах, дается системное и комплексное представление о научных достижениях в этой области. Изложение основного материала сопровождается приложениями, которые содержат обзор исследований, связанных с определенной тематической областью, методом или школой дискурсивного анализа. В совокупности это создает широкую картину, отражающую многообразие современных дискурсивных исследований и позволяющую читателю ориентироваться в потоке соответствующей литературы.

Издание адресовано филологам, интересующимся структурными, семантическими, социально-культурными и когнитивными аспектами текста, речи, коммуникации. Оно также может быть использовано в практике преподавания ряда гуманитарных и общественных дисциплин.

УДК 81.42

ББК 81

ISBN 978-5-907290-15-0



9 785907 290150 >

© Т. Г. Скребцова, 2020

© Издательский Дом ЯСК, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Глава 1. Дискурс и дискурсивные исследования	11
Дискурс и смежные понятия	11
Типы дискурса	21
Анализ дискурса как научное направление	35
Глава 2. Структура дискурса	49
Различные подходы к определению структуры дискурса	49
Единицы дискурсивного анализа	57
Структурные свойства дискурса	60
Приложение 1. Структура бытового разговора (школа конверсационного анализа)	78
Приложение 2. Единицы речевого взаимодействия (на примере школьных уроков)	89
Приложение 3. Исследования структуры нарративного дискурса	103
Глава 3. Семантика дискурса	112
Различные подходы к интерпретации семантики дискурса	112
Объективность vs. субъективность содержания дискурса	117
Три ракурса рассмотрения семантики дискурса	119
Тема дискурса	131
Контекст дискурса	139
Прецедентные феномены в дискурсе. Интертекстуальность	147
Приложение 1. Контент-анализ советского дискурса (Г. Лассвелл, С. Якобсон)	158

Приложение 2. Структурно-семантический анализ отдельных жанров	173
Приложение 3. Когнитивный анализ политического дискурса (Дж. Лакофф)	189
Глава 4. Прагматика дискурса	200
Лингвистическая прагматика как подход к анализу дискурса	200
Теория речевых актов и ее применение к анализу дискурса	201
Принцип Кооперации	207
Принцип Вежливости	222
Коммуникативные стратегии и тактики	232
Мена коммуникативных ролей	236
Коммуникативная инициатива	238
Приложение 1. Исследования этнокультурного аспекта устного дискурса (интеракциональная социолингвистика)	242
Приложение 2. Гендерный аспект дискурса	259
Именной указатель	279
Предметный указатель	285
Литература	290

ПРЕДИСЛОВИЕ

В отечественной гуманитарной науке термин *дискурс* в последние годы стал чрезвычайно популярен. Да что там в науке — с легкой руки писателя Пелевина *дискурс* (на пару с *гламуром*) пошел в широкие читательские массы, смущая их своим иностранным обликом, вариативностью ударения и неопределенностью значения.

В научных кругах, однако, к нему быстро привыкли, и сегодня редко кого удивят или покоробят выражения *анализ дискурса*, *дискурсивные исследования* (разве что построенный по англоязычной грамматической модели *дискурс-анализ* немного смущает, но, вероятно, и это пройдет). Но вот словосочетание *лингвистика дискурса* пока еще остается редким.

Казалось бы, была *лингвистика текста* — почему бы теперь не возникнуть *лингвистике дискурса*? Однако внешняя аналогия обманчива. Как известно, лингвистика текста как особое направление формировалась в 1960–1970-е гг. под влиянием идеи о возможности расширения уровневой модели языка за счет добавления следующего за предложением уровня языковой структуры — уровня текста. Много усилий было потрачено языковедами на то, чтобы выделить и описать этот надсинтаксический уровень со структурной точки зрения (выявить единицы, из которых текст складывается, и определить правила их комбинации друг с другом), прежде чем стало понятно, что текст не поддается анализу в сугубо лингвистических категориях, а следовательно, не является уровнем языка. Но первоначально такая иллюзия была, и выражение *лингвистика текста* воспринималось как название нового раздела языкознания, логически следующего за синтаксисом.

Иначе обстоит дело с *лингвистикой дискурса*. Когда в начале 1980-х гг. в зарубежных странах возник анализ дискурса, неудачи, связанные с попыткой распространить структурную модель языка на текст, уже были осознаны и осмыслены¹. А ведь дискурс, согласно стандартной точке зрения, — еще более широкое понятие, чем текст. Новое направление позиционировало себя в качестве широкой междисциплинарной области исследований, места встречи и сотрудничества представителей разных научных дисциплин. Поэтому для *лингвистики дискурса* с самого начала была невозможна интерпретация, аналогичная той, что подразумевалась для *лингвистики текста*.

Какой смысл тогда можно вкладывать в это словосочетание? В словаре по семиотике А. Греймаса и Ж. Курте (1979, русский перевод — 1983) предлагаются две трактовки понятия *дискурс*, широкая и узкая. При широкой интерпретации дискурс отождествляется с семиотическим процессом, со всем многообразием способов вербального и невербального поведения. Узкая интерпретация сводит дискурс к языковой практике; в этом случае его «следует рассматривать как объект научной дисциплины — лингвистики дискурса или дискурсивной лингвистики» [Греймас, Курте 1983: 488]. Итак, с семиотической точки зрения, лингвистика дискурса — это лингвистика языковой практики.

В более позднем специализированном издании — французском энциклопедическом словаре по анализу дискурса (2002) — отмечается тенденция к противопоставлению лингвистики дискурса собственно лингвистике («лингвистике языка»), по аналогии со знаменитой оппозицией речи и языка. Однако авторы предостерегают от приравнивания лингвистики дискурса к «лингвистике речи», тем более что последняя весьма конспективно очерчена Ф. де Соссюром в его «Курсе общей лингвистики». К тому же за прошедшее столетие соотношение понятий языка и речи изменилось под влиянием исследований в области семантики, прагматики, когнитивистики [Charaudeau, Maingueneau 2002: 190]. Таким обра-

¹ Речь идет об анализе дискурса в современном понимании, а не в том варианте, что развивался З. Харрисом в его работах 1950-х гг.

зом, читатель узнает о том, чем лингвистика дискурса не является, но не получает какого бы то ни было положительного суждения.

В отсутствие определения обсуждаемого понятия ничего не остается, как предложить собственный взгляд. Поскольку дискурс — понятие чрезвычайно широкое и многогранное, любая попытка описать исследования в этой области предполагает ограничения. Следовательно, выражение *лингвистика дискурса* можно понимать как сосредоточение на лингвистических аспектах дискурса и дискурсивных исследований, в отвлечении от других — социологических, психологических, этнографических и т. д. (ср. *социология дискурса, психология дискурса, семиотика дискурса* и пр.).

Конечно, при изучении единого объекта любое разделение аспектов довольно условно, и даже обсуждение тем, указанных в подзаголовке настоящей книги, предполагает выход за границы языкознания. Так, вопрос о строении дискурса своими корнями уходит в лингвистику текста, показавшую, что структурная организация у текста / дискурса (в той степени, в какой о ней вообще можно говорить) не является языковой по своей природе. В то же время лингвисты внесли и продолжают вносить весьма существенный, если не основной, вклад в ее изучение. Что касается семантики дискурса, ее анализ в принципе невозможен без обращения к внешнему миру, речевой ситуации, фоновым знаниям участников и пр. (ср. широкую концепцию семантики в [Кобозева 2004: 13–16]). Прагматика как область, связанная с употреблением языка, по своему определению связана с выходом за рамки языковой системы. При этом ряд феноменов, связанных скорее с социологией дискурса, представляют для нее несомненный интерес, так как имеют характерные лингвистические проявления.

Насколько оправданным является понятие лингвистики дискурса? Сошлемся здесь на довольно давнее высказывание А. Е. Кибрика [1987: 35]: «Все, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики». Характерной чертой языкознания последних десятилетий является последовательное укрупнение единиц анализа: от предложения к сверхфразовому единству, к тексту и далее к дискурсу. «Пози-

ционирование лингвистики дискурса — это одно из проявлений экспансионизма в гуманитарной науке вообще и лингвистике в частности» [Чернявская 2014: 147].

Высказывались даже мнения о приоритетности дискурса как объекта лингвистического изучения. Задолго до вхождения этого термина в научный оборот и формирования анализа дискурса О. Есперсен писал [1958/1924: 15]: «Во всяком случае, невозможно понять, что такое язык и как он развивается, если не исходить постоянно и прежде всего из процессов говорения и слушания». Ср. современную формулировку:

...дискурс — это единственный заведомо реальный лингвистический объект. Люди разговаривают между собой дискурсами, а не предложениями и тем более не морфемами или фонемами. Это отличает дискурс от других языковых единиц, которые представляют собой научные конструкторы, плоды того или иного анализа, а раз так, то и трудно достичь согласия относительно их состава и природы. Поэтому естественное построение лингвистики как науки и следовало бы начинать с исследования дискурса, а лишь с учетом этого уровня исследовать более мелкие единицы, полученные в результате аналитических процедур [Кибрик 2009: 3].

Настоящая книга состоит из четырех глав. Изложение материала в каждой из них, за исключением первой, сопровождается приложениями, направленными на расширение представлений об отдельных вопросах, затронутых в самой главе. Приложения содержат обзор исследований, связанных с определенной тематической областью (структура нарративного дискурса, гендерный аспект дискурса), методологией (контент-анализ, структурный и когнитивный анализ) или отдельной научной школой (конверсационный анализ, Бирмингемская школа, интеракциональная социолингвистика).

Первая глава носит вводный характер. Она посвящена обсуждению содержания понятия «дискурс», его соотношениям с близкими по смыслу и более привычными понятиями текста, речи и стиля, проблеме выделения типов дискурса, а также истории становления дискурсивных исследований.

Вторая глава освещает круг вопросов, связанных со структурой дискурса. Проблема определения единиц дискурсивного анализа, кратко затронутая в тексте самой главы, подробно раскрывается в приложениях, посвященных исследованиям структуры бытового диалога (на примере американской школы конверсационного анализа) и коммуникации учителя с учениками на школьных уроках (Бирмингемская школа). Отдельно прослеживается история структурного подхода к исследованию нарративного дискурса (устного и письменного, бытового и литературного).

Третья глава отражает исследования, относящиеся к семантике дискурса. В соответствии с превалирующей точкой зрения, мы исходим из того, что содержание дискурса в значительной степени субъективно и меняется в зависимости от контекста. Поэтому разграничиваются три ракурса рассмотрения вопросов, относящихся к содержанию дискурса, а именно: семантические аспекты порождения дискурса, семантические аспекты понимания дискурса и семантика дискурса с позиции исследователя. Последний из них касается прежде всего методов семантического анализа и подробно иллюстрируется в приложениях. В Приложении 1 излагается метод контент-анализа в его оригинальном варианте на материале работ Г. Лассвелла. Приложение 2 посвящено структурному анализу текстов разных жанров. Приложение 3 представляет собой пример качественного анализа политических текстов в рамках когнитивной теории метафоры, дополненный работами, в которых делаются попытки сочетать качественный анализ с количественным применительно к аналогичному материалу.

Наконец, четвертая глава посвящена прагматическому аспекту дискурса. Как известно, теория речевых актов и «классическая» лингвистическая прагматика обычно ограничивались рассмотрением отдельно взятых, искусственно построенных предложений, что нередко вызывало критику. Однако многие достижения лингвистической прагматики релевантны и для дискурса: именно их мы и рассматриваем в настоящей книге (в то же время опуская понятия семантической пресуппозиции и перформативного высказывания, сфера действия которых ограничена одним предложением). Так, классификация речевых актов может быть использована при

выделении типов дискурса, импликатура часто становится заметна только при учете, по меньшей мере, пары соседних реплик; что же касается таких понятий, как коммуникативные стратегии и тактики, мена ролей, коммуникативная инициатива, они и вовсе требуют для своего анализа отрезки длиннее отдельного предложения. В качестве приложений приводятся обзоры исследований этнокультурного и гендерного аспектов дискурса, вскрывающие вербальные и невербальные коммуникативные особенности, предположительно обусловленные соответствующими социологическими параметрами.

Отдельно следует сказать о библиографии. Вследствие широты и размытости области дискурсивного анализа, литература по ней практически необозрима, и список без труда можно было бы умножить. Мы предпочли ограничиться работами, которые наиболее значимы либо для всей области в целом (таковы обобщающие публикации по анализу дискурса [Brown, Yule 1983; Stubbs 1983; Schiffrin 1994; Макаров 2003]), либо для той или иной темы. Практически не рассматривается пласт исследований, посвященных электронной коммуникации, что связано с их недостаточной разработанностью, фрагментарностью, отсутствием единой «системы координат» (что не исключает высокой численности).

Содержание книги основывается на материале лекционного курса по анализу дискурса, который автор читает на Филологическом факультете СПбГУ на протяжении 15 лет.

ГЛАВА 1

ДИСКУРС И ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дискурс и смежные понятия

Дискурс vs. текст, речь, стиль

В наши дни термин *дискурс* уже прочно закрепился в гуманитарных науках, хотя его содержание допускает различные интерпретации и в целом оказывается довольно широким и размытым. Введение нового термина всегда требует определения его отношений с уже имеющимися близкими терминами, и в этом плане *дискурс* не стал исключением. В 1980–1990-е гг., на этапе становления дискурсивных исследований, много труда было потрачено на установление соотношений между понятиями «дискурс», «текст» и «речь». Ведь с формальной точки зрения все они соответствуют тому, что американский постструктуралист З. Харрис (который, собственно говоря, и ввел термин *дискурс* в научный оборот) называл «языком выше уровня предложения» (англ. «*language above the sentence*»).

В литературе представлены разные точки зрения на соотношение указанных понятий. В том, что касается их объема, разумным представляется подход В. В. Богданова, который предложил считать *дискурсом* языковой материал в любой его репрезентации — будь то звуковая или графическая — и рассматривать данный термин как родовой по отношению к *речи* и *тексту*. При этом термин *текст*, который также неоднозначен, следует трактовать узко — как языковой материал, фиксированный на том или ином материальном носителе [Богданов 1993: 5–6].

В плане содержательных различий наибольшие сложности вызывает соотношение между понятиями «дискурс» и «текст». Попытки их разграничить проводились на основе следующих критериев, ср.:

1. По линии *письменный текст vs. устный дискурс*. Действительно, термин *дискурс* часто подразумевает устную реализацию, а *текст* — письменную. Но это далеко не всегда так, а потому при таком подходе объем этих понятий (в особенности дискурса) неоправданно сужается. Кроме того, деление на письменную и устную реализацию не всегда однозначно: к примеру, доклад можно рассматривать и как письменный текст, и как устное выступление (хотя и монологическое по своей природе);
2. путем привлечения понятия ситуации: *дискурс* предлагается рассматривать как ‘текст плюс ситуация’ (речь идет об учете соответствующей коммуникативной ситуации в совокупности ее разнообразных аспектов); тогда *текст*, соответственно, можно определить как ‘дискурс минус ситуация’;
3. с опорой на традиционную оппозицию «диалог — монолог», акцентируя интерактивность *дискурса* в противоположность *тексту*, являющемуся произведением, как правило, отдельного автора. Однако сама по себе эта оппозиция довольно условна — о диалогичности языка, речи и сознания писали многие исследователи. В связи с этим следует прежде всего упомянуть идеи М. М. Бахтина, вызвавшие к жизни новое направление гуманитарных исследований, связанное с феноменом интертекстуальности;
4. апелляцией к понятию действия, что особенно характерно для приверженцев так называемого критического анализа дискурса. Так, нидерландский лингвист Т. А. ван Дейк пишет, что *дискурс*, в отличие от *текста*, предполагает «как особую форму использования языка, так и особую форму социального взаимодействия, рассматриваемые совокупно в качестве законченного коммуникативного события, заключенного в некоторый социальный контекст» (цит. по [Wodak 1996: 14]).

5. Привлекаются и прочие критерии, такие как: функциональность — структурность, процесс — продукт, динамичность — статичность. Соответственно разграничиваются функциональный, динамичный *дискурс-как-процесс* и структурный, статичный *текст-как-продукт* (см., напр., [Brown, Yule 1983: 24]).

В Лингвистическом энциклопедическом словаре дискурс определяется как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами», «речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)». Дискурс — это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому термин *дискурс*, в отличие от термина *текст*, не применяется к древним текстам, связи которых с жизнью не восстанавливаются непосредственно. Под *текстом* понимают преимущественно абстрактную, формальную конструкцию, под *дискурсом* — различные виды ее актуализации, рассматриваемые с точки зрения ментальных процессов и в связи с экстралингвистическими факторами [Арутюнова 1990а: 136–137].

Схожее мнение высказывает ван Дейк, определяя текст как «абстрактный теоретический конструкт, реализуемый в дискурсе» (цит. по [Stubbs 1983: 9]). В таком случае соотношение между понятиями текста и дискурса оказывается аналогичным тому, что существует между понятиями предложения и высказывания. Если текст складывается из последовательно расположенных предложений, то дискурс членится на высказывания. Действительно, минимальной единицей дискурса, по мнению большинства исследователей, является высказывание² [Ibid.: 9–10].

Ссылаясь на определение дискурса как «функционирование языка в реальном времени» [Кибрик, Плунгян 1997: 308], Е. С. Кубрякова [2000: 22] подчеркивает, что дискурс анализируется адресатом

²Термин *высказывание* в настоящей книге употребляется в смысле ‘актуализованное предложение’.

в режиме онлайн. Из этого не следует, что речь идет исключительно об устной речи: имеется в виду рассмотрение текста или речевого произведения в динамике — по ходу его порождения или понимания.

Ввиду возникающих сложностей разумным кажется отказ от жесткого разграничения дискурса и текста, ср.: «Дискурс — более широкое понятие, чем текст. Дискурс — это одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат (= текст)» [Кибрик, Плунгян 1997: 307]. К этой формулировке следует добавить, что «при дискурсивном анализе и процесс языковой (речевой) деятельности, и ее результат (= тексты) рассматриваются во вполне определенном ракурсе, с определенной точки зрения и, конечно, для решения особых задач» [Кубрякова 2000: 23].

Рассуждения о соотношении понятий «дискурс» и «речь» неизбежно влекут за собой введенное Ф. де Соссюром классическое противопоставление языка и речи. Введение понятия дискурса можно рассматривать как добавление третьего члена и трансформацию данной оппозиции в градуальную, где дискурс оказывается «между» языком и речью. Если язык представляет собой систему чистых отношений в отвлечении от конкретных пользователей и речевых ситуаций, а речь — реализации этой системы (всякий раз новые, индивидуальные, случайные), то дискурс предполагает возвышение над частными особенностями речи и попытку обобщения по тем или иным параметрам (тип участников, характер коммуникативной ситуации, целеполагание, тематика, исторический период и пр.).

Для представителей русистики и славистики очевидна близость понятия «дискурс» к более привычному понятию функционального стиля, ср.:

Функциональный стиль — это исторически сложившаяся, осознанная обществом подсистема внутри системы общенародного языка, закрепленная за теми или иными ситуациями общения (типичными речевыми ситуациями) и характеризующаяся набором средств выражения (морфем, слов, типов предложения и типов произношения) и скрытым за ними принципом отбора этих средств из общенародного языка [Степанов 1965: 218].

Функциональная стилистика, основы которой были заложены в 20–30-е гг. XX в. В. В. Виноградовым, Г. О. Винокуром, Л. П. Якубинским, членами Пражского лингвистического кружка, ставила перед собой задачу изучения многообразия речи. Новая дисциплина должна была описывать «стилистику разговорной и письменной речи — во всем многообразии их целей, а в зависимости от этого — и типов построения» [Виноградов 1980: 5].

Несложно заметить, что и сами понятия (дискурса и функционального стиля), и задачи соответствующих дисциплин весьма близки. Чем же в таком случае обосновано появление в 1980-е гг. нового термина? Вот как на этот вопрос отвечает Ю. С. Степанов:

Причина того, что при живом термине *функциональный стиль* потребовался другой — *дискурс*, заключалась в особенностях национальных лингвистических школ, а не в предмете. В то время как в русской традиции <...> *функциональный стиль* означал прежде всего особый тип текстов — разговорных, бюрократических, газетных и т. д., но также и соответствующую каждому типу лексическую систему и свою грамматику, в англосаксонской традиции не было ничего подобного, прежде всего потому, что не было стилистики как особой отрасли языкознания. Англосаксонские лингвисты подошли к тому же предмету, так сказать, вне традиции — как к особенностям текстов [Степанов 1995: 36].

В то же время «дискурс не может быть сведен к стилю» [Там же: 41]. Дискурс — это

...«язык в языке», но представленный в виде особой социальной данности. <...> Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, — в конечном счете — особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимичных замен, свои правила истинности, свой этикет [Там же: 44].

Хорошим примером может служить русский язык хрущевской и брежневской поры, который не был ни новым языком, ни новым подъязыком, ни новым стилем. Это именно дискурс как особое использование языка, в данном случае русского, для

выражения особой ментальности, в данном случае также особой (советской) идеологии, что влечет активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики [Степанов 1995: 38].

Завершая данный раздел, следует отметить два различных употребления термина *дискурс* — широкое и узкое. Когда выше шла речь о соотношениях с терминами *текст* и *речь*, имелся в виду дискурс в широком смысле слова³. Когда же проводилась параллель между понятиями дискурса и функционального стиля, речь шла о дискурсе в узком смысле. Узкий смысл реализуется в сочетаниях с определением или зависимой именной группой, ср. *рекламный, политический, феминистский, полемический дискурс; дискурс тинейджеров, родителей, дискурс насилия* и пр. Подобные виды дискурса, как нетрудно видеть, могут выделяться на основании разнородных критериев: сферы бытования, стилистической специфики (определяемой тенденциями в использовании языковых средств), возрастной группы участников, их систем убеждений и ценностей, характерных способов рассуждения и т. д. Употребление термина *дискурс* в узком смысле оказывается близко не только к понятию стиля, но и индивидуального языка, достаточно сравнить привычные выражения *стиль Достоевского, язык Пушкина* или *язык большевизма* с такими более современно звучащими выражениями, как *современный русский политический дискурс* или *дискурс Рональда Рейгана*.

Дискурс и коммуникация

Коммуникация — понятие более широкое, чем дискурс, так как она может быть не только вербальной (речевой), но и невербальной (например, при помощи жестов). Предметом дискурсивного анализа является вербальная коммуникация, и в дальнейшем речь будет идти именно о ней.

³ В литературе можно встретить еще более широкое употребление термина *дискурс*, не предполагающее непременно вербальную реализацию, ср. *музыкальный дискурс, фильм как дискурс* [Эко 1998: 143, 171], однако для данной работы, ввиду ее лингвистической направленности, оно нерелевантно.

Традиционно выделялись две формы вербальной коммуникации: устная и письменная. Различия между ними можно кратко суммировать следующим образом⁴ [Богданов 1990: 3]:

- устная форма общения характеризуется сиюминутностью, преходящестью (эфемерностью), диалогичностью, спонтанностью, разговорностью, эллиптичностью и экзофоричностью (т. е. тесной связью с ситуативным контекстом);
- письменная форма общения характеризуется посттемпоральностью, фиксированностью, подготовленностью, развернутостью, эндофоричностью (меньшей зависимостью от внешнего контекста), а следовательно, большей формальной и содержательной автономностью.

В последние два-три десятилетия к этому традиционному бинарному делению добавился третий член — электронная (или виртуальная) коммуникация, сочетающая в себе признаки указанных разновидностей: обладая ярко выраженными свойствами устной речи, по своей реализации она является письменной формой общения. В последнее время электронная коммуникация (язык смс, чатов, социальных сетей и пр.) стала предметом многих исследований, направленных на выявление ее характерных особенностей в сопоставлении с устной и письменной формами общения.

Говоря о различиях между традиционными формами коммуникации, исследователи подчеркивают, что устное общение, в отличие от письменного, непременно содержит невербальные компоненты, в которые традиционно включают фонацию, кинесику и проксемику. Под фонацией понимают такие характеристики, как сила голоса, его тембр, особенности дикции коммуникантов; кинесика включает их жесты, мимику и позы, а проксемика — расстояние между участниками в различных видах общения.

Однако для многих ученых невербальные компоненты устной коммуникации этим не исчерпываются. Так, В. В. Богданов причисляет к ним молчание коммуникантов (поскольку в процессе

⁴ Более подробно о различиях между устным и письменным дискурсом см. ниже.

общения оно может быть семантически нагруженным), а также действия, сопровождающие речь. В невербальную сферу, по его мнению, входят и компоненты других семиотических систем, встраивающиеся в вербальное общение, а также окружающий предметный мир. Все эти составляющие обычно интерпретируются как паралингвистические [Богданов 1990: 7–8]. Заметим, что письменное общение также может включать невербальные компоненты (скажем, рисунки, схемы, чертежи), но это не является обязательным. Широкое присутствие невербально выраженной информации в электронной коммуникации обусловлено ее мультимодальностью.

В условиях, когда коммуниканты не имеют общего вербального канала (говорят на разных языках или один из участников не владеет речью), невербальные компоненты приобретают особую значимость. Однако они могут играть важную роль в коммуникации и тогда, когда общий вербальный канал имеется.

Считается, что роль невербальных компонентов в неофициальной речи выше, чем в официальной (в особенности публичной). В публичной речи допустимы только указательные жесты (например, на карту), а также подчеркивающие и выделяющие жесты. В неофициальной речи жесты разнообразны и часто дополняют речь, принимая на себя выражение отдельных смыслов, ср. следующий пример:

Ситуация: жаркий день, разговор двух родственниц. Одна идет в магазин, другая дает ей напутствие:

Не покупай ничего / ни голубцов / ничего что в жару [имеется в виду ‘портится’] // *но если купишь / обязательно как следует* [жест — рукой к носу = ‘нюхай’] [Земская 1988а: 20].

Жест или мимика могут не только дополнять, но и изменять смысл сказанного, вплоть до противоположного, ср.:

Ситуация: А и Б в рабочей комнате. Входит В.

В (к А): *Я вам не помешала?*

А: *Нет / что вы — что вы! Снимайте пальто!* (пока В снимает пальто, А кисло улыбается Б и показывает на толстую рукопись, которую он читал. Разводит руками = ‘что поделаешь’).

(к В, которая сняла пальто): *Садитесь пожалуйста* [Там же].

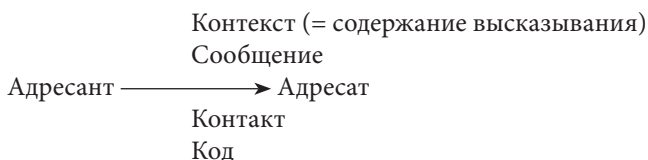
В зависимости от канала связи устная коммуникация подразделяется дополнительно на личную устную («лицом к лицу»), коммуникацию по радио, телевидению и телефону. При этом только в личном устном общении имеет место каноническая коммуникативная ситуация, при которой говорящий и слушающий могут видеть друг друга (единство времени и места), что способствует одинаковому пониманию дейктических языковых выражений [Падучева 1996: 260–261].

В литературе предлагались различные способы моделирования структуры коммуникативного акта, из которых наиболее известной является модель Р. Якобсона⁵. Вот ее краткое описание:

Адресант (addresser) посылает *сообщение адресату* (addressee). Чтобы сообщение могло выполнять свои функции, необходимы: *контекст* (context), о котором идет речь (в другой, не вполне однозначной терминологии, «референт» = referent); контекст должен восприниматься адресатом, и либо быть вербальным, либо допускать вербализацию;

код (code), полностью или хотя бы частично общий для адресанта и адресата (или, другими словами, для кодирующего и декодирующего);

и наконец, *контакт* (contact) — физический канал и психологическая связь между адресантом и адресатом, обуславливающие возможность установить и поддерживать коммуникацию. Все эти факторы, которые являются необходимыми элементами речевой коммуникации, могут быть представлены в виде следующей схемы:



Каждому из этих шести факторов соответствует особая функция языка [Якобсон 1975: 198].

⁵ Ср. также модели Г. Лассвелла и Д. Хаймса, имеющие выраженный социологический и этнографический уклон соответственно [Lasswell 1964; Хаймс 1975].

Соответственно, выделяется шесть функций:

1. **Функция референтивная (денотативная, когнитивная)**, ориентированная на предмет (референт) сообщения, шире — на *контекст*, который включает в себя собственно предмет сообщения, а также обстоятельства и условия, известные говорящему и слушающему из их опыта или допускаемые тем и другим как объективные.

2. **Функция экспрессивная (эмотивная)**, акцентирующая внимание на *адресанте* (говорящем), подчеркивающая его отношение к высказываемому им содержанию, причем часто в форме, выражающей эмоциональное состояние говорящего.

3. **Функция конативная**, выделяющая *адресата*, подчеркивающая его присутствие в акте сообщения. Она выражает намерение говорящего воздействовать на партнера, побудить его к действию. У этой функции есть грамматические показатели — форма повелительного наклонения и звательные формы типа *Мам! Саи! Коль!* Конативная функция особенно характерна для дискурса, связанного с речевым воздействием.

4. **Функция фатическая**, проявляющаяся в сообщениях, направленных на установление, поддержание или прекращение общения. Это функция *контакта* (например, *алло* или *слушаю* как начало телефонного разговора). Фатическая функция характерна для повседневного бытового общения.

5. **Метаязыковая функция**, связанная с поиском языковых ресурсов (*кода*), которые наилучшим образом соответствуют условиям данной ситуации и способности адресата адекватно понять сообщение. Эта функция находит свое выражение, например, в фактах замены одного слова другим, если говорящий обнаруживает, что слушающий испытывает трудности с пониманием. В более широком смысле это функция объяснения, характерная для научного и педагогического дискурса.

6. **Функция поэтическая (эстетическая)**, обеспечивающая особую потребность говорящего, связанную со словесным оформлением сообщения. Она выражает направленность на *сообщение* как таковое, сосредоточение на форме сообщения [Якобсон 1975: 198–203].

Выделение указанных шести функций носит относительный характер, поскольку в реальном общении чаще всего имеет место сочетание различных функций. Как отмечал Якобсон, трудно найти текст, выполняющий исключительно какую-то одну из них. Даже в научном тексте нельзя исключить возможность присутствия эмотивных или конативных элементов. И разумеется, поэзия не сводится исключительно к поэтической функции, а поэтическая функция не ограничивается поэзией.

Несомненной заслугой Якобсона является предложенное им новое понимание процесса вербальной коммуникации, при котором она не привязывается лишь к одной из возможных функций⁶, а получает более широкое толкование с учетом различных целей, факторов и обстоятельств речевой деятельности. Языковые функции находятся в определенной корреляции с типами речевых актов: так, конативная функция является центральной для директивных актов, референтивная — для ассертивов, экспрессивная — для экспрессивов.

Типы дискурса

В настоящее время вопрос о типологии дискурса остается нерешенным, несмотря на существование некоторых оснований, позволяющих выделить его некоторые (более или менее крупные) виды. Задача создания общей типологии является не просто актуальной, а, возможно, ключевой, так как от ее решения зависят перспективы построения общей теории дискурса, выявления всего дискурсивного многообразия и в целом прогресс в данной научной области (ср. [Кибрик 2009: 19]). Ниже рассматриваются основные, широко распространенные параметры классификации и соответствующие типы дискурса.

⁶ Как правило, ведущей (если не единственной) считалась функция, связанная с передачей информации (у Якобсона она обозначена как референтивная). Ср. также три функции языка у К. Бюлера: репрезентативную, экспрессивную и аппеллятивную, в целом соответствующие первым трем функциям из списка Якобсона.

Устный, письменный, электронный дискурс

Наиболее общим считается традиционное деление дискурса на устный и письменный модус, обусловленное каналом связи (акустическим в первом случае, визуальным — во втором). Несмотря на то что в течение многих веков письменный язык пользовался большим престижем, чем устный, совершенно ясно, что устный дискурс — это исходная форма существования языка, а письменный дискурс — производная. При сопоставлении этих форм исследователи подчеркивают естественный характер устной речи и вторичную, искусственную природу письменных текстов.

После того как в XIX в. был признан приоритет устного языка, еще в течение долгого времени не осознавалось то обстоятельство, что письменный язык и транскрипция устного языка — не одно и то же. Вплоть до середины XX в. ученые нередко искренне полагали, что изучают устный язык (в положенном на бумагу виде), в то время как фактически анализировали письменную форму языка. Изучение «реальной» устной речи, направленное на учет и анализ различных особенностей ее протекания, началось лишь в 1970-е гг.

Сопоставляя устный и письменный дискурс, можно выделить целый ряд различий как в процессе, так и в результате (совокупности высказываний). Рассмотрим их более подробно.

Основные различия в процессах порождения и восприятия дискурса могут быть суммированы следующим образом:

- в устном дискурсе имеет место контакт между говорящим и адресатом во времени и пространстве (или, по крайней мере, во времени). При письменном дискурсе такого контакта в норме нет (поэтому люди и прибегают к письму);
- в устном дискурсе, в отличие от письменного, имеет место вовлечение говорящего и адресата в единую ситуацию;
- в устном дискурсе порождение и понимание происходят синхронизированно, а в письменном — нет;
- в устном дискурсе, в отличие от письменного, непременно присутствует паралингвистическая информация, которая может передаваться фонацией, кинесикой, проксемикой и прочими невербальными компонентами;

- устный дискурс характеризуется спонтанностью, а письменный — подготовленностью⁷;
- в устном дискурсе, в отличие от письменного, у говорящего имеется обратная связь, позволяющая ему корректировать свои коммуникативные тактики и ходы в зависимости от реакции адресата. Это, с одной стороны, является преимуществом говорящего перед пишущим, с другой — требует восприимчивости и быстрой реакции, а также умения контролировать проявление эмоций, в особенности при общении «лицом к лицу».

Отличия устного дискурса (рассматриваемого как конечный продукт, результат) от письменного текста хорошо известны, ср.:

- устный дискурс менее нормативен, чем письменный, он содержит грамматические ошибки, фальстарты, паузы, гезитации и пр.;
- устный дискурс характеризуется большей эллиптичностью, что обусловлено имеющейся у коммуникантов возможностью в реальном времени переспросить, уточнить и т. д. Письменный дискурс, за неимением такой возможности, вынужден быть достаточно полным и эксплицитным;
- синтаксис устной речи гораздо менее структурирован, чем у письменного текста: в нем много неполных предложений

⁷ Неподготовленность иногда считается важнейшим признаком устной речи (ср. [Земская 1988а: 7]) — позиция, которая вполне может вызвать возражения. К примеру, доклад относится к жанрам устной речи, но предполагает предварительную подготовку. В связи с этим Е. А. Земская уточняет, что «признак неподготовленность по-разному обнаруживает себя в разных видах устной речи» [Там же: 25]. Соответственно, можно говорить о наличии некоторой шкалы, или континуума, крайними точками которой являются подготовленная (вплоть до выученной наизусть) речь и абсолютно неподготовленная, спонтанная речь. Пространство между ними занимают те устные выступления, которые являются частично спланированными (так, может быть заранее продуман общий план, начало или конец, разработаны тактики достижения коммуникативной цели, придуманы отдельные ходы — эффектные речевые обороты, шутки). Подготовленность дискурса связана с еще одним параметром — фиксированностью темы (подробнее см. [Там же]).

(*Да; Хочу; Не звонил; В кино; Вот этот*), мало подчинительных связей. Наблюдается также преобладание активных конструкций над пассивными и относительно высокий удельный вес неопределенно-личных предложений (*На углу построили новый торговый центр; Что пишут?*);

- в устном дискурсе обычно используется ограниченный ряд соединительных элементов (*и, а, но, потом*), да и те часто опускаются (напр.: *Я так устала, [потому что] мне пришлось идти всю дорогу пешком*). Для письменного дискурса характерно широкое использование языковых выражений, обеспечивающих формальную связанность текста (*во-первых, в заключение, кроме того, однако, несмотря на то, что* и пр.);
- устный дискурс часто строится не по принципу «подлежащее — сказуемое», а по принципу «тема — рема», ср. *А кошки, ты их накормила? А Иван, он уже пришел?* Подобные конструкции совершенно не типичны для письменного дискурса;
- в устном дискурсе определяемое слово редко имеет два и более определений, а распространенные определения вообще нехарактерны;
- устный дискурс изобилует словами с широкой и размытой семантикой (*много, хороший, очень, вещь, место, делать*);
- для устного дискурса характерны слова-паразиты.

С формальной точки зрения разделение устного и письменного дискурса на составляет труда: устная речь реализуется в форме звуковой материи и воспринимается акустически, а письменная речь воплощается графически и воспринимается визуально. Однако при обращении к конкретным жанрам положение вещей не выглядит столь простым и однозначным из-за существования промежуточных, а следовательно, спорных случаев, ср., например, зачитывание заранее написанного доклада, художественную декламацию, чтение художественной литературы по радио, аудиокниги.

Дело осложняется тем, что в последние десятилетия это бинарное подразделение оказалось «подорвано» возникновением разнообразных форм электронной (или виртуальной) коммуникации,

которые с точки зрения своей манифестации и процесса протекания близки письменному дискурсу, а с точки зрения результата обнаруживают характерные черты устной речи, в том числе эллиптичность, ненормативность, слабую структурированность.

В более широком контексте появление и бурное развитие нового модуса коммуникации требует фундаментального и обстоятельного переосмысления широкого круга вопросов, связанных со структурным, семантическим и коммуникативно-прагматическим анализом дискурса. Ревизия прежних положений, базировавшихся на результатах изучения устного и письменного дискурса, еще только начинается. Тем не менее объем литературы, посвященной исследованию электронного модуса коммуникации, поистине огромен и продолжает стремительно расти, что обусловлено активным ростом интернет-технологий. Хочется надеяться, что количественный рост приведет к качественным изменениям в теории дискурсивных исследований.

Бытовой и институциональный дискурс

Еще одно фундаментальное деление дискурсивного пространства связано с противопоставлением бытового (неформального, повседневного) и институционального (формального, официального) типов дискурса. В схожем (хотя и не вполне тождественном) смысле В. И. Карасик [2000] говорит об оппозиции личностно-статусно-ориентированного дискурса.

Бытовой дискурс предполагает общение людей как отдельных индивидов, в то время как в институциональном дискурсе коммуниканты рассматриваются в качестве представителей определенных социальных или профессиональных групп, общественных институтов, носителей статусно-ролевых отношений. Онтологически первичным является бытовой дискурс, а овладение институциональным происходит в процессе социализации, прежде всего в образовательных учреждениях. Институциональный дискурс исторически изменчив и культурно специфичен, но основные его типы встречаются практически повсеместно, ср. политический, религиозный, педагогический, медицинский, деловой, спортивный, научный дискурс (подробнее см. [Там же]).

Разделение бытового и институционального дискурса не носит абсолютного характера, поскольку параметр официальности общения допускает градацию; вместе с тем оно является методологически существенным при анализе структурной организации дискурса, специфики передачи и восприятия смыслов и особенностей коммуникативного взаимодействия.

Противопоставление бытового и институционального дискурса не зависит от типов, выделенных на основе канала связи (см. выше), и в принципе может быть на него наложено, что позволит достичь более мелкого разбиения. К примеру, житейская болтовня подруг представляет собой устный бытовой дискурс, а их переписка (материальная или виртуальная) — также бытовой дискурс, но уже письменный либо электронный. Институциональная коммуникация также может протекать в разных формах, ср. рабочее совещание или собеседование при приеме на работу (устный дискурс), официальные документы (письменный дискурс) и деловую переписку по электронной почте (электронный, или виртуальный, дискурс).

Другие типы дискурса

Помимо отмеченных выше «крупных» оппозиций, при выделении типов дискурса практикуется опора и более частные критерии. Так, в работе [Левшина 2005: 47] выделяются следующие основания для классификации:

- 1) сфера употребления: дискурс политический, военный, религиозный, медицинский, юридический и пр.;
- 2) участники и их идеологические установки: дискурс профсоюзов, левых/правых, феминистский дискурс и т. д.;
- 3) коммуникативные цели участников: дискурс полемический, дидактический, манипулятивный, провокативный и т. д.

Дополнительным параметром, по-видимому, могла бы служить эмоциональная окраска дискурса (или отсутствие таковой), связанная с особенностями поведения коммуникантов. Так, можно провести параллель с упомянутыми в [Седов 1999: 57] типами языковых личностей и соответственно говорить, например, о куртуазном, инвективном, рационально-эвристическом и пр. типах дискурса. Вместе с тем использование этого параметра не столь однозначно,

поскольку он обусловлен не только спецификой индивидуальной психической организации, но и разнообразными аспектами внешнего контекста (в частности, статусно-ролевыми характеристиками коммуникантов). Если же речь идет о диалогическом общении, следует учитывать также характер поведения другого (или других) участника, что еще более затрудняет ситуацию.

Из многочисленных оснований для классификации текстов, предложенных в 1960–1970-е гг. в рамках так называемой лингвистики текста (ср. [Богданов 1993: 9–17]), в дискурсивных исследованиях используются лишь немногие. Так, дискурс, как и текст, привычно описывается в терминах монологического или диалогического⁸. К делению текстов на знаково-однородные и знаково-неоднородные (включающие символы прочих семиотических систем — логики, математики, химии и пр.) в наши дни добавились мультимодальные тексты (и мультимодальный дискурс), занявшие центральное место в электронной коммуникации. В дискурсивном анализе широко используются также понятия нарративного и аргументативного дискурса, восходящие к соответствующим функционально-смысловым типам речи — повествованию и рассуждению (ср. [Нечаева 1974]). Повествовательный, или нарративный, дискурс представляет интерес прежде всего в когнитивном и структурном аспектах, а связанный с рассуждением и убеждением аргументативный дискурс находится в центре внимания специалистов, занимающихся вопросами речевого воздействия и манипулирования.

⁸ Встречается также термин *полилог*, призванный подчеркнуть наличие более чем двух участников, однако многие исследователи считают его избыточным, указывая на то, что греческий термин *диалог* с префиксом *диа-* ('через') допускает любое число коммуникантов.

Речевые жанры

Более частные разновидности дискурса охватываются понятием речевого жанра. Как известно, первоначально термин *жанр* бытовал в литературоведении, где употреблялся для характеристики художественного произведения (ср. такие литературные жанры, как новелла, эссе, повесть, роман и т. д.). М. М. Бахтин его переосмыслил и распространил на вербальные произведения вообще (как устные, так и письменные), добавив определение: *речевой жанр*.

Согласно Бахтину, речевые жанры — это «относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы высказываний» [Бахтин 1986: 255]. Необходимо подчеркнуть, что *высказывание* автор понимал не в привычном современном смысле (как актуализированное предложение), а рассматривал его в качестве основной единицы общения, обладающей смысловой завершенностью и отграниченной от других таких же единиц сменой субъекта речи [Там же: 268]. Таким образом, под понятие речевого жанра подпадают и короткие реплики бытового разговора, и письмо, и стандартная военная команда, и развернутый приказ, и пестрый репертуар деловых документов, и публицистические, научные выступления, и все литературные жанры (от поговорки до многотомного романа) [Там же: 250–251].

Бахтин утверждал, что люди говорят только определенными жанрами: «Даже в самой свободной и непринужденной беседе мы отливаем нашу речь по определенным жанровым формам <...>. Эти речевые жанры даны нам почти так же, как нам дан родной язык» [Там же: 271]. И далее: «Если бы речевых жанров не существовало <...>, речевое общение было бы почти невозможно» [Там же: 272]. Таким образом, говорящему даны не только словарный состав и грамматика языка, но и обязательные для него формы высказывания, т. е. речевые жанры; эти последние так же необходимы для взаимного понимания, как и формы языка. Конечно, речевые жанры по сравнению с формами языка гораздо более изменчивы, гибки и пластичны, но для говорящего они имеют нормативное значение: они не создаются им, а даны ему. Поэтому единичное высказывание при всей его индивидуальности и твор-

ческом характере никак нельзя считать свободной комбинацией форм языка [Бахтин 1986: 273–274].

Употребление речевого жанра, по Бахтину, происходит так. Сначала появляется замысел. Он определяет, во-первых, предмет речи (тему) и, во-вторых, выбор жанровой формы. Затем происходит обратное влияние: замысел сам корректируется избранным жанром. В результате этого взаимного влияния формируются стиль и композиция. Побочное воздействие оказывают также субъективное отношение говорящего к содержанию своего высказывания и чужие высказывания.

Теория речевых жанров активно разрабатывается в отечественной лингвистике, приведя к образованию специального термина *жанроведение*. Современное понимание жанра отделилось от бахтинского определения (см. выше), сместившись в сторону речевого события и типа текста / дискурса. В качестве примеров жанра в литературе упоминаются обиходный разговор, рассказ (нарратив), опрос на уроке, инструкция по использованию прибора, бухгалтерский отчет, научная статья, воинский приказ, выписка из протокола, доверенность, трудовой договор, выступление адвоката в суде, интервью, репортаж, доклад, политическое выступление, воскресная проповедь, салонная болтовня, полицейский допрос, разговор по душам и т. д. Между тем отсутствует единое мнение относительно критериев выделения жанров, а следовательно, невозможно говорить о сложившейся номенклатуре жанров и общепринятой классификации. Непонятно, к примеру, являются ли спор, беседа, дискуссия самостоятельными речевыми жанрами, а если нет, то к какому жанру их следует отнести (широкий обзор современного состояния жанроведения см. в монографии [Дементьев 2010]).

Приведенная выше формулировка Бахтина о присущей каждому жанру устойчивой тематике, композиции и стилистики очерчивает базовые параметры для описания и сравнения речевых жанров. Очевидно, что не любая тема может стать предметом обсуждения в рамках той или иной речевой ситуации или типа текста. Композиция различных жанров тоже сильно варьирует, ср. стандартную схему повествования в виде последовательности

«завязка — кульминация — развязка», чередование фактов и обобщений в научных и научно-популярных текстах, структуру новостей в дискурсе СМИ (которую иногда сравнивают с перевернутой пирамидой), ход аргументации в публицистических текстах и пр. Некоторые жанры характеризуются выраженными стилистическими особенностями: так, инструкции и кулинарные рецепты изобилуют формами повелительного наклонения, рассказ содержит иконически упорядоченные глаголы в прошедшем времени, связанные соединительными элементами типа *потом, после того как*, в текстах официально-делового стиля (в отличие от художественного и публицистического) не допускается использование слов в переносных значениях и т. д.

У разных жанров также разные критерии завершенности. Аргументативные жанры заканчиваются тогда, когда доказано то, что требовалось доказать, или когда даны обоснованные ответы на поставленные вопросы. Дескриптивные (описательные) жанры считаются завершенными тогда, когда исчерпан описываемый фрагмент мира, т. е. когда названо все существенное (с точки зрения замысла), что содержится в этом фрагменте, а нарративные — когда исчерпано событийное содержание описываемого периода времени и/или когда события получили определенную развязку. Таким образом, завершенность связана с достижением намеченного результата (разумеется, с точки зрения говорящего, так как у адресата на этот счет может быть другое мнение).

Кроме того, речевой жанр обычно предполагает определенный канал связи. Если он изменяется, меняется и жанр: так, доклад на научной конференции — это не то же самое, что научная статья, а лекция перед студенческой аудиторией должна строиться иначе, чем глава из учебника. Все эти соображения, однако, носят довольно общий характер, оставляя открытым вопрос о критериях выделения жанра.

На сегодняшний день приходится констатировать отсутствие общей теории речевых жанров, единого понятийного и терминологического аппарата их описания, достаточно полного их перечня и принципов классификации. В связи с этим В. В. Дементьев справедливо замечает: «Судьба “теории” (не обойтись без кавычек)

речевых жанров сложилась драматично — не менее, чем судьба ее родоначальника» [Дементьев 1997: 37]. Сложившееся положение вещей особенно обращает на себя внимание на фоне счастливой судьбы теории речевых актов, последовательно и комплексно развивающейся на протяжении нескольких десятилетий [Там же]. Недостаточная разработанность теории может быть связана с тем, что понятие жанра речи оказывается «втиснуто» между понятиями речевого акта⁹, текстового типа, речевого события [Гольдин 1997; 1999].

Вопрос о классификации жанров упирается в поиск основания. Сам Бахтин предложил базовое деление жанров на *первичные (простые)* и *вторичные (сложные)*. Первые реализуются в процессе повседневного непринужденного общения, а вторые — в сфере научного, делового общения, художественной речи. Относительно первичных он писал, что «номенклатуры устных речевых жанров пока не существует, и даже пока не ясен и принцип такой номенклатуры» [Бахтин 1986: 273].

Развивая концепцию Бахтина, А. Г. Баранов не ставит знака равенства между первичными и простыми, а также вторичными и сложными жанрами. Вместо этого он предлагает разделять как первичные, так и вторичные речевые жанры на простые и сложные. Среди первичных жанров простые близки к речевому акту, а сложные представлены живым диалогом. Вторичные простые жанры — это функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение и под.), а сложные реализуются в литературных формах [Баранов 1997].

Т. Г. Винокур предлагает положить в основу классификации противопоставление двух речевых замыслов — «фатики» и «информатики», где первый имеет целью само общение, в то время как второй направлен на сообщение [Винокур 1993]. Соответственно выделяются группа *фатических* и группа *информативных* речевых жанров, каждая из которых допускает дальнейшие подразделения

⁹ Подробнее о соотношении теории речевых жанров и теории речевых актов см. [Дённингхаус 2002].

(пример классификации фатических речевых жанров см. в [Дементьев 1997]).

Современные исследователи нередко связывают категорию жанра со структурой речевого события. Есть простые речевые события (ответ, извинение, объяснение), есть более крупные (ссора, спор), а есть сложные речевые события (коллективные, планируемые, назначаемые, конвенциональные) типа застолья, митинга, вечеринки, урока, экзамена и пр. (ср., напр., [Дубровская 1999]). Поэтому иногда предлагается различать, так сказать, простые и составные речевые жанры: Т. В. Шмелева [1990] называет их соответственно *одноактными* и *многоактными*, а М. Ю. Федосюк [1997] — *элементарными* и *комплексными*.

В работах К. Ф. Седова и его последователей понятие речевого жанра занимает центральное место в иерархии единиц, где в качестве более крупной единицы постулируется *гипержанр*, объединяющий в своем составе несколько речевых жанров: к примеру, застолье — это гипержанр, в состав которого входят такие жанры, как тост, застольная беседа и пр. Напротив, в качестве более мелкой единицы выступает *субжанр*, по сути равный речевому акту. Характер субжанра зависит от того, в состав какого жанра он входит — так, колкость в светской беседе отличается от колкости в семейной ссоре. Автор вводит, кроме того, понятие *жанроид* для обозначения различного рода гибридов речевых жанров [Седов 2007: 14–15].

Многие авторы сходятся во мнении, что типология речевых жанров должна базироваться на типологии коммуникативных ситуаций. Задача состоит в том, чтобы выделить релевантные для классификации параметры коммуникативной ситуации (в литературе их называют *жанрообразующими* или *жанровыделяющими признаками*). Эти параметры, определенным образом конкретизируясь и взаимодействуя, формируют однотипные ситуации, которые «отличаются» в соответствующие типы текстов, т. е. в речевые жанры.

Самые очевидные параметры — это число участников общения (один, два или более двух) и наличие / отсутствие мены коммуникативных ролей; их совокупный учет приводит к выделению следующих трех разновидностей:

- 1) диалог (два участника с меной ролей);
- 2) полилог¹⁰ (более двух участников с меной ролей);
- 3) монолог.

Однако это дает лишь самое очевидное грубое разбиение, которое уже предлагалось в лингвистике текста (см. выше). Более подробную классификацию может обеспечить набор признаков, предложенный Е. А. Земской для дифференциации жанров устной речи. Сама автор при этом оговаривает, что в списке представлены лишь некоторые из существенных параметров, ср. [Земская 1988а: 43]:

- характер коммуникации (официальный / неофициальный),
- вид коммуникации (личная / публичная; последняя затем делится на массовую и коллективную),
- наличие цели,
- вид адресата (личный / коллективный / массовый),
- типическая концепция адресата (равный / подчиненный, мужчина / женщина, ребенок / старик, равный / подчиненный),
- обращенность к адресату (либо ее отсутствие),
- адресат пассивен / адресат участник.

Иная схема описания жанров устной речи представлена в [Китайгородская, Розанова 1999: 25–34]. В ее основу положены четыре основных параметра коммуникативного акта — время, место, партнеры коммуникации и тема, — которые далее подвергаются чрезвычайно подробной детализации. Авторы утверждают, что указанные параметры, «определенным образом конкретизируясь и взаимодействуя, формируют однотипные коммуникативные ситуации, которые “отливаются” в соответствующие типы текстов, т. е. в жанры» [Там же: 34]. На этих параметрах, по мнению авторов, и должна строиться типология речевых жанров; в частности, обсуждается применение предложенной схемы к описанию устной некодифицированной речи.

Жанрообразующие признаки в концепции Т. В. Шмелевой не ограничены рамками устной коммуникации, ср. [Шмелёва 1997]:

¹⁰ Не все исследователи считают этот термин оправданным, см. выше.

- коммуникативная цель,
- образ автора,
- образ адресата,
- образ коммуникативного прошлого (учет предшествующего эпизода общения),
- образ коммуникативного будущего (учет дальнейшего развития речевых событий),
- диктумное, или событийное, содержание,
- языковое воплощение жанра — спектр его лексических и грамматических ресурсов.

Подобные параметры в принципе можно представить в виде единой «анкеты речевого жанра», обеспечивающей единообразное описание конкретных жанров и их систематическое сравнение. Так, сообщение, предсказание, признание и ответ совпадают по коммуникативной цели (передача информации), но различаются по другим признакам. Предсказание отличается от сообщения по событийному содержанию: в первом оно относится к будущему, во втором — к прошлому или настоящему. Признание отличается от сообщения по концепции автора: автор сообщения просто знает о ситуации, а автор признания имеет к ней непосредственное отношение и ранее не хотел о ней говорить. Сообщение отличается от ответа по образу коммуникативного прошлого: ответ является реакцией на предшествующее высказывание, а сообщение — нет.

Жанры исторически изменчивы: перемены в жизни общества и технический прогресс приводят к возникновению новых жанров, вытеснению некоторых жанров на периферию (вплоть до исчезновения) или их внутренней трансформации (структурной, языковой и пр.). Так, с возникновением электронной коммуникации начал формироваться целый комплекс совершенно новых жанров, характеризующихся высокой изменчивостью (см., напр., [Горошко, Жигалина 2010]). Меняются и жанры традиционной (устной и письменной) коммуникации, будь то сфера науки, делового или бытового общения, средств массовой информации и пр. (обзор эволюции широкого спектра жанров см. в [Campagna et al. (eds) 2012; Garzone et al. (eds) 2012]).

Анализ дискурса как научное направление

Предпосылки возникновения

Развитие лингвистики в XX в. в значительной степени было предопределено фундаментальной мыслью основоположника структурализма Ф. де Соссюра о необходимости разграничения языка и речи. Противопоставляя их по ряду признаков (язык социален, а речь индивидуальна; язык системен, а речь хаотична и случайна), он утверждал, что лишь язык составляет предмет изучения лингвистики в собственном смысле. Отказ от исследования речи мотивирован тем, что в ней «нет ничего коллективного: проявления ее индивидуальны и мгновенны; здесь нет ничего, кроме суммы частных случаев...» [Соссюр 1999: 27].

Под влиянием сосюрковского «Курса общей лингвистики» лингвисты надолго сосредоточились на описании языка как системы: выявлении языковых единиц на разных уровнях анализа, а также их дистрибуции и связей, — сознательно исключив из рассмотрения речь. Вот как об этом писал У. Лабов:

Лингвисты довольно неожиданно дали новое определение своей области таким образом, что повседневное использование языка обществом оказалось за пределами интересов собственно лингвистики и получило название речи, а не языка. Вместо того чтобы сражаться с трудностями, которые создаются этим материалом, они нашли теоретическое обоснование, делающее излишним само это рассмотрение. В самом деле, утверждалось, что лингвисту не следует интересоваться фактами речи (цит. по: [Робен 1999: 184–185]).

В своих трудах Лабов неоднократно подчеркивает эту мысль, ср.: «лингвистика была определена так, чтобы исключить изучение социального поведения или исследование речи»; «лингвистика решительно повернулась спиной к речевому коллективу» [Лабов 1975: 101, 106].

Успехи структурного подхода в описании языка, особенно в области фонологии и морфологии, на время затмили тот факт, что из виду упускается нечто важное — использование языка

людьми. Как справедливо заметил Р. де Богранд, со времен Соссюра лингвистика преимущественно занималась изучением виртуальных систем. Однако для того, чтобы люди могли общаться друг с другом, им недостаточно знать виртуальную систему. Они должны знать не только какие варианты существуют, но и какие из них уместны в той или иной ситуации, для той или иной цели. Текст является актуальной системой, и для того чтобы его создать, человек должен уметь актуализировать виртуальную систему [De Beaugrande 1980: 16]. То, как он это делает, также подлежит ведению лингвистики, ср.: «...лингвистическая теория имеет не большее право игнорировать социальное поведение носителей языка, чем теоретическая химия — наблюдаемые свойства элементов» [Лабов 1975: 177].

С появлением электронно-вычислительной техники стали предприниматься попытки моделирования языковой способности человека и создания систем автоматической обработки языка. Теоретический фундамент подобных разработок составляла магистральная идея структурализма о дихотомии языка и речи. Язык пытались описывать в виде системы уровней, выделяя присущие каждому из них единицы и правила сочетаний единиц друг с другом; речь же была принципиально исключена из рассмотрения. В качестве материала использовались искусственно созданные, придуманные примеры, а не реальный узус. Бурное увлечение формальным описанием языка (в виде набора элементов и алгоритмически упорядоченных правил их комбинации) началось с трансформационной порождающей (генеративной) грамматики Хомского (первая версия — 1957 г.). Весьма скоро, однако, исследователи столкнулись с трудностями: отделить систему языка от ее использования носителями, т. е. описать язык, не обращая к тому, как он функционирует, оказалось проблематично.

Как реакция на неудачи генеративной грамматики, стремившейся изучать значения синтаксических конструкций на примере изолированных, специально сконструированных предложений, возникает понятие «дискурс» и формируется область дискурсивных исследований. Главная черта всего дискурсивного направления — убежденность в том, что грамматика языка не может изучаться

без обращения к его использованию. Дискурсивный анализ провозглашает зависимость всей организации языка от его главной коммуникативной функции [Кубрякова 2000: 10].

Мысленно оглядывая развитие языкознания в XX в., можно констатировать, что оно «описало достаточно парадоксальную траекторию, начав практически с выведения речевой деятельности за скобки собственно лингвистического исследования, а закончив необычайно широким спектром работ, в которых рассматриваются самые различные проблемы дискурсивной активности, речи и речевых действий, структуры текста» [Дискурс, речь, речевая деятельность 2000: 4].

Источники, они же — подходы

Становление дискурсивного анализа как самостоятельного направления обычно датируют 80-ми гг. XX в. Среди его более ранних предтеч упоминается античная риторика и поэтика, а также добавившаяся к ним в не столь далеком прошлом стилистика [Дискурс, речь, речевая деятельность 2000: 4].

В непосредственной перспективе формирование дискурсивного анализа как новой междисциплинарной области было обусловлено развитием гуманитарного знания в 1960–1970-е гг. В качестве непосредственных источников в литературе фигурируют следующие направления и дисциплины [Дейк 1989а: 113–119; Schiffrin 1994].

1. **Лингвистическая прагматика**, зарождение которой связывают с выходом в свет в 1962 г. книги британского логика Дж. Остина «*How To Do Things with Words*» (русск. пер. [Остин 1986]). В западной традиции принято различать теорию речевых актов (Остин, Сёрль) и собственно лингвистическую прагматику, направленную на изучение принципов речевого общения (Грайс, Лич). В отечественной традиции прагматику понимают широко — в соответствии с ее семиотическим определением как «отношения знаков к интерпретаторам» — и включают в нее оба указанных направления (более подробно см. главу 4).

2. **Социолингвистика** с ее интересом к изучению реального использования языка в социальном контексте и исследованиями вариативности. Именно работы в области социолингвистики

поставили под сомнение сосюрсовское понятие речи как индивидуального, частного продукта. Они наглядно продемонстрировали, что речь — это результат не индивидуального выбора, а социальной дифференциации: вариативность определяется социальными факторами (ролями и целями участников, характером коммуникативной ситуации и пр.). Социолингвистические исследования языковой вариативности, первоначально сосредоточенные на фонологических различиях (У. Лабов, П. Традгилл), затем расширились и на прочие языковые феномены, включая дискурс.

3. Этнография коммуникации (или этнография речи), направленная на описание культурно обусловленной специфики коммуникативного поведения. Эта новая область исследований восполнила то, что обычно упускалось из виду как лингвистами, так и антропологами (этнографами), поскольку лежало на стыке соответствующих дисциплин. Для сравнительного описания характерных для разных культур коммуникативных ситуаций основоположник данного направления Д. Хаймс разработал собственную модель SPEAKING, где каждая буква обозначала тот или иной параметр, ср. *S* — *situation*, *P* — *participants* и т. д. (см. также [Хаймс 1975]).

4. Интеракциональная социолингвистика (*interactional sociolinguistics*), сформировавшаяся под влиянием исследований в области этнографии коммуникации и стремившаяся к плодотворному синтезу достижений культурной антропологии, социологии и лингвистики. Усилия американского лингвиста Дж. Гамперца и его коллег были направлены на то, чтобы широко и всесторонне исследовать взаимосвязь между обществом, культурой и языком. Основной предмет исследования составляли межкультурные различия в способах выражения коммуникативного намерения и интерпретации высказываний; при этом учитывался широкий спектр как вербальных, так и невербальных компонентов речевого общения, в том числе внешний контекст. Материалом исследования служили записи разговоров в малых группах, где по крайней мере один из коммуникантов не принадлежал к доминирующей культурной группе; при этом важное место занимал анализ связанных с этим коммуникативных неудач (более подробно см. Приложение 1 к главе 4).

5. **Конверсационный анализ** (*conversation analysis*), направленный на изучение структуры повседневного (бытового) разговора и связанный с именами Г. Сакса, Э. Щеглова, Г. Джефферсон. Теоретическая платформа, представленная этнометодологией Г. Гарфинкеля (см., напр., [Гарфинкель 2007]), была скорее социологическая, нежели лингвистическая. Практикуя недоверие к разного рода идеализированным конструктам, Сакс, Щеглов и Джефферсон избегали постулировать какие бы то ни было априорные предположения относительно языковых структур и функций, знаний коммуникантов, их коммуникативных намерений, связей между высказываниями и пр. Предполагалось, что любые единицы, модели и правила следует извлекать из конкретного материала речевого взаимодействия. Конверсационный анализ воплощает в себе структурный подход к анализу разговора, при котором структура первична, а функция элемента вторична и может быть выявлена только из его места относительно других элементов (более подробно см. также Приложение 1 к главе 2).

6. **Структуралистские и семиотические исследования во Франции**, получившие бурное развитие в 1960-е гг. в немалой степени благодаря переводу книги В. Я. Проппа «Морфология волшебной сказки» (1928) сначала на английский, а затем и на французский язык. Под влиянием этой книги, а также структурного исследования мифов [Леви-Строс 1983] во Франции складывается нарратология как особая дисциплина, занимающаяся изучением повествовательных структур и представленная именами Р. Барта, А. Греймаса, Ц. Тодорова, К. Бремона, Ю. Кристевой.

7. **Когнитивная психология**, изучающая то, как человек воспринимает, запоминает, хранит в памяти и воспроизводит полученную информацию, а также **теория искусственного интеллекта**, в которой соответствующие гипотезы получали проверку при компьютерном моделировании процессов понимания и порождения текста.

8. **Лингвистика текста**, связанная с гипотезой о том, что текст представляет собой еще один (надсинтаксический) уровень языковой структуры. Предмет рассмотрения составлял не собственно текст как целостное речевое произведение, а цепочка из нескольких

(обычно двух-трех) предложений. Внимание исследователей было по большей части сосредоточено на анализе связей между соседними предложениями, которые первоначально мыслились в виде такой же четко регламентированной системы, какой лингвистам в то время представлялись отношения в системе фонем, грамматических форм и синтаксических структур. Однако попытки разработать грамматику текста (предпринимавшиеся в разных странах, в том числе и в СССР) потерпели неудачу, причина которых состояла в том, что текст не является уровнем языка. Это явление иного порядка, и лингвистического аппарата для его анализа недостаточно.

До конца 1970-х гг. все эти направления развивались в значительной степени автономно. Их взаимодействие в рамках новой широкой области — дискурсивного анализа — относится уже к 1980-м гг. Впрочем, за немногими исключениями, перечисленные области исследований сохраняются в самостоятельном виде и в наши дни, что позволяет Д. Шиффрин квалифицировать их одновременно и как источники дискурсивного анализа, и как существующие подходы к нему [Schiffirin 1994].

Такое положение вещей объясняется значительными различиями между данными направлениями в том, что касается их происхождения, основных посылок, ключевых понятий, способов сбора данных, методов исследования. Различны и исходные установки относительно языка и дискурса, касающиеся стабильности языкового значения, соотношения между языковым значением и ситуативным смыслом, функций языка, роли контекста, коммуникативного намерения говорящего и пр. В связи с этим можно указать, например, на центральную роль говорящего в теории речевых актов и лингвистической прагматике и ее меньшую значимость в социологически ориентированных подходах, где центр тяжести переносится на социальный и культурный контекст или на реакцию слушающего. Различно и отношение к контексту. Лингвистическая прагматика (по крайней мере, в своем «классическом» варианте) не предполагает выхода за границы отдельного высказывания, но при этом акцентирует коммуникативное намерение говорящего,

лингвистика текста и разговорный анализ учитывают ко-текст предложения, но не внешний контекст, а для социолингвистических и этнографических подходов, напротив, особенно важны именно внешние параметры коммуникативной ситуации. Можно упомянуть также не характерный для других направлений примат структуры дискурса над формой и значением отдельных реплик в разговорном анализе.

Существенные отличия в методах сбора и анализа данных, по мнению Шифрин, являются следствием кардинального расхождения исследователей в вопросе о том, что считается материалом и что составляет доказательство. Для лингвистики текста материалом служат письменные тексты, а для прочих направлений перво-степенный интерес представляет устное общение. Интеракционная социолингвистика сосредоточена на детальном изучении небольших фрагментов разговора, а исследования вариативности — на том, как единицы дискурса распределены в разных текстах. Теория речевых актов и лингвистическая прагматика конструируют неких идеализированных, лишенных индивидуальных характеристик говорящего и слушающего, в то время как в этнографии коммуникации всегда изучается конкретный говорящий, который сам впоследствии комментирует запись состоявшегося общения. Подобные сопоставления можно продолжать, выявляя все новые аспекты сходств и различий между рассмотренными направлениями.

Школы и направления

В англоязычной традиции название *анализ дискурса* в свое время закрепилось за Бирмингемской группой лингвистов (J. Sinclair, M. Coulthard, W. Edmondson, M. Stubbs), работавших над проектом «*The English Used by Teachers and Pupils*» (1970–1972 гг.) и создавших собственную модель анализа дискурса, которая получила широкую известность, в том числе и за пределами Великобритании (см. [Advances... 1992]). Изучая речевое взаимодействие учителей и учеников на уроках, авторы проекта пытались выявить, как соседние высказывания связаны в потоке дискурса, кто и каким образом управляет ходом общения, как происходит мена комму-

никативных ролей, как вводятся новые темы. Речевой жанр урока был выбран потому, что он, в отличие от повседневного бытового общения, лишен хаоса и спонтанности и обладает очевидными признаками структурной организации.

Французские традиции анализа дискурса ставят во главу угла искусство чтения текста: это обусловлено той ролью, которую во Франции играет литература и ее преподавание. Французская школа дискурсивных исследований сформировалась под сильным влиянием популярного во Франции структурализма и объединила в себе лингвистику, марксистскую философию Л. Альтюссера и психоанализ Ж. Лакана (последний — под девизом «возвращения к Фрейду»). Новое направление посвятило себя размышлению над текстом. Оно не ставило своей задачей выявление его подлинного, единственного значения, а призывало учиться вычитывать множественность и разнообразие смыслов, «вскрывать нескрытое». Зарождение французской школы совпало по времени со студенческими волнениями мая 1968 г., поэтому она с самого начала была ориентирована на политические тексты, а исходным материалом для разработки методики служили студенческие листовки. Некоторое представление об особенностях данной школы можно составить по сборнику [Квадратура смысла...].

Немецкая школа анализа дискурса, представленная именами У. Мааса, Ю. Линка, Ю. Хабермаса, сосредоточена прежде всего на изучении языка тоталитарного общества. Рассматривая дискурсивный анализ как средство исторической, идеологической, психологической реконструкции «духа времени», немецкие исследователи занимаются интерпретацией текстового корпуса времен национал-социализма и Третьего рейха. Анализ особых исторических условий господства одной идеологии и уничтожения, вытеснения других представлений, несовпадающих с генеральной линией партии, позволяет делать выводы о механизмах языкового управления и подавления масс. Каким образом стало возможно, что идеология одной группы лиц (национал-социалистов) вытеснила в немецком обществе 30–40-х гг. XX в. все другие взгляды? Как в короткий временной отрезок определенная языковая практика стала доминирующей и тотальной? [Чернявская 2006: 81–88].

Особо следует сказать о таком течении, как критический анализ дискурса, крупнейшими представителями которого являются Н. Фэйрклаф, Р. Водак и Т. А. ван Дейк. Термин *критический* восходит к идеям Франкфуртской философской школы (одного из западных течений марксизма), и в частности к работам Юргена Хабермаса, утверждавшего, что наука должна быть саморефлексивной, т. е. анализировать лежащие в ее основе интересы. Критический анализ дискурса рассматривает дискурс как форму социальной практики [Van Dijk 1994: 107]. Скрупулезно изучая проявления идеологии и власти в языке, данное направление ставит своей целью выявлять и публично разоблачать проявляющиеся в дискурсе отношения неравенства и дискриминации, а также принимать практические меры для исправления ситуации. Это могут быть меры социально-политического характера или шаги, направленные на выработку недискриминационных речевых практик и изменение норм языкового употребления. Примером последних может служить феминистская критика языка, вызвавшая к жизни более широкий проект, связанный с разработкой политкорректного языка.

Современное состояние

Наличие разнообразных подходов и школ обуславливает широту, размытость и слабую структурированность той области, которую на русском языке называют *дискурс(ив)ным анализом, анализом дискурса, дискурс-анализом, дискурс(ив)ными исследованиями*¹¹. В связи с этим М. Стаббз справедливо замечает, что невозможно написать исчерпывающую книгу по анализу дискурса — подобно тому, как невозможно охватить все грамматические явления различных языков в одной-единственной книге под названием «Грамматика» [Stubbs 1983: 12]. Это, впрочем, не мешает появлению соответствующих публикаций: из отечественных следует особо отметить содержательную и хорошо структурированную книгу

¹¹ В настоящей книге эти обозначения употребляются синонимически, хотя в англоязычной литературе *discourse studies* считается более широким направлением, чем *discourse analysis*.

[Макаров 2003], из зарубежных — многократно цитируемые издания [Brown, Yule 1983; Stubbs 1983] и вышедшие позднее учебные пособия [Schiffrin et al. 2001; Johnstone 2002; Hyland, Paltridge (eds) 2011; Gee, Handford (eds) 2012; Taylor 2013; Gee 2014], в том числе энциклопедический словарь [Charaudeau, Maingueneau 2002] и хрестоматию [Angermuller et al. (eds) 2014].

Сам факт выделения этой области исследований говорит о том, что она имеет свои особенные черты. Попытаемся их обозначить, начав с характеристики главных аспектов — материала, предмета и методов исследования.

Материал исследования в дискурсивном анализе составляют устные и письменные формы речевой коммуникации в естественных условиях «реального мира» — иными словами, письменные тексты и аудио- и видеозаписи (обычно их объем выходит за рамки одного предложения / высказывания). Как правило, анализируются записи устного общения.

Анализ дискурса по своей природе эмпиричен: материал извлекается из речевых сообществ, искусственно созданные примеры не используются. Задача материала — фиксировать то, как люди в действительности используют язык, а не то, как они в принципе должны его использовать. Материал первичен и первостепенен, а теория должна его удовлетворительно объяснять; в случае необходимости выдвигаются новые гипотезы, которые тут же проходят проверку на имеющихся данных.

Записи устного дискурса иногда называют *performance data* («сырой устный материал»), поскольку они содержат многочисленные хезитации, оговорки, фальстарты, неправильные языковые формы. Записи транскрибируются исследователем в соответствии с выбранной им нотацией. Подробная фонетическая транскрипция практически не используется в силу того, что ее восприятие затруднено. Исследователи обычно используют обычный способ записи, при котором непрерывный поток речи членится на слова и предложения, а особенности произношения утрачиваются. Все это неизбежно обедняет и искажает изначальный материал. Что касается супrasegmentных характеристик речи, то общепринятого их набора и способа обозначения не существует, так как для

разных исследователей могут быть важны разные особенности речи. Тем не менее большинство стремится так или иначе отразить паузацию, гезитацию, акцентное выделение, маркированную интонацию, наложение реплик и некоторые другие параметры.

Транскрибирование записей устного дискурса требует большой творческой работы. Прежде всего исследователь должен решить, какие характеристики речи он хочет отразить в транскрипте (а какие могут быть опущены), а затем выбрать способ представления, понятный и удобный, с его точки зрения, для будущего читателя. Фактически именно исследователь создает тот текст, который другие будут читать, и этот текст в силу ряда факторов (отбора характеристик речи, индивидуального восприятия и интерпретации материала, выбора способа подачи) неизбежно оказывается субъективным. Между устной речью и ее транскриптом всегда есть большая разница.

Предметом исследования является содержательная сторона речевой коммуникации. Дискурсивный анализ полагает своим объектом не только вербальный компонент коммуникации, но и экстралингвистические факторы: знания о мире, мнения, установки, цели, социальный опыт, образ жизни коммуникантов и пр., так как все это влияет на порождение и восприятие текста. В дискурсивном анализе социальной стороне коммуникации уделяется больше внимания, чем формально-лингвистической. Коммуниканты — не просто носители языка, но непременно члены определенных социальных групп, представители общественных институтов, носители тех или иных культур, социальных ролей и пр.

В современных дискурсивных исследованиях применяются как качественные, так и количественные **методы анализа материала**, но качественные, опирающиеся на интроспекцию и суждения информантов, все же преобладают. Современные количественные методики связаны с обращением к корпусным данным. В наши дни исследователи дискурса все более приходят к пониманию, что количественные и качественные методики отнюдь не исключают друг друга, и делают акцент не на их противопоставлении, а на сочетании.

Примечательной особенностью дискурсивного анализа является частое нарушение принятой в науке логики исследования.

Ученые идут не от гипотезы к подтверждающим или опровергающим ее примерам, а наоборот: от примера — к теории (индуктивный метод). Показательна в этом отношении характеристика, приведенная в книге Д. Таннен: «*a “cases and interpretations” approach to analysis, as distinguished from a “rules and instances” approach*» [Tannen 1994: 129]. Весьма распространенным является жанр «исследование отдельного случая» (*case study*), призванный выявить новые интересные аспекты рассматриваемого вопроса, парадоксы и аномалии, что впоследствии может вызвать постановку новых вопросов, выдвижение гипотез и даже переосмотр взятой за основу теории.

Дискурсивный анализ по своей сути **междисциплинарен**, так как языковая структура тесно связана с функцией, текст и речь — с контекстом. И если анализ первых членов этих пар в принципе может быть осуществлен в рамках языкознания, то вторые предполагают учет когнитивных, социальных, культурных факторов, что влечет выход за границы лингвистики. Дискурсивные исследования служат «местом встречи» специалистов разного профиля — лингвистов, литературоведов, социологов, психологов, философов, политологов, специалистов по теории коммуникации и когнитивной науке и пр.

В наши дни дискурсивный анализ представляет собой яркий пример **функционального направления**¹², поскольку в нем подчеркивается социальная природа языка и необходимость изучения его реального использования, а во главу угла ставится не языковая структура, а функция, не форма, а значение (точнее, ситуативный смысл). Показательна следующая формулировка из авторитетного учебника по дискурсивному анализу: «Анализ дискурса — это непременно анализ того, как язык используется. Как таковой он не может быть сведен к описанию языковых форм независимо от тех целей или функций, для которых эти формы предназначены»

¹² На ранних этапах, когда американский постструктуралист З. Харрис ввел выражение *discourse analysis* в научный оборот и определил дискурс как языковую единицу выше уровня предложения, предпринимались попытки сугубо формального подхода к его исследованию (прежде всего, самим Харрисом), которые, однако, не дали удовлетворительных результатов.

[Brown, Yule 1983: 1]. Можно сказать, что под дискурсом обычно понимают динамический процесс использования языка в определенном контексте в качестве инструмента коммуникации.

Следствием внимания к социальной стороне речевого взаимодействия является то, что исследования дискурса зачастую носят не только академический, но и **практический характер**. В наивысшей степени это проявляется в критическом анализе дискурса (см. выше). Приверженцы данного направления отказываются от идеи объективного, непредвзятого изучения, призывая исследователей вставать на сторону тех, чьи права ущемляются бытующими в обществе речевыми практиками, и делать практические шаги к их реформированию.

Для дискурсивного анализа в целом характерно **внимание к когнитивным феноменам**, таким как знания, установки, верования и представления, факт, истина и ошибка, мнение и оценка и т. д. Современный период отмечен интеграцией двух ведущих парадигм — когнитивной и коммуникативной — и образованием новой парадигмы лингвистического знания, которую можно назвать когнитивно-дискурсивной [Кубрякова 2000: 8].

Мысленно оглядывая широкое поле дискурсивных исследований, можно выделить несколько оппозиций, позволяющих его структурно организовать, ср. [Van Dijk (ed.) 1997a: 23–24]:

- 1) исследования письменных текстов *vs.* исследования устных разговоров: первые более связаны с лингвистикой, вторые — с социальными науками;
- 2) отвлеченные, формальные исследования (в грамматике и искусственном интеллекте) *vs.* конкретные исследования устного и письменного дискурса в его культурно-историческом контексте;
- 3) теоретические дескриптивные подходы *vs.* прикладные и критические подходы, акцентирующие социальную природу дискурса;
- 4) основанные на конкретном материале эмпирические исследования (в том числе корпусные) *vs.* философские, обобщающие работы.

Другой способ упорядочить все множество работ в области анализа дискурса состоит в том, чтобы в самом грубом приближении разделить его на три части в зависимости от того, какой аспект исследований является превалирующим: лингвистический, когнитивный или социокультурный. Треугольник с соответствующими тремя вершинами (текст / речь — когниция — общество) очерчивает все пространство дискурсивных исследований. При этом каждый угол треугольника непосредственно связан с двумя другими, так что междисциплинарность неизбежна [Van Dijk (ed.) 1997a: 24–25].

ГЛАВА 2

СТРУКТУРА ДИСКУРСА

Различные подходы к определению структуры дискурса

Ложная гипотеза

Самые ранние попытки выявить структуру дискурса связаны с именем американского лингвиста Зеллига Харриса, который предложил расширить структуралистскую уровневую модель языка (в его варианте выглядевшую как *morpheme — clause — sentence*), надстроив ее еще одним «этажом». Там должен был располагаться «язык выше уровня предложения» (*language above the sentence*) — дискурс.

Харрис стремился разработать «метод анализа связанной речи», предназначенный для расширения дескриптивной лингвистики за пределы одного предложения и для соотнесения культуры и языка [Harris 1952a: 1]. Следует сразу отметить, что вторая часть замысла не получила воплощения в его работах. Что касается первой части, то автор пытался ее осуществить при помощи методов, хорошо зарекомендовавших себя при изучении языковых единиц низших уровней, — сегментации, дистрибутивного и трансформационного анализа. Эти процедуры носили сугубо формальный характер и не предполагали учета семантики языковых единиц (см. [Harris 1952a; 1952b]). Сам Харрис призывал оценивать свой подход с точки зрения его пригодности, способности дать достоверные и интересные результаты. Тот факт, что дальнейшие исследования дискурса не пошли по формальному пути и труды ученого не получили продолжения, говорит сам за себя [Coulthard 1977: 4].

В 1960–1970-е гг. схожие исследования предпринимались европейскими (преимущественно немецкими) лингвистами в рамках новой области — лингвистики текста. Последняя мыслилась как естественное продолжение теории синтаксиса; в отечественной науке для ее обозначения даже предлагались такие термины, как «макросинтаксис» [Богданов 1977] и «гиперсинтаксис» [Откупщикова 1982]. Внимание исследователей было сосредоточено на анализе связей (смысловых и формальных) между соседними предложениями, которые мыслились в виде четко регламентированной системы, наподобие отношений в системе фонем, грамматических форм и синтаксических структур. К анализу текста применялись методы, выработанные в языкознании для анализа предложения. Во многих странах делались попытки разработать так называемую грамматику текста (см., например, материалы сборника [НЗЛ-8]).

В основе подобных исследований лежала (ошибочная, как выяснилось позднее) идея о том, что текст является уровнем языка, а значит, можно просто достроить структуралистскую модель новым «этажом» и ожидать, что на нем будут действовать те же принципы, которые работают на более низких уровнях. Фактически речь шла о том, чтобы вывести правила, по которым из единиц синтаксического уровня образуются «правильно построенные» тексты¹³, а также сформулировать критерии их «правильности».

Однако старания лингвистов окончились неудачей, в силу несостоятельности исходной гипотезы. Предложение «не составляет класса различных единиц, а поэтому не может входить составной частью в единицу более высокого уровня. Предложение может только предшествовать какому-нибудь предложению или следовать за ним, находясь с ними в отношении последовательности. Группа предложений не образует единицы высшего уровня по отношению к предложению» [Бенвенист 1974: 139].

Стало ясно, что отделить «правильно построенный» текст / курс от «неправильно построенного» едва ли возможно. Как писал Р. Якобсон,

¹³ По аналогии с введенным Н. Хомским понятием «грамматичности» (т. е. грамматической правильности) для предложений.

...в правилах сочетаемости лингвистических единиц существует ведущая вверх лестница свободы. В комбинировании различных признаков фонем свобода отдельного говорящего равна нулю: языковой код уже установил все возможности, которые могут быть реализованы в данном языке. Свобода соположения фонем в словах очень ограничена, она проявляется лишь в маргинальной ситуации словотворчества. В конструировании предложений и слов ограничений, налагаемых на говорящего, уже значительно меньше. Наконец, при создании текста из предложений действие ограничивающих синтаксических правил прекращается, и свобода каждого отдельного говорящего достигает максимума, особенно если он не должен придерживаться множества языковых клише (цит. по: [Пешё 1999: 312]).

В поисках структуры дискурса

Уже в самых ранних работах по лингвистике текста был поставлен ключевой вопрос о том, чем дискурс отличается от случайной цепочки предложений: от ответа на него зависели перспективы структурного подхода к описанию дискурса / текста. Однако лингвистам не удалось дать удовлетворительного определения. В итоге многие из них стали скептически заявлять, что на уровне «выше предложения» отсутствует какая бы то ни была структурная организация. Они утверждали, что в дискурсе возможно все — в том смысле, что последнее слово остается за говорящим¹⁴, а он всегда может избрать путь нерелевантного продолжения дискурса.

Отчасти это так. В то же время все нормальные носители языка интуитивно понимают, что далеко не любое высказывание можно поместить перед или после какого-либо другого, а это свидетельствует в пользу наличия какой-то структуры. Возьмем, к примеру, следующий (искусственно сконструированный) обмен репликами:

- * — Да, конечно.
— Ты не мог бы мне помочь?

¹⁴ Здесь и далее термины *говорящий* и *слушающий* следует понимать в расширенном смысле, как отражающие распределение ролей как в устной, так и в письменной коммуникации.

Неправильность приведенного диалога определяется двумя факторами: обратным порядком следования реплик в вопросно-ответном обмене и нарушением формально-грамматической связанности, поскольку фраза *Да, конечно* эллиптически и для раскрытия ее содержания требуется левый, а не правый контекст.

С другой стороны, практически для любого высказывания и для многих «странных» обменов репликами можно найти ситуацию или контекст в которой они бы имели смысл. В качестве примера можно привести следующий фрагмент диалога, где нетипичная ответная реплика вызвана тем, что коммуникант, посмотрев на часы, внезапно вспомнил, что забыл вовремя сделать нечто важное:

- *Который час?*
— *О нет!*

[Stubbs 1983: 18]

В качестве другого примера нарушения стандартного обмена можно привести характерные случаи последних лет, когда по окончании лекции студенты говорят преподавателю *Спасибо*, а тот (будучи вынужден в силу вежливости как-то реагировать) отвечает им *До свидания* или *Всего доброго*. Этот диалог необычен тем, что реплики участников принадлежат двум разным стандартным обменам: *Спасибо* обычно влечет за собой *Пожалуйста*, а реплики прощания типа *До свидания* требуют симметричного ответа. Рассматриваемый диалог, по сути, представляет собой контаминацию этих двух видов обмена. Важно подчеркнуть, что ответные реплики типа *Пожалуйста* или *На здоровье* здесь были бы совершенно неуместны и могли бы быть восприняты в качестве иронии.

Настойчивые попытки обнаружить в дискурсе признаки структурной организации иной раз приобретают характер анекдота. Так, М. Стаббз обратил внимание на наличие у дискурса начала, середины и конца, что, по его словам, уже говорит кое-что о его структуре [Stubbs 1983: 5]. Это заявление было высмеяно Дж. Сёрлем при помощи сравнения с кружкой пива, у которой тоже есть начало, середина и конец: «*they all have a beginning, a middle, and an end, but then, so does a glass of beer*» [Searle 1992: 21].

Следует заметить, кстати, что начало и конец дискурса (т. е. его границы) тоже не всегда очевидны. Например, ответ на письмо (тем более отложенный во времени) — это новый дискурс или продолжение старого? Длительные парламентские дебаты, которые могут идти не один день (с перерывами и отсрочками), — это один целостный дискурс или последовательность нескольких дискурсов? Можно вспомнить также о статьях, написанных разными авторами, в рамках одной коллективной монографии (учебника, энциклопедии и т. д.), о радио- и телесериалах, продолжающихся публикациях крупных художественных произведений в литературных журналах, возобновлении разговора на ту или иную тему после определенного перерыва и пр.

Число неоднозначных случаев весьма велико даже тогда, когда речь идет о давно сложившихся формах устного и письменного дискурса. С возникновением электронной коммуникации положение еще более осложнилось. Понятие гипертекста, по-видимому, окончательно разрушает идею о существовании у текста заданных начала и конца.

Выход из тупика

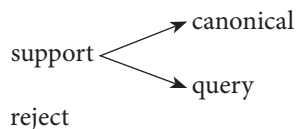
Современные исследователи разделяют мысль о том, что дискурс имеет структуру, но эта структура не собственно языковая — в отличие, скажем, от фонологической или синтаксической. Структура дискурса является проявлением общей организации наших знаний о том, как устроен мир, как связаны между собой события и пр. [Stubbs 1983: 102–103]. «Правильность» дискурса определяется не грамматическими правилами, а тематическими, функциональными и стилистическими соображениями.

Дискурс многообразен, и разные речевые жанры структурированы в разной степени. С практической точки зрения полезно прежде всего разграничивать повседневное речевое общение (которое достаточно хаотично и допускает всё, ну или почти всё) и институциональный (официальный) дискурс, представляющий гораздо больше возможностей для структурного описания, ср. [Макаров 2003: 176]:

Разговорный дискурс	Институциональный дискурс
ориентация на процесс	ориентация на структуру
минимум речевых ограничений	максимум речевых ограничений
относительно свободная мена коммуникативных ролей	относительно фиксированная мена коммуникативных ролей
бóльшая обусловленность непосредственным ко-текстом	меньшая обусловленность непосредственным ко-текстом
примат локальной организации	примат глобальной организации
целей много, и они обычно имеют локальный характер	целей немного, и они обычно имеют глобальный характер

Заметные успехи в описании структуры дискурса были достигнуты при обращении к отдельным институциональным жанрам, таким как школьные уроки (см. Приложение 2 к настоящей главе), собеседование при приеме на работу (этот жанр многократно анализировался в различных практических пособиях; из академических исследований сошлемся на работы в русле интеракционной социолингвистики [Akinaso, Seabrook Ajiro 1982; Jupp et al. 1982]), новостные сообщения в прессе [Дейк 1989а; 1989в; Bell 1998; Vednarek, Carle 2012]. Из самых ранних структурных описаний нельзя обойти вниманием знаменитую книгу В. Я. Проппа «Морфология волшебной сказки» (1928) (подробнее см. Приложение 3 к настоящей главе, а также Приложение 2 к главе 3). В отличие от бытового, институциональный дискурс имеет то, что в разных теориях называется глобальной структурой, макроструктурой или суперструктурой.

Сложнее всего делать утверждения, касающиеся строения устного неформального диалога. Представленная ниже схема [Stubbs 1983: 100] иллюстрирует специфику его локальной организации в момент перехода реплики [Ibid.: 100]:



Согласно схеме, каждая реплика (за исключением инициальной) может в самых общих терминах быть квалифицирована как «поддержка» (*support*) предыдущей реплики собеседника или как «отказ» (*reject*); последний выражается в нарушении ожиданий партнера по коммуникации (игнорировании сказанного, нерелевантном ходе и т. д.). «Каноническая» (*canonical*) поддержка реализуется в высказываниях, не ставящих под сомнение пресуппозиции, на которых основывается предыдущая реплика. «Вопрос» (*query*) — это тоже вариант поддержки, однако он связан с выражением сомнений относительно пресуппозиций, заключенных в предшествующей реплике, уместности использованных слов и выражений и пр. Понятно, что он совсем не обязательно выражается вопросительным предложением. Канонические поддержки и поддержки-вопросы можно дальше классифицировать тем или иным способом, а отказы — это неизбежная при любом описании категория «отходов». Если при анализе речевого общения «корзина для мусора» начинает переполняться, этот факт говорит о нарушениях в коммуникации и должен обратить на себя внимание исследователя.

В целом в бытовом разговоре чаще, чем в других видах дискурса, случаются резкие смены темы, уход от ответа, ассоциативные переходы, вмешательство внешнего контекста. Вопрос о правильности такого дискурса (если вообще уместно его ставить) оказывается связанным не столько со структурой речевого взаимодействия, сколько с его прагматической успешностью.

Важно подчеркнуть, что коммуниканты не склонны расценивать подобные феномены как ошибки в организации дискурса (в отличие от неправильного ударения или словоизменения, которые считаются языковыми ошибками). С большой вероятностью их могут списать на характерные черты личности (грубость, невоспитанность, глупость и т. д.), его социальное происхождение и пр. [Stubbs 1983: 91, 102; *Advances...* 1992: 51, 64]. Между прочим, это закономерное следствие (и показатель) того, что текст/дискурс не является уровнем языковой структуры.

Презумпция текстуальности

Восприятие структуры дискурса основывается на существующей у слушателя / читателя презумпции текстуальности, которая заставляет его неосознанно искать содержательные связи между актуальной репликой диалога или предложением письменного текста и предшествующим фрагментом, с тем чтобы в итоге получить некое смысловое единство, а не набор разрозненных отрывков. Эти усилия придают дискурсу структуру даже тогда, когда отсутствуют формальные средства связанности (когезия), и терпят фиаско разве что в литературе абсурда, где намеренно и систематически нарушаются нормы ведения диалога.

Именно презумпция текстуальности является причиной того, что все попытки «объективно» отделить текст от «нетекста» обречены на поражение. Исследователи вынуждены признать, что текст — это то, что слушающий считает текстом [Brown, Yule 1983: 199]. Поэтому различные версии так называемых критериев текстуальности неизменно включают субъективные компоненты: коммуникативное намерение говорящего, приемлемость с точки зрения слушающего, ситуационную уместность (см., напр., [Филиппов 2003: 119–132]). Один и тот же текст может быть осмысленным для одного человека и совершенно непонятным для другого (например, постороннего, непосвященного или ребенка). Как бы то ни было, при малейшей возможности человек интерпретирует смежные (в пространстве или во времени) фрагменты дискурса как связанные между собой [Brown, Yule 1983: 198]. Современное распространение разнообразных форм виртуальной коммуникации еще более акцентирует роль адресата в решении того, что есть текст, а что — нет.

Понятие коммуникативной компетенции

Итак, понятие правильности, лежащее в основе формально-структурных подходов к описанию языка, оказалось малопригодным в области анализа дискурса. Это неудивительно — ведь оно было призвано характеризовать языковую компетенцию (*linguistic competence*) усредненного носителя языка, а не то, как он пускает ее в ход (*performance*). Использование языка его носителями

в структурной лингвистике и формальных грамматиках практически игнорировалось.

В противовес введенному Н. Хомским понятию языковой компетенции [Chomsky 1965], годом позже американский антрополог Д. Хаймс выдвинул альтернативное понятие коммуникативной компетенции (*communicative competence*) [Hymes 1966]. Потребность в нем автор мотивировал тем, что для успешного функционирования в обществе человеку недостаточно языковой компетенции. В процессе развития и социализации ребенок усваивает не только грамматику языка, но и знания о его адекватном использовании. Коммуникативная компетенция включает в себя навыки речевого поведения в конкретных ситуациях повседневной жизни, в том числе умение завязать и поддержать разговор, общаться с людьми разных слоев и в разных ситуациях: с близкими и незнакомыми, начальниками и подчиненными, в официальной и неформальной обстановке — и все это с учетом степени знакомства собеседников, их социальных характеристик (возраста, пола, статуса и т. д.), предмета разговора и пр.

Знания об адекватном использовании языка представляют собой, как отмечал Хаймс, свод имплицитных допущений, который является особенным, специфичным для каждого языкового сообщества. Коммуникативная компетенция шире языковой, так как помимо собственно знания языка включает культурные знания, регулирующие его использование.

Единицы дискурсивного анализа

В отличие от языкознания с его устойчивой номенклатурой языковых единиц (фонема, морфема и др.), в дискурсивных исследованиях нет единодушия в вопросе о составляющих дискурса. Как отмечает в связи с этим М. Л. Макаров [2003: 181], коммуникативной лингвистике «просто не хватило времени для построения своего методологически выдержанного, универсального понятийного аппарата <...>. Результатом этого является далеко не совершенная, подчас эклектичная, пока не систематизированная совокупность категорий...».

Дискурсивный анализ частично наследует эту проблематику от лингвистики текста, где данный вопрос, правда, ставился гораздо уже, а именно по отношению к письменной речи. Но даже там единого ответа не было.

Первоначально, когда текст мыслился как следующий, «над-синтаксический», уровень языка, предлагалось минимальной единицей считать абзац. Однако несостоятельность этой идеи была очевидна: подобный механистичный подход способен «красиво» достроить структурную модель языка, но имеет слабое отношение к действительности, хотя бы в силу известной условности, субъективности деления текста на абзацы. Еще более важным стало осознание того, что текст — это не грамматическая единица, превышающая по размеру предложение, а явление иного порядка, определяемое не формой, а значением. Следовательно, и членился он должен на семантические по своей природе единицы [Halliday, Hasan 1976: 2, 293].

Стремясь учесть как формальный, так и смысловой критерий, отечественные лингвисты выделяли в тексте такие единицы, как сложное синтаксическое целое (А. М. Пешковский, Н. С. Поспелов, Г. Я. Солганик), компонент текста (И. А. Фигуровский), сверхфразовое единство (Л. А. Булаховский, О. С. Ахманова, И. Р. Гальперин, О. И. Москальская). По своему содержательному наполнению эти термины близки, различаясь, по большей части, лишь названиями. Определяя сверхфразовое единство, И. Р. Гальперин писал, что это «сложное структурное единство, состоящее более чем из одного самостоятельного предложения, обладающее смысловой целостностью в контексте связной речи и выступающее как часть завершенной коммуникации» [Гальперин 1981: 69].

Авторы теории риторической структуры У. Манн и С. Томпсон (см., напр., [Mann, Thompson 1988]), а также краткий обзор [Кибрик, Плунгян 1997: 309–313]), стремившиеся к формальному представлению структуры дискурса в виде сети единиц, соединенных семантическими отношениями, исходили из того, что текст организован иерархически. Они выделяли элементарную дискурсивную единицу (*unit*), которая обычно совпадает с тем, что в грамматике называют клаузой (*clause*). Предполагается, что

из элементарных единиц последовательно строятся единицы все большего объема вплоть до целого дискурса; если объем единиц не имеет значения, все они обозначаются как отрезки текста (*text spans*). Следует, правда, заметить, что применимость данной теории ограничена определенными типами дискурса.

Видный представитель отечественной психолингвистики А. А. Леонтьев предлагал рассматривать высказывание в качестве минимальной содержательной единицы текста. Под высказыванием он понимал «наименьшую коммуникативную единицу, законченную со стороны содержания и интонации и характеризуемую грамматической и смысловой структурой» [Леонтьев 1979: 30]. Подход Леонтьева, несомненно, был новаторским для того времени, так как включал в рассмотрение устную речь и предвосхищал популярность термина *высказывание* в дискурсивном анализе.

Действительно, в современных англо-американских исследованиях дискурса принято употреблять термин *utterance* (*высказывание*). При этом, правда, не уточняется, какое содержание в него вкладывается. На деле он обычно оказывается функциональным коррелятом к термину *предложение*: если текст делится на предложения, то дискурс членится на высказывания¹⁵. Собственно говоря, такая трактовка восходит к работам в области лингвистической прагматики (ср. [Levinson 1983: 18–19]). Как правило, именно высказывание негласно выполняет роль единицы анализа [Schiffrin 1994: 39–41].

Говоря отдельно об изучении устного диалога (а он, несомненно, составляет важный, если не приоритетный предмет дискурсивных исследований), нельзя не отметить заслуги американской школы конверсационного анализа, представленной именами Г. Сакса, Э. Щеглова и Г. Джефферсон (подробнее об их исследованиях см. в Приложении 1 к настоящей главе). Базовой структурной единицей разговора они считали «пару смежных реплик» (*adjacency pair*) типа «приветствие — приветствие», «вопрос — ответ», «предложение — принятие предложения / отказ» и др. Разумеется, любая

¹⁵ Заметим, что в отечественной традиции есть и иное, восходящее к М. М. Бахтину, понимание данного термина (подробнее см. в главе 1).

реплика в подобной паре допускает определенную вариативность, но это вариативность сугобо языковая, а не содержательная. Так, приветствие по-русски можно выразить словами *Здравствуй(те)*, *Здорóво*, *Привет* и нек. др., но не, скажем, *Спасибо* или *Будьте добры*.

В различных работах, посвященных структурной организации разговора, предлагались развернутые иерархии интеракционных единиц, начиная от коммуникативного акта и заканчивая целостным речевым событием. Их число варьирует от двух до дюжины и более, причем соотнести между собой элементы разных концепций достаточно непросто. Кроме того, не всегда критерии, по которым они выделены, сохраняют логику и системную стройность: структурные отношения нередко уступают место интуитивным, субъективным соображениям (подробнее см. [Макаров 2003: 182–190]). Ниже, в Приложении 2 к настоящей главе, представлен вариант такой иерархии, разработанной представителями Бирмингемской школы анализа дискурса.

Если обратиться к письменным текстам, невозможно обойти вниманием мощную, хорошо разработанную традицию изучения структуры повествовательного текста, или, как принято теперь выражаться, нарративного дискурса. В Приложении 3 к настоящей главе кратко очерчены ее основные вехи — от трудов русских литературоведов-формалистов к исследованиям французской семиотической школы и далее к работам У. Лабова, посвященным структуре бытовых рассказов. Все эти, весьма различные (с точки зрения материала, методов, теоретических предпосылок и пр.), исследования объединяет функциональный подход к выделению единиц, основанный на глубоком семантическом анализе. Это заметно отличает их как от работ Бирмингемской школы, так и от традиций конверсационного анализа.

Структурные свойства дискурса

Линейность дискурса

Линейность — это свойство дискурса, связанное с тем, что говорящий / пишущий может производить только одно слово в единицу времени. Слагая слова в предложение, а затем соеди-

няя предложения друг с другом, человек неизбежно сталкивается с задачей линеаризации, даже если он сам не отдает себе в этом отчета.

Наиболее важной позицией традиционно считается начало дискурса, так как оно задает общую тематическую и функциональную направленность, а также стилистический регистр (так, официальное обращение настраивает на институциональную стилистику общения, а фамильярное приветствие — на неформальную). Начало дискурса определяет возможные рамки интерпретации содержания, активизирует фоновые знания, установки, культурные смыслы, формирует ожидания по поводу дальнейшего развития дискурса. Считается, что в правильно оформленном дискурсе «левый» (т. е. предшествующий) элемент (слово, словосочетание, предложение, абзац и т. д.) определенным образом обуславливает, предсказывает набор возможных вариантов для последующего элемента.

Влияние «левого» контекста можно наблюдать, если поместить одну и ту же фразу после различных (лучше противоположных) утверждений. Это несложно сделать, если включить в эту фразу слова, обозначающие неоднозначно оцениваемые явления, ср.:

а) *Он всецело предан идеалам гражданского общества. Настоящий демократ.*

б) *Он из тех, кто развалил страну и наворовал кучу денег. Настоящий демократ.*

В первом случае «левый» контекст обеспечивает положительную окраску фразы *Настоящий демократ*, а во втором — напротив, резко негативную. Подобный феномен иногда называют принципом дискурсивной относительности [Van Dijk (ed.) 1997a: 9].

А вот другой, невыдуманный, пример из эфира «Радио России» от 12 декабря 2006 г.: «С начала года в Волгоградской области возбуждено уже более 700 дел, связанных с коррупцией». Очевидно, что оценка приведенного факта целиком зависит от предшествующего контекста. Если речь перед этим шла о разгуле коррупции в Волгоградской области, то 700 возбужденных дел — это плохо, а если о размахе борьбы с ней, то, наоборот, хорошо.

О влиянии ожиданий, подготовленных «левым» контекстом, на восприятие последующего текста говорят и результаты эксперимента, проведенного польским гештальтпсихологом С. Ашем [Asch 1946]. Испытуемым было предложено оценить личность Джона, основываясь на перечне его качеств. При этом одной группе испытуемых их перечисляли в порядке, представленном в примере (а), а другой — в обратном порядке (б).

а) Джон — человек интеллектуальный, трудолюбивый, импульсивный, привередливый, упрямый и завистливый;

б) Джон — человек завистливый, упрямый, привередливый, импульсивный, трудолюбивый и интеллектуальный [обратный порядок].

Результаты эксперимента показали, что испытуемые из первой группы оценили Джона в целом заметно выше, чем испытуемые из второй группы. В терминах современной психолингвистики, речь идет об эффекте прайминга.

В наше время принцип линейной упорядоченности текста ставится под вопрос возникновением нового, электронного, модуса коммуникации и формированием понятия «гипертекст». Гипертекст — это нелинейный разветвляющийся текст, позволяющий читателю самостоятельно избрать путь чтения (*браузинг* — от англ. *browsing*). Нелинейность меняет сложившиеся представления о тексте как последовательности с заданными началом и концом. Авторская интенция перестает быть значимым фактором: фактически читатель сам себе создает текст из предоставленного материала. Можно сказать, что гипертекст обуславливает «возможность новой “среды обитания” текстов — виртуальной реальности, противостоящей “естественной среде обитания” линейных текстов на бумаге» [Чернявская 2014: 24].

Принцип иконичности в дискурсе

Линейность дискурса обуславливает интерпретацию, при которой события упорядочиваются в соответствии с порядком их перечисления. Классический пример тому — знаменитая фраза *Пришел, увидел, победил*. Вот как об этом пишет Р. Якобсон:

Последовательность глаголов *veni, vidi, vici* сообщает нам о порядке деяний Цезаря прежде всего и главным образом потому, что последовательность сочиненных форм прошедшего времени используется для воспроизведения хода событий. Временной порядок речевых форм имеет тенденцию к зеркальному отражению порядка повествуемых событий во времени или по степени важности. Такая последовательность, как «На собрании присутствовали президент и государственный секретарь», гораздо более обычна, чем обратная, потому что первая позиция в паре однородных членов отражает более высокое официальное положение [Якобсон 1983: 107].

Анализ русских предложений с сочинительными конструкциями дает богатый материал, демонстрирующий иконическое упорядочение по временному или пространственному принципу, ср. примеры, заимствованные из [Санников 1989]:

*Удар, удар, звон разбитого стекла;
Он шел по квартире: передняя, кабинет, гостиная, спальня;
На обед были борщ, котлеты и чай;
Он надел майку и рубашу vs. Он снял рубашу и майку;
За деревней была река, за рекой поле, а дальше синели бескрай-
ные леса.*

Свойство иконичности отчетливо проявляется при следующем сравнении: в России поздравляют *С Новым годом и Рождеством*, в то время как в англоязычных странах принято говорить *Merry Christmas and Happy New Year*.

В нарративном дискурсе принцип иконичности предполагает соблюдение «естественного» порядка изложения, который обеспечивает минимум когнитивных усилий со стороны того, кто его воспринимает (мы не говорим сейчас о специфических литературных течениях, сознательно стремящихся нарушить хронологию событий и запутать читателя). Ср. следующий короткий рассказ Д. Хармса, где последовательность предложений в точности отражает порядок событий:

*Однажды Антон Бобров сел в автомобиль и поехал в город.
Автомобиль наскочил на ломаные грабли.*

Лопнула шина.

Антон Бобров сел на кочку возле дороги и задумался.

Вдруг что-то сильно ударило Антона Боброва по голове.

Антон Бобров упал и потерял сознание.

Однако следует признать, что иконичность в большей степени присуща разговорному нарративу (бытовому рассказу), чем художественному повествованию. Очевидным препятствием к соблюдению иконичности в литературном произведении является наличие нескольких персонажей, действующих в одно и то же время. Кроме того, писатели нередко прибегают к проспекциям, ретроспекциям и разного рода отступлениям, обусловленным художественными задачами.

Иконическое упорядочение можно наблюдать и в дескриптивном дискурсе. Так, описания туристических достопримечательностей, как правило, строятся не хаотически, а в соответствии с некой мысленной траекторией взгляда, который сперва устремлен на одну деталь, затем плавно переходит на соседнюю и т. д. Нечто подобное имело место в эксперименте, когда испытуемых спрашивали о расположении мебели у них дома: их рассказ строился так, как если бы они совершали экскурсию по своей квартире, начиная от входной двери и последовательно переходя из одной комнаты в другую по мере того, как описали в ней все предметы [Linde, Labov 1975]. Принцип иконичности соблюдается и в описаниях маршрута следования транспортных средств.

Когезия и когеренция

Понятия когезии и когеренции, т. е. формальной и содержательной связанности, как и многие другие вопросы структурной организации дискурса, активно изучались еще в рамках лингвистики текста. Стремясь определить, чем текст отличается от случайной последовательности предложений, авторы апеллировали к таким понятиям, как *связанность*, *завершенность*, *целостность*, *интеграция*, наполняя их различным содержанием (ср. [Гальперин 1981; Москальская 1981; Мурзин, Штерн 1991; Богданов 1993]).

В дискурсивных исследованиях, вслед за лингвистикой текста, под когезией (англ. *cohesion*) обычно понимается формально-грамматическая связанность, обеспечиваемая разными типами языковых отношений: анафорой, катафорой, лексическим повтором, использованием слов близкой семантики, союзами и пр. (подробнее см., напр., [Longacre, Levinsohn 1978; Гальперин 1981: 73–86]). Когезия имеет внешнюю манифестацию в виде так называемых когезивных маркеров.

Понятие когеренции¹⁶ (англ. *coherence*) сложнее, и разные исследователи вкладывают в него разный смысл. Чаще всего под когеренцией, в противовес когезии, понимают содержательную связанность дискурса, так что эти две категории оказываются в положении комплементарности. Многие структурно-семантические исследования были направлены на выявление способов объективной оценки содержательной связанности текста. Так, видный представитель французского структурализма А. Греймас предлагал оценивать степень когеренции текста по плотности так называемой изотопической сети. Под изотопической сетью автор понимал семантическую структуру, образованную значениями лексем, которые обладают общими семантическими признаками и являются составными частями одного и того же фрейма (такие лексемы он называл «изотопами»). К примеру, изотопами являются такие лексические единицы, как *свадьба, торжество, невеста, белое платье, фата, шампанское, Горько!* [Филиппов 2003: 260–262].

Однако оптимизм, направлявший и сопровождавший подобные структуралистские идеи, впоследствии сменился скепсисом: ведь нетрудно придумать пример, показывающий, что дискурс может быть содержательно связанным и без присутствия в нем «изотопов». Поэтому уже в первых учебниках по анализу дискурса звучат сомнения в принципиальной возможности объективно определить когеренцию (в отличие от когезии). Так, Дж. Браун и Дж. Юл начинают главу, посвященную когеренции, с заявления об ошибочности распространенного взгляда, будто значение языко-

¹⁶ В отечественных исследованиях также встречается термин *когерентность*.

вого выражения заключено в словах и синтаксической структуре предложения. Понимание дискурса обеспечивается наличием у носителя языка не только лингвистических, но и энциклопедических знаний (не говоря уже о коммуникативной компетенции), и, следовательно, содержательная связанность не может базироваться на строго языковых критериях [Brown, Yule 1983: 223].

В настоящее время большинство ученых разделяют мнение о том, что когеренция представляет собой явление психологического порядка. Один и тот же дискурс одному человеку покажется связанным и осмысленным, а другому — нет: это может зависеть от возраста, умственного развития, степени посвященности в предмет разговора, наличия специальных знаний и пр. Такой взгляд, помимо прочего, акцентирует вовлеченность слушателя в процесс восприятия дискурса, его стремление выявить коммуникативное намерение говорящего, вычислить скрытые смыслы, понять смысл сообщения, связать его с контекстом (см., напр., [Stubbs 1983: 94–96]).

Получается, что сформулировать признаки когерентного дискурса объективно, в отвлечении от конкретной коммуникативной ситуации, невозможно. Как и текстуальность, когеренция — понятие не абсолютное, а относительное. Относительность в данном случае носит двоякий характер: во-первых, когерентность дискурса зависит от воспринимающего субъекта (см. выше), а во-вторых — от автора, или говорящего, в чьих силах сделать свой текст более связным и понятным, но не все из них к этому стремятся. Таким образом, можно говорить о различной степени когерентности дискурса (ср. [Литневская, Литневская 2015: 120–121]).

В литературе можно встретить и другие взгляды на понятия когезии и когеренции. Так, в известной монографии [Halliday, Hasan 1976] под когезией понимается семантическое отношение между одним элементом в тексте и некоторым другим элементом, необходимым для его интерпретации (в примере *He said so* таких элементов два, и каждый из них отсылает к какому-то другому элементу в тексте). Выделяются пять видов когезии: четыре грамматических (референция, замещение, эллипсис, присоединение)

и один лексический (лексическая когезия). Необычность позиции авторов связана с утверждением, что когезия обеспечивается семантическим отношением, а не языковыми выражениями. Правда, при этом Хэллидей и Хейсан подчеркивают, что текстуальность создается именно присутствием соответствующих формальных показателей связи [Halliday, Hasan 1976: 229]. Браун и Юл усматривают в этом непоследовательность и критикуют авторов за то, что те не проводят ясного различия между «отношениями значения», существующими между единицами в тексте, и эксплицитным выражением этих отношений [Brown, Yule 1983: 192].

Говоря об альтернативных трактовках когеренции, следует упомянуть подход М. Л. Макарова. Автор считает, что когеренция шире когезии и охватывает как семантико-прагматические и функциональные аспекты связанности дискурса, так и формально-грамматические аспекты. Он выделяет следующие три вида когеренции [Макаров 2003: 195–197]:

- 1) глобальная — заключается в соответствии каждого коммуникативного действия своим целям и месту в общей структуре речевого взаимодействия (к месту рассказанный анекдот, удачное выступление в прениях, уместная реплика в диалоге и т. д.);
- 2) локальная — включает все аспекты сочлененности дискурса: грамматический, лексический, логический (коннекторы, аргументация), прагматический (имплицатуры, инференции, пресуппозиции, тема-рематические прогрессии), стилистический (риторические фигуры), семантический;
- 3) тематическая — проявляется в более крупных по объему фрагментах дискурса и выражается в повторении определенных мотивов или тем (персонажей, объектов, фактов, верований, установок, социальных представлений), которые могут быть представлены как эксплицитно, так и имплицитно.

Внимание исследователей более всего привлекает локальный аспект когеренции, в особенности в тех случаях, когда она не подкреплена маркерами когезии. Так, Т. А. ван Дейк пишет: «...предложение *A* связано с предложением *B*, если *A* относится к ситуации

или событию, которое является возможным (вероятным, необходимым) условием существования ситуации или события, к которому относится *B* (или наоборот)» [Дейк 1989а: 127]. В соответствии с этим правилом, цепочка предложений *Вчера мы ходили на пляж. Мы занимались серфингом* (*We went to the beach yesterday. We did a lot of surfing*) является семантически связной, в отличие от последовательности *Вчера мы ходили на пляж. За последний год курс доллара упал на 10 %* (*We went to the beach yesterday. The price of the dollar dropped by 10 % last year*). Более простая формулировка звучит следующим образом: «...текст является семантически связным, если он описывает возможную последовательность событий (действий, ситуаций)» [Там же].

В то же время очевидно, что отношения между соседними предложениями не ограничиваются временной последовательностью. Сам автор позднее отмечал, что на микроуровне (т. е. на уровне локальной когеренции) пропозиции могут быть связаны между собой отношениями кореференции, обобщения, конкретизации, иллюстрации, контраста и т. д. [Van Dijk (ed.) 1997а: 9]. Применительно к нарративному дискурсу американский лингвист Т. Гивон выделял четыре разновидности локальной когеренции, а именно: референциальную, пространственную, временную и событийную [Givón 1995].

В теории риторической структуры (см., напр., [Mann, Thompson 1988]) постулируется более двадцати видов семантических отношений, встречающихся между соседними единицами текста (понятие единицы при этом варьирует от клаузы до отрезка текста любого объема). Большинство отношений являются асимметричными, связывая так называемое ядро с сателлитом (иначе говоря, главную единицу с зависимой). Таковы, к примеру, уступка (*concession*), обоснование (*justify*), условие (*condition*), средство (*means*), антитезис (*antithesis*), мотивация (*motivation*), цель (*purpose*), фон (*background*), переформулировка (*restatement*) и др. Есть и симметричные отношения — последовательность (*sequence*), контраст (*contrast*) и соединение (*joint*). Определение типа отношений между единицами текста опирается исключительно на функционально-семантический анализ, а не на морфологическую и синтаксическую информацию.

Если вновь обратиться к традиционному пониманию когезии и когеренции как взаимно дополняющих аспектов связанности, резонно задаться вопросом об их взаимоотношениях, который в логических терминах можно сформулировать так: является ли когезия необходимым и достаточным условием когеренции дискурса?

Как отмечалось выше, дискурс может восприниматься как содержательно связанный и без присутствия в нем когезивных маркеров, ср.: *Мы вышли на улицу. Шел сильный дождь. Светофор не работал. Мчавшиеся мимо машины попадали в ямы и обливали пешеходов водой.* Таким образом, когезия не является обязательным (необходимым) условием для когеренции.

С другой стороны, можно искусственно построить такую цепочку предложений, которая, несмотря на наличие маркеров когезии, не будет восприниматься в качестве связного текста. Рассмотрим соответствующий пример Т. М. Николаевой [1978: 34]: *Горячий пар полезно вдыхать при насморке. Насморк — верный признак гриппа. Грипп возбуждают вирусы. Вирусы исследуют в лабораториях.* Здесь каждые два соседних предложения формально связаны посредством лексического повтора, однако вся цепочка не образует единого текста из-за отсутствия общей темы. Таким образом, когезия не является и достаточным условием когеренции (ср. [Brown, Yule 1983: 194–197]).

Когезия и когеренция входят в число так называемых критериев текстуальности, при помощи которых исследователи пытались сформулировать, что же делает последовательность предложений текстом. Большую известность в связи с этим получил список Р. де Богранда и В. Дресслера (см., напр., [De Beaugrande 1997: 13–15]). Однако в наши дни преобладает психологически ориентированный подход, согласно которому текст (дискурс) — это то, что конкретный человек (слушатель или читатель) признает таковым, воспринимая его содержательно связанным и целостным вне зависимости от наличия или отсутствия маркеров формальной связанности [Brown, Yule 1983: 198–199]. Таким образом, вместо целостности текста предлагается говорить о целостности

восприятия текста, что, в свою очередь, знаменует сдвиг внимания от говорящего с его коммуникативной интенцией к интерпретирующему адресату [Чернявская 2014: 24–28]. Заметим, что эта тенденция вполне согласуется с изменением взглядов на сущность коммуникации (см. главу 3).

Этний и эмный аспекты организации дискурса

Опираясь на разграничение формальной и содержательной связанности дискурса, можно говорить об этном и эмном¹⁷ аспектах его организации [Harweg 1988]. Этний аспект касается физического расположения содержательно связанных между собой предложений друг относительно друга — в пространстве (если рассматривается письменный дискурс) или времени (в случае устного). Как правило, они непосредственно следуют друг за другом, что облегчает восприятие: развитие смысла происходит по мере линейного развертывания графической или звуковой цепочки.

Однако случаются и нарушения физической смежности. За примером, как говорится, ходить далеко не надо. Несколькими предложениями ранее в тексте стоит маркер постраничной сноски: чтобы прочесть ее, нужно перевести взгляд в низ страницы, а затем вернуться назад. Как известно, существует и другой вид сносок — концевые, отсылающие читателя в конец произведения. Особо интересный случай представляет собой роман Х. Кортасара «Игра в классики», который можно читать либо обычным «линейным» способом, либо перескакивая от одной главы к другой

¹⁷ Впервые термины *etic* и *emic* были использованы американским лингвистом К. Пайком (*K. Pike*) для обозначения различных подходов к рассмотрению объекта — внешнего подхода, с позиции постороннего наблюдателя (исследователя), и внутреннего, в терминах системы, частью которой является данный объект. Пайк, занимавшийся лингвистической антропологией, видел в этом способ преодолеть извечную дихотомию объективного и субъективного. Сами термины образованы им от пары *phonetic* — *phonemic*, первый член которой связан с идеей внешней манифестации, а второй — со смыслозначительной функцией. Впоследствии введенные Пайком термины оказались востребованы не столько в лингвистике, сколько в антропологии, культурологии и прочих общественных науках.

(вперед или назад, в соответствии с указаниями автора — отсюда метафора игры в классики). Что касается этной организации во времени, очевидное отклонение от смежности наблюдается в теле- и радиосериалах.

Эмный аспект касается порядка следования предложений с точки зрения их содержания. Известно, что в достаточно протяженном тексте смысловые связи часто устанавливаются не только между соседними предложениями, но и между далеко отстоящими друг от друга фрагментами. Это связано с наличием как локальных, так и глобальных тем и их разнообразным взаимодействием, что особенно характерно для научного и публицистического дискурса. В литературных романах (даже классических, не говоря уж о постмодернистских) сложное переплетение смысловых связей неизбежно хотя бы из-за наличия нескольких героев, к рассказу о которых повествователь по очереди обращается.

Соответственно, можно говорить о цепочках предложений (высказываний), организованных в соответствии с физической смежностью и/или смысловым развитием. Между этими цепочками возможны следующие отношения:

- 1) этная последовательность предложений совпадает с эмной (наиболее частый, обычный вариант);
- 2) одна этная последовательность состоит из нескольких эмных (встречается, например, в новостных передачах, письмах, дневниках);
- 3) одна и та же эмная последовательность соответствует нескольким этным (довольно редкий вариант; примером могут служить повторяющиеся рекламные аудио- и видеоролики или краткие сводки новостей на радиостанциях, сохраняемые в неизменном виде на протяжении некоторого времени).

Заметим, что в рассмотренной статье [Harweg 1988] речь идет о традиционных типах дискурса — устном и письменном. Очевидно, что применительно к электронной коммуникации многие формулировки требуют пересмотра. Таково, к примеру, выражение *физическая смежность*, исходно подразумевавшее простран-

ственную смежность цепочек символов на письме (печати) или временную смежность фрагментов речи. Поскольку виртуальная среда организована по принципу гипертекста, нарушения этной организации дискурса для нее являются нормой. Если же принять во внимание тот факт, что в этой среде текст часто не имеет объективного начала и конца, а конструируется читателем индивидуально, в зависимости от того или иного маршрута по веткам гипертекста, все наблюдения Харвега и вовсе теряют смысл.

Метакоммуникативные элементы в дискурсе

Метакоммуникация — это та часть коммуникации, которая тематически и функционально направлена на саму себя: на организацию и регуляцию речевого взаимодействия, эффективность канала коммуникации, адекватность интерпретации и пр. Метакоммуникативные функции могут выполняться самыми разными элементами дискурса — от звука и интонации до слова и отдельных реплик [Макаров 2003: 197]. М. Стаббз предлагает понимать метакоммуникацию как «вербальный мониторинг речевой ситуации» [Stubbs 1983: 48]. К сожалению, это удачное своей краткостью определение не охватывает письменный дискурс. Мы будем понимать метакоммуникацию широко, в совокупности следующих аспектов и способов их языкового оформления (ср. [Макаров 2003: 197–201]):

1) мониторинг контакта:

- «вводные» элементы, обеспечивающие привлечение и поддержание внимания (*послушайте; знаете*),
- разнообразные обращения (*господин президент; мадам; сэр; Миша; Эй, вы там!*);

2) мониторинг канала:

- фразы типа *Говорите!*; *Я вас не слышу; Очень плохо слышно, я перезвоню; Твои каракули невозможно разобрать; Не говори с набитым ртом*,
- регламентированные обмены в специализированных языках (*Седьмой, седьмой. Прием. — Седьмой слушает*);

3) мониторинг восприятия и понимания:

- контролирующие запросы со стороны говорящего (*Ты слушаешь меня?; Это понятно?*),

- подтверждающие сигналы со стороны адресата (*угу, да, конечно, я понимаю*),
 - переспросы с его стороны (*Что вы сказали?; Простите? Не могли бы вы повторить?*),
 - исходящее от любой стороны информирование о неудаче общения в целом (*Ты меня не слушаешь; Ты меня не понял*);
- 4) мониторинг формы сообщения:
- маркеры начала, структурирования и окончания сообщения (*прежде всего; прежде, чем я отвечу на ваш вопрос; во-первых, во-вторых и т. д.; с одной стороны — с другой стороны; наконец; в заключение*),
 - элементы редактирования (*другими словами; в целом; как я уже говорил*);
- 5) мониторинг содержания сообщения:
- авторская оценка сообщения как истинного, вероятного, сомнительного и пр. (*Я уверен, что это правда; У меня не осталось никаких сомнений*),
 - количественная сторона общения (*Ты сказал уже довольно!; И это все, что ты хотел мне сказать?*),
 - релевантность сообщения в рамках локальной или глобальной темы (*Это не имеет отношения к нашей теме*),
 - его уместность в ситуации (*Не здесь!; Не по телефону!; Я не хочу это сейчас обсуждать*);
- 6) мониторинг межличностных и социальных отношений:
- стиль речи и тональность общения (*Не говори со мной таким тоном!; Выберите выражения!*),
 - нормы институционального взаимодействия (*Здесь вопросы задаю я*),
 - мена коммуникативных ролей (*Извините, что я вмешиваюсь в ваш разговор; Дайте мне сказать*),
 - ввод, конкретизация, смена темы (*Сначала мы обсудим проблемы экологии; Говоря о проблемах экологии...; Хватит говорить об экологии. Давайте поговорим о дискурсе*);
- 7) дейксис дискурса (*как я говорил ранее; ниже мы рассмотрим; помимо уже сказанного; более того; помимо этого*).

Дискурсивные маркеры

К метакоммуникации примыкает популярное в зарубежных исследованиях понятие дискурсивных маркеров (в литературе также обозначаемых как дискурсивные слова, дискурсивные частицы, прагматические маркеры, прагматические частицы). Широкой вариативности названия сопутствует не менее широкая вариативность в интерпретации, так что наблюдающийся рост числа работ по данному вопросу, как кажется, не приводит к дальнейшему прояснению сути явления.

Принято считать, что одним из первых на соответствующий феномен обратил внимание американский лингвист Р. Лонгейкр, проницательно заметивший, что «практически всегда эти загадочные частицы <...> выполняют функцию, связанную с единицами, большими чем предложение, т. е. с абзацем и дискурсом» [Longacre 1976: 468]. Что же это за загадочные частицы?

В широко известном исследовании, специально посвященном дискурсивным маркерам в английском языке, предметом рассмотрения стали следующие слова и словосочетания: *oh, well, and, but, or, so, because, now, then, I mean, y'know* [Schiffrin 1987]. М. Стаббз в качестве типичных примеров упоминает *well, now, right, anyway, you know, I see, hello, goodbye* [Stubbs 1983: 68].

В книге [Баранов и др. 1993] дискурсивные слова включают в себя наречия, частицы, вводные обороты, ср.: *едва, еле, с трудом, чуть, немного, почти, действительно, в самом деле, на самом деле, в действительности, вообще, в общем, в целом, в принципе, вовсе, совсем, прямо, просто*. В более поздней публикации того же коллектива авторов [Дискурсивные слова... 1998] дополнительно рассматриваются следующие единицы: *только, лишь, всего, всего лишь, всего-навсего, по крайней мере, по меньшей мере, наоборот, опять, снова, вновь, заново, еще раз, опять же, опять-таки, таки, все же, все-таки, все равно, кстати, впрочем, кроме того, да и, как раз, именно, разве, неужели, наверное, наверняка, авось, небось, пожалуй, что ли, конечно, разумеется, естественно*. В подходе отечественных авторов отчетливо ощущается влияние грамматической концепции академика В. В. Виноградова, да и сами они

отмечают близость рассматриваемых единиц к так называемым модальным словам (ср. [Виноградов 1947]).

Как бы ни были различны предлагаемые списки слов, нетрудно заметить, что их члены не образуют группировки по какому бы то ни было грамматическому или семантическому признаку. Все исследователи согласны в том, что основанием для выделения столь разных выражений в одну группу служит функциональный критерий.

По мнению Д. Шифрин, дискурсивные маркеры способствуют когеренции устного дискурса, фактически представляя собой инструкцию о том, как следует рассматривать поступающее высказывание — как ориентированное на говорящего или слушающего, на предшествующий или будущий текст, на информацию или оценку и пр. Дискурсивные маркеры образуют своеобразные «контекстуальные координаты» при порождении и интерпретации высказывания [Schiffrin 1987]. Отечественные исследователи высказываются в схожем духе, отмечая, что дискурсивные слова «обеспечивают связность текста, <...> отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, <...> выражают истинностные и этические оценки, пресуппозиции, мнения, соотносят, сопоставляют и противопоставляют разные утверждения говорящего или говорящих друг с другом, и проч.» [Баранов и др. 1993: 7].

На любопытную связь дискурсивных маркеров с Принципом Кооперации Грайса (см. главу 4) указывает С. Левинсон. С его точки зрения, многие из них (к примеру, англ. *well, oh, ah, so, anyway, actually, still, after all, by the way, now, you know*) служат сигналами нарушения тех или иных постулатов данного принципа. Ссылаясь на работу Р. Лакофф, он пишет, что маркер *well* (по крайней мере в одном из своих значений) несет в себе сообщение о том, что говорящий не в состоянии выполнить первый постулат количества (т. е. сообщить необходимый объем информации), ср. следующий диалог:

- *Where are my glasses?*
- *Well, they're not here.*

[Levinson 1983: 162]

Употребление маркера *anyway* в инициальной позиции, по мнению автора, связано с постулатом отношения: сигнализируя случившееся отклонение от исходной темы разговора, он может обозначать призыв вернуться к ней, ср.:

— *Oh I thought it was good.*

— *Anyway, can we get back to the point?*

[Levinson 1983: 162]

По ряду параметров дискурсивные маркеры сближаются со словами-паразитами, так что провести четкую границу между этими понятиями непросто. Как и слова-паразиты, дискурсивные маркеры в значительной степени десемантизированы. Они довольно подвижны, легко входят в употребление и достигают высокой частотности, а затем постепенно выходят из употребления, уступая место новым единицам. Так, в современном русском языке (по-видимому, под влиянием английского *you know*) чрезвычайно широкое распространение получил маркер *знаете*, занимающий инициальную позицию при ответе на открытый вопрос. В последние годы (вероятно, вследствие аналогичного влияния) стал активно использоваться новый маркер *смотрите*; одна из основных сфер его употребления — это продажа товаров и услуг. Маркер *смотрите* открывает ответную реплику продавца, следующую за вопросом клиента, и сопровождается характерной «многозначительной» паузой. Он также широко используется в жанре интервью и бесед журналиста с приглашенным гостем; при этом к данному маркеру прибегают обе стороны [Скребцова 2020].

Тема дискурсивных маркеров в различных языках обретает все большую популярность. В ряде исследований ставится задача более четко сформулировать термины, используемые для обозначения близких явлений, и определить основания для их разграничения, ср. [Degand et al. (eds) 2013; Fedriani, Sansó (eds) 2017]. Это оставляет надежду на то, что заметное увеличение числа работ, посвященных дискурсивным маркерам, будет сопровождаться прогрессом в осмыслении теоретических предпосылок их выделения.

В рамках обозначенной темы намечаются контуры новой области исследования, посвященной комбинациям дискурсивных

маркеров (ср. англ. *oh well, but actually, but conversely, you know I mean, sort of you know*). Анализируются как структурные, так и семантические особенности подобных комбинаций: степень закреплённости членов (и, следовательно, вопрос о лексикализованности целого сочетания), комбинаторная избирательность и ее причины, семантические отношения между членами сочетания, функции подобных комплексов с точки зрения локальной организации дискурса. Само по себе появление нового направления исследования показывает жизнеспособность и плодотворность темы дискурсивных маркеров в целом.

Приложение 1. Структура бытового разговора (школа конверсационного анализа)

Школа конверсационного анализа (*conversation analysis*) сложилась в США в 1960–1970-е гг. усилиями Гарви Сакса и его коллег Эммануила Щеглова и Гейл Джефферсон; последние впоследствии развивали идеи Сакса и предприняли посмертное издание его лекций. Поскольку Сакс был социологом, конверсационный анализ имел скорее социологическую направленность и не был основан на прочном лингвистическом фундаменте. Тем не менее исследования выполнялись на языковом материале и являют собой яркий пример структурного подхода к анализу устной коммуникации¹⁸.

Решающую роль в становлении конверсационного анализа сыграли социологические исследования Э. Гофмана и «этнометодология» Г. Гарфинкеля, который, в свою очередь, находился под влиянием «феноменологии» А. Шютца. Этнометодология была сосредоточена на исследовании повседневных процедур, посредством которых создается социальный порядок. Ее характерной чертой было недоверие к разного рода идеализированным конструктам: описание человеческого поведения должно быть основано на сугубо эмпирическом базисе. В соответствии с этой общей установкой, Сакс, решивший применить идеи этнометодологии к языку, избегал постулировать какие бы то ни было априорные предположения относительно языковых структур и функций, фоновых знаний коммуникантов, их коммуникативных намерений и пр. Любые единицы, модели и правила, считал он, следует извлекать из реальных фактов речевого взаимодействия.

Предметом исследования служили бытовые разговоры, которые рассматривались в качестве простейшего примера социальной деятельности, протекающей естественно, без какой бы то ни было внешней регуляции. Исследователь делал аудио- или видеозапись разговоров, но сам при нем не присутствовал. Эти записи подробно транскрибировались в соответствии с определенной

¹⁸ Подробный обзор достижений школы конверсационного анализа см. в [Levinson 1983: 284–370; Исупова 2002; Clayman, Gill 2012; Корбут 2015].

нотацией и скрупулезно изучались на предмет одинаковых или регулярно повторяющихся явлений. Исследователей интересовали скрытые механизмы, управляющие течением естественного неформального диалога, и они пытались выявить соответствующие закономерности. Основное внимание было сосредоточено на процедуре мены коммуникативных ролей (перехода реплики от одного коммуниканта к другому). Двигаясь от эмпирического материала, исследователи стремились сформулировать общие правила этого перехода.

На первый взгляд, процесс перехода слова от одного коммуниканта к другому в условиях бытового разговора кажется хаотичным и едва ли перспективным в плане структурного описания. Однако Саксу с коллегами удалось выявить характерные свойства диалога и сформулировать правила мены коммуникативных ролей, которые способны, по их мнению, исчерпывающе описать процесс его протекания. Поскольку мена ролей является организующим фактором любого диалога, именно она служит основанием для построения структурной модели устной коммуникации [Sacks et al. 1974]¹⁹.

Любой разговор, по мнению авторов, характеризуется рядом свойств, которые необходимо учитывать при построении модели, а именно [Ibid.: 700–701]:

1. Говорящий и слушающий меняются ролями (хотя бы один раз).
2. В каждый момент, как правило, говорит только один участник.
3. Одновременное «говорение» двух и более участников случается довольно часто, но длится недолго.
4. Переход от одной реплики к следующей происходит быстро, без пауз и наложений. Встречаются также переходы с незначительной паузой или наложением. В совокупности эти два типа переходов охватывают подавляющее большинство случаев.
5. Очередность реплик не фиксирована.

¹⁹ См. также русский перевод данной статьи [Сакс и др. 2015].

6. Объем реплик не фиксирован.
7. Длительность разговора заранее не задана.
8. Содержание реплик заранее не задано.
9. Распределение реплик между собеседниками заранее не задано.
10. Число участников разговора вариативно.
11. Разговор может протекать плавно или прерывисто.
12. Существуют специальные способы назначения следующего говорящего (например, когда текущий говорящий задает собеседнику вопрос); в некоторых случаях участники сами решают, к кому переходит слово.
13. Реплики могут быть разной длины, от одного слова до словосочетания, предложения и более.
14. Существуют способы исправления ошибок и сознательных нарушений при взятии слова: когда два собеседника осознают, что говорят одновременно, один из них замолкает, не закончив реплики, тем самым исправляя возникшую проблему организации речевого общения²⁰.

Важность обращения именно к бытовому разговору авторы объясняют повышенной сложностью задачи. Они указывают, что институциональные формы устной коммуникации имеют более простую организацию, поскольку ряд параметров там жестко фиксирован (например, пункты 5 и 6).

Предлагаемая авторами модель мены коммуникативных ролей состоит из двух компонентов: построения реплики (*turn construction*) и ее перехода (*turn allocation*). Реплика, по мысли авторов, может представлять собой слово, словосочетание или предложение — несамостоятельное (*clause*) или самостоятельное (*sentence*). Ср. некоторые типичные примеры диалогов на русском языке, ср.:

Какой сегодня день? — Понедельник;

Что ты хочешь на завтрак? — Кофе с бутербродом;

²⁰ Вопросу исправления ошибок, связанных с меной коммуникативных ролей, посвящена специальная статья [Schegloff et al. 1977].

*Скоро мы пойдем? — Как только закончу все дела;
Почему ты не позвонил? — Потому что уже было слишком поздно;*

Как ты планируешь провести отпуск? — Думаю съездить на море, а остаток времени провести на даче.

Авторы утверждают, что уже в самом начале реплики (по ее лексическому наполнению, просодике) собеседник может определить ее тип, прогнозировать ее завершение и без паузы вступить в диалог. Ср. следующий диалог между администратором и клиентом, где последний начинает отвечать, не дождавшись завершения предыдущей реплики, в результате чего происходит наложение реплик, и администратор просит клиента повторить свою фамилию:

Desk: *What is your last name* *Lorraine.*
Client: *Dinnis.*
Desk: *What?*
Client: *Dinnis.*

[Sacks et al. 1974: 702]

Завершение речевой цепочки, реализующей тот тип реплики, который предположительно строит говорящий, представляет собой первую возможность для перехода коммуникативной инициативы к другому участнику. Например, в приведенном выше примере *Скоро мы пойдем? — Как только закончу все дела* первая возможность наступает после слова *дела* (так называемое потенциально завершенное высказывание), хотя реплика говорящего может продолжаться и дальше, ср. *Как только закончу все дела, так и пойдем / Как только закончу все дела, но нужно еще зайти к начальнику* и т. п.

Основное внимание Сакс с коллегами уделяют второму компоненту модели — способам перехода реплики от одного участника разговора к другому. Выделяются два типа мены коммуникативных ролей, ср.:

- 1) следующий участник назначается текущим говорящим (при помощи вербальных или невербальных средств);
- 2) участники сами решают, к кому переходит инициатива.

Так, в приведенном ниже диалоге Сары с Беном и Биллом реплики Сары относятся к первому типу, а Бена и Билла — ко второму (их вступление в разговор «назначается» Сарой), ср.:

Sara: *Ben you want some ()?*

Ben: *Well allright I'll have a,*

((pause))

Sara: *Bill you want some?*

Bill: *No,*

[Sacks et al. 1974: 703]

Нужно отметить, что ответ на вопрос не всегда предполагает переход инициативы первым способом, т. е. при помощи назначения. В следующем примере все репликовые шаги взяты участниками по собственной инициативе:

Jim: *Any a' you guys read that story about Walter Mitty?*

Ken: *I did,*

Roger: *Mm hmm*

[Ibid.]

Свод правил, регулирующих такие аспекты разговора, как построение реплики, назначение (в том числе и «самоназначение») следующего говорящего и гладкую мену коммуникативных ролей (без пауз и наложений), выглядит следующим образом [Ibid.: 704]:

1. Для любой реплики в первом возможном месте мены ролей, т. е. в конце того типа реплики, которую строит говорящий, возможны следующие варианты:
 - а) если построение реплики предполагает, что текущий говорящий назначает следующего участника, тот может и обязан взять репликовый шаг; никто иной не наделен таким правом и обязанностью, и переход инициативы осуществляется в этом месте;
 - б) если построение реплики не предполагает, что текущий говорящий назначает следующего участника, то может произойти «самоназначение», но это не является обязательным; право вступить в разговор получает тот, кто начинает говорить первым, и переход инициативы осуществляется в этом месте;

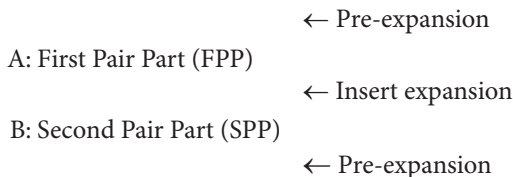
- с) если построение реплики не предполагает, что текущий говорящий назначает следующего участника, он может (но не обязан) продолжить говорить, при условии что никто другой не взял инициативу.
2. Если в первом возможном месте мены ролей, т. е. в конце того типа реплики, которую строит говорящий, не произошло ситуаций, описанных в 1a или 1b, и текущий говорящий, выполняя вариант 1c, сохраняет коммуникативную инициативу, набор правил 1a–1c вступает в силу в следующем возможном месте мены ролей и рекурсивно в каждом последующем, пока не произойдет переход инициативы к другому участнику.

Авторы отмечают, что организация мены коммуникативных ролей в диалоге совмещает в себе два, казалось бы, противоположных свойства. Формальный аппарат не зависит от контекста, поскольку применим к широчайшему спектру речевого общения, включая самые разные коммуникативные ситуации и характер участников. Однако на локальном уровне мена ролей обладает высокой зависимостью от контекста, его различных языковых и социальных аспектов. Двойной статус обеспечивает, с одной стороны, универсальность, с другой — гибкость.

Поскольку представители конверсационного анализа пристально анализировали процесс перехода слова от одного собеседника к другому, вполне закономерно, что именно они обратили внимание на существование такого феномена, как пара смежных реплик (*adjacency pair*), которая была признана основной структурной единицей общения. Типичные пары смежных реплик — это «вопрос — ответ», «приветствие — приветствие», «предложение — принятие (предложения) / отказ» [Schegloff, Sacks 1973]. Разумеется, вопрос может остаться без ответа, но это отсутствие заметно и значимо.

Анализ повседневной коммуникации показывает, что подобные блоки нередко расширяются за счет добавления побочных структур (*side sequences*) [Jefferson 1972]. Это могут быть дополнительные реплики, располагающиеся непосредственно перед

(*pre-expansion*) или после (*post-expansion*) пары смежных реплик, а также вставные конструкции, разъединяющие ее первый и второй члены (*insert expansion*). Графически все эти типы можно изобразить следующим образом:



Добавление непосредственно предшествующих реплик (*pre-expansion*) можно видеть на примере призывов к вниманию типа *Мама? — Да?* или *А знаешь что? — Что?* (далее следует вопрос, сообщение, предложение и т. д.). Вставные конструкции часто возникают вследствие того, что слушающий не расслышал или не понял вопроса: происходит соответственно переспрос и ответ на него. Ср. также следующий пример [Кругосвет]:

Вопрос 1: *Не подскажете, где здесь почта?*
 [Вопрос 2: *Видите тот киоск?*
 Ответ 2: *Да.*]
 Ответ 1: *Там надо повернуть направо.*

Наконец, если добавление реплик происходит непосредственно после пары смежных реплик (*post-expansion*), они структурно и содержательно связаны со второй репликой, ср. *Да, понятно; Хорошо; Ладно; Надо же; Жалко* и т. п.

Критика конверсационного анализа

К заслугам представителей школы конверсационного анализа следует отнести тот факт, что они первыми на обширном и детально изученном материале наглядно продемонстрировали кооперативную природу диалога, что имело большое значение для дальнейших исследований устной коммуникации. Важно также, что предложенный метод был направлен на анализ бытовых (повседневных) разговоров, которые считаются наименее формализуемым жанром.

Критика со стороны лингвистов была связана прежде всего с отсутствием описания собственно языковых механизмов, обеспечивающих коммуникативное взаимодействие. К примеру, какие грамматические и фонологические подсказки позволяют слушающему отличить риторическую паузу говорящего от паузы, сигнализирующей ее окончание? От ответа на этот вопрос зависит плавное течение разговора и, следовательно, успешность коммуникации. В первом случае слушающий должен промолчать и дожидаться, когда говорящий продолжит речь, во втором — напротив, без лишнего промедления взять слово [Gumperz 1982: 160]. Как правило, люди на практике легко отличают эти виды пауз, но подобные аспекты в работах данной школы не затрагиваются.

Многие исследователи сетовали на то, что данное направление предлагает сугубо формальный метод для анализа структуры разговора, игнорирующий функциональную сторону речевого общения (не говоря уже о внешнем контексте). Между тем, как неоднократно указывалось, оба аспекта неразрывно связаны: характер конкретной реплики обусловлен не только ее линейной позицией в диалоге, но также содержанием и функциональной направленностью предыдущей реплики (а нередко и более обширного предшествующего фрагмента). Ткань разговора обеспечивается не только формальным каркасом, но и смысловыми связями между соседними репликами. Игнорирование содержательной стороны коммуникации — весомый упрек в адрес конверсационного анализа как метода изучения дискурса.

Возьмем, например, случай, когда после реплики-вопроса следует не утвердительная реплика (которую естественно было бы считать ответной), а другая реплика-вопрос. Если подходить сугубо формально, вторая реплика может оказаться вопросом, началом вставной структуры (см. пример выше) или, что в принципе возможно, даже ответом. Ср.:

George: *Did you want an ice lolly or not?*

Zee: *What kind have they got?*

George: *How about orange?*

Zee: *Don't they have Bazookas?*

George: *Well, here's twenty pence + you ask them*

[Brown, Yule 1983: 230].

Спрашивается: каким образом (если содержание реплик не принимается во внимание) исследователь должен определить структуру данного диалога? Очевидно, что первая реплика представляет собой вопрос, а последняя, пятая, — ответ, но как квалифицировать вторую, третью и четвертую? [Ibid.].

Столь узкое понимание контекста — как непосредственного речевого ко-текста — полностью исключает из рассмотрения ситуационный, социальный, когнитивный, этнокультурный аспекты коммуникации, что в ряде случаев препятствует адекватному истолкованию смысла реплик и хода речевого взаимодействия. Не учитываются также невербальные знаки (взгляд, жесты), которые как раз в бытовом разговоре «лицом к лицу» бывают весьма значимы²¹.

Более частные критические замечания в основном сосредоточены на центральном предмете анализа — процедуре перехода слова от одного участника к другому. В частности, у лингвистов вполне закономерные возражения вызывает понятие «потенциально завершенное высказывание» (*possibly complete utterance*). Представители конверсационного анализа не указывают, какие факторы влияют на восприятие высказывания как завершенного (просодические, лексические, семантические, прагматические). Непонятно, учитывается ли только вербальный компонент или невербальные знаки тоже. Не поясняется, по каким сигналам

²¹ Некоторые исследователи предлагали рассматривать движение глаз (направление взгляда) в качестве сигнала смены коммуникативных ролей. Утверждалось, что говорящий, начиная свою реплику, отводит взгляд от слушающего и сосредоточивается на своих словах, а заканчивая ее, вновь обращает взор на собеседника, тем самым сигнализируя передачу коммуникативной инициативы. Но, как было показано в ряде работ, это не всегда так: даже в канонической коммуникативной ситуации «лицом к лицу» направление взгляда не может считаться надежным (необходимым и достаточным) критерием смены ролей. При коммуникации посредством телефона и прочих современных средств связи данное утверждение и вовсе нерелевантно (см. [Levinson 1983: 301–302]).

слушающий должен с первых слов догадаться о синтаксическом типе реплики говорящего. При близком рассмотрении не выглядят бесспорными ни техники назначения и самоназначения следующего говорящего, ни механизмы исправления ошибок в построении диалога [Power, Dal Martello 1986].

Представители Бирмингемской школы анализа дискурса (см. ниже Приложение 2 к настоящей главе) критиковали конверсационный анализ за отсутствие какой бы то ни было научной методики исследования, что приводит к смешению разнородных категорий при описании материала [Advances... 1992: 55]. Так, рассматривая структуры диалога с побочными структурами, Г. Джефферсон квалифицирует составляющие их реплики как Вопрос, Утверждение (типы речевых актов), Продолжение, Завершение (структурные свойства) и Непонимание, Объяснение (семантические характеристики), ср.:

Statement:	<i>If Percy goes with — Nixon I'd sure like that</i>
Misapprehension:	<i>Who</i>
Clarification:	<i>Percy. That young fella that wh — his daughter was murdered</i>
Termination:	<i>Oh yea:h Yeah</i>

Инвентарь категорий, при помощи которых происходит классификация реплик, не составлен и не обоснован, что приводит к непоследовательности и субъективности при описании материала [Ibid.].

Конверсационный анализ нередко упрекали в нелингвистичности, подчеркивая его социологическую подоплеку и называя «доморощенной лингвистикой» (*do-it-yourself-linguistics*) [Goldthorpe 1973]. Заметим, что социологи тоже не были вполне довольны предложенным методом, так как полученные микроструктуры разговора были никак не связаны с макроструктурами общественного устройства. Получалось, что разговор как социальная практика (факт, неизменно акцентированный представителями данного направления) существует как бы в вакууме, не испытывая воздействия со стороны социальной структуры общества [Fairclough 1989: 12].

Несмотря на гибель в 1975 г. признанного лидера данной школы Г. Сакса, американская школа конверсационного анализа по сей день хранит верность своим теоретическим принципам и остается одним из влиятельных течений в дискурсивных исследованиях, подтверждением чему служат недавно вышедшие учебные пособия [Sidnell, Stivers (eds) 2012; Clift 2016]. В последние годы предпринимаются попытки применения методологии конверсационного анализа к анализу дискурса в социальных сетях, см., например, [Farina 2018].

Приложение 2. Единицы речевого взаимодействия (на примере школьных уроков)

В 1970-е гг. коллектив лингвистов из Бирмингемского университета (Дж. Синклер, М. Култхард, Д. Брейзил и нек. др.) обратился к исследованию того, как протекает речевое взаимодействие учителя с учениками на школьных уроках (см. [Advances... 1992]). Выбор предмета исследования был обусловлен тем, что урок как речевой жанр очевидным образом имеет признаки структурной организации. В качестве теоретической основы авторы взяли так называемую шкалу разрядов (*rank scale*) известного британского лингвиста М. Хэллидея [Halliday 1961], являющуюся образцом уровневой модели лингвистического описания: единицы низшего уровня, соединяясь друг с другом, дают единицу более высокого уровня. При этом каждая единица получает характеристику с точки зрения, во-первых, ее внутренней структуры и, во-вторых, ее позиции или функции в составе более крупной единицы.

Применяя идеи Хэллидея к анализу собранного материала, исследователи получили следующую иерархию единиц (от самой минимальной, элементарной, до максимально крупной):

ACT — MOVE — EXCHANGE — TRANSACTION — INTERACTION.

Обратимся к их краткому рассмотрению. Пример подробно размеченного диалога можно видеть в конце настоящего Приложения.

ACT (*интерактивный акт*) является единицей низшего, элементарного уровня. С грамматической точки зрения он соответствует отдельному предложению. Акты подразделяются на виды в соответствии со своей иллокутивной функцией. Опираясь на собранный материал, авторы выделили 21 вид актов. При этом они отмечают, что, возможно, некоторые из них обусловлены спецификой педагогического дискурса и не встречаются в других видах речевого общения. Таковы, к примеру, акты типа *check* (вопросы учителя о том, готовы ли ученики отвечать, закончили ли они задание, хорошо ли им видно / слышно и т. д.) или *evaluate*

(утверждения, оценивающие качество вопросов, ответов, выполненных заданий).

Наиболее распространенными типами актов в контексте школьных уроков, по мнению авторов, являются вопрос, на который учитель знает ответ, но хочет получить его от ученика (*elicitation*), побуждение (*directive*) и сообщение (*informative*). Разные типы актов требуют разной реакции: вопрос обычно предполагает вербальный ответ, хотя возможен и невербальный (ср. кивок головой), побуждение, напротив, вызывает невербальную реакцию (например, посмотреть на доску, открыть учебники, записывать задание и пр.), а ответом на сообщение может быть разве что подтверждение внимания (*acknowledgement*).

Совокупность актов внутри одной реплики образует MOVE (*коммуникативный, или интерактивный, ход*). Исходя из внутренней структуры ходов, а также их роли в более крупной единице (обмене), авторы выделили пять типов ходов: обрамляющий (*framing*), фокусирующий (*focusing*), открывающий (*opening*), ответный (*answering*) и завершающий (*follow-up*).

Следующий разряд, образованный несколькими ходами, — это разнообразные виды обменов (EXCHANGE). Обмен был признан основной единицей речевого взаимодействия, и его изучению уделялось больше всего внимания. Среди обменов были выделены пограничные (*boundary*) и собственно педагогические (*teaching*); последние в свою очередь делились на свободные и связанные, а далее на еще более мелкие классы в соответствии со своей функцией и в зависимости от того, кому принадлежит открывающий ход — учителю или ученику.

Педагогический обмен состоит, как минимум, из двух смежных реплик двух участников разговора. Реплики бывают следующих трех типов:

I (*initiation*) — реплика (ход), открывающая обмен;

R (*reaction*) — ответная реплика (ход);

F (*follow-up*) — обратная связь (отклик на ответный ход).

Приведем некоторые примеры (для простоты изложения типы актов здесь не указаны):

I: *It's red*
R: *Dark red?*
F: *Yes*

[Advances... 1992: 82]

Другой пример:

I: *Why? Did you wake up late today?*
R: *Yeah, pretty late*
F: *Oh dear*

[Ibid.: 85]

Хотя третий ход в последнем диалоге не является обязательным, такого рода реплики бывают нужны для осуществления обратной связи и оценки, ср.:

I: *Put the chopsticks away Ann-Marie*
R: *Alright* (puts them down)
F: *Good girl*

[Ibid.: 86]

Минимальный педагогический обмен состоит из реплик типа I и R, поскольку открывающий ход требует ответа. Реплика F используется при завершении обмена, но в принципе она факультативна. Авторы модели подчеркивают, что разные открывающие реплики влекут за собой разную структуру обмена: так, I-вопрос, на который учитель знает ответ (*elicitation*), обычно предполагает после реплики R (ответа ученика) учительскую реплику F, оценивающую этот ответ, — в отличие от I-вопроса типа *Вам видно, что я тут написал?* В первоначальной версии модели обмен типа IF считался невозможным (позднее его сочли допустимым — см. ниже). Учитывая все вышесказанное, общая схема обмена выглядит следующим образом: I R (F).

Заметим, что в разговорном анализе (см. выше Приложение 1) в близком смысле используется понятие «пара смежных реплик» (*adjacency pair*), однако оно, как следует из самого названия, применяется только к структурам, образованным двумя ходами. Таким образом, термин *обмен* имеет более широкий охват.

Приведем пример того, как можно представить более продолжительный фрагмент общения (на этот раз — не учителя с учеником, а врача с пациентом) посредством данных типов реплик:

Doctor, I: *And what's been the matter recently*
 Patient, R: *Well I've had pains around the heart*
 Doctor, I: *Pains — in your chest then*
 Patient, R: *Yes*
 Doctor, I: *Whereabouts in your chest*
 Patient, R: *On the — heart side, here*
 Doctor, F: *Yes*
 Doctor, I: *And how long have you had these for*
 Patient, R: *Well I had 'em a — week last Wednesday*
 Doctor, F: *A week last Wednesday*

[Advances... 1992: 66]

Объединение обменов дает следующую единицу речевого общения — TRANSACTION (*транзакцию*). Границы транзакции определяются либо в соответствии с границами глобальных тем (что соответствует интуитивному представлению о «смене темы» разговора), либо по границам типов деятельности в рамках одной и той же глобальной темы: так, объяснение материала и опрос ученика составляют разные транзакции. В письменном тексте транзакция соответствует абзацу. В устной речи граница транзакций сигнализируется характерными заключительным и предварительным обменом (см. ниже). Маркером начала новой транзакции также служит интонация.

Общая структура транзакции выглядит следующим образом: (P) M (M²...Mⁿ) (T), — где P и T — соответственно предварительный (*preliminary*) и заключительный (*terminal*) обмены, а M — промежуточные (*medial*) обмены. Предварительные и заключительные обмены могут содержать реплики наподобие *А теперь мы заканчиваем говорить о... и переходим к проверке домашнего задания*. Но в принципе транзакция может ограничиваться единственным обменом M (см. формулу). Если предварительный и заключительный обмены отсутствуют, единственным маркером смены транзакции является интонация.

Совокупность транзакций образует самую крупную единицу — INTERACTION (интеракцию, или речевое событие). В качестве предварительного и заключительного обменов здесь обычно выступают обмены типа *Greet* (формулы вежливости, используемые при приветствии и прощании). Интеракция легко идентифицируется в социально-культурных терминах: в исходной модели Синклера — Култхарда это урок, но могут быть также прием врача, судебное заседание, рабочее совещание и т. д. Структура интеракции обусловлена характером ситуации и не может быть описана в лингвистических терминах. Можно только сказать, что интеракция состоит из последовательности транзакций, но эта последовательность обусловлена исключительно внешними, неязыковыми факторами (ср. на приеме врача: жалобы — осмотр — диагноз — предписание).

Критика модели Синклера — Култхарда

Публикация работ бирмингемских лингвистов была встречена с интересом, однако при применении разработанных принципов и категорий анализа к другим видам устной коммуникации обнаружилось, что предложенная модель в значительной степени обусловлена спецификой педагогического дискурса и, более того, конкретного жанра (школьного урока) и мало приспособлена для описания структуры прочих видов общения, как институционального, так и неформального.

Действительно, педагогический дискурс обладает рядом особенностей, не характерных для других видов коммуникации (см. [Stubbs 1983: 43–44, 50 ff.]). Так, трехчастный обмен вида IRF, который авторы рассматриваемой модели заявляли в качестве основного, *является таковым только для педагогического (и отчасти медицинского) дискурса*. Здесь реплика F играет важную роль, помогая учителю сохранять коммуникативную инициативу, удерживать внимание, отслеживать обратную связь, побуждать учеников говорить или молчать, выражаться более ясно, подробно или, наоборот, кратко. В других жанрах устного общения реплика F также встречается, но выступает чаще в функции признания (*acknowledge*) или принятия

(*accept*), но не оценки (*evaluate*). Оценочная функция реплики F более всего характерна для дискурса школьных уроков.

Еще одним ограничением модели Синклера — Култхарда, по мнению М. Стаббза, является то, что она строится на материале «классического» педагогического дискурса, предполагающего институционально фиксированный неравный статус участников и безоговорочное соблюдение ими соответствующих норм и конвенций. Если бы материал содержал образцы более «либерального» стиля общения, при котором ученик может ставить под сомнение правомерность обращенных к нему вопросов или заданий, обоснованность оценок и т. п., едва ли его можно было бы описать в рамках исходной модели [Stubbs 1983: 134]. В любом случае, модель в ее первоначальном виде не учитывает возможности оспаривания прав участников (кто кому может приказывать, кто кого о чем может спрашивать и пр.), что нередко случается в устной коммуникации.

Упрощением является и мысль о том, что любую реплику можно однозначно определить в терминах речевых актов. В устном диалоге многие реплики являются многофункциональными, совмещая, скажем, вопрос и просьбу, просьбу и жалобу и т. д. [Ibid.].

Повод для критики давал также тот факт, что диалог не всегда однозначно членится на обмены. Начало обмена, как правило, определяется легко, а конец иногда проблематичен, тем более что он может совпадать с началом следующего обмена [Ibid.: 132]. Так, в нижеследующем примере вторая и третья реплики могут расцениваться и как завершение ранее начатого обмена, и как открытие нового, ср.:

- Ты навещал сегодня бабушку?
- А я что, обещал?
- Да, обещал.
- Нет, не обещал.

Разумеется, любая модель неизбежно идеализирует описываемое положение вещей [Ibid.: 134]: всегда можно найти примеры, которые не поддаются описанию в ее рамках. В данном случае авторы были открыты для критики и стремились далее совершен-

ствовать свою модель. Многочисленные изменения были внесены в описанную выше первоначальную версию (не столько в набор выделенных единиц, сколько в их типы и структуру), с тем чтобы модель стала более универсальной и могла охватить разнообразные ситуации как официального, так и бытового характера: разговоры друзей, членов семьи, общение взрослого и ребенка, интервью при приеме на работу, звонки на радио, общение в сфере услуг и пр.

Дальнейшее развитие модели Синклера — Култхарда

Важно подчеркнуть, что учет критических замечаний и попытка применения модели к анализу других жанров устной коммуникации не вызвали необходимости пересмотра ее теоретических оснований и структуры. Это говорит о высоком профессиональном уровне научного коллектива, добросовестности и кропотливом труде, позволивших создать хорошо обоснованную и детально проработанную модель.

Изменения затронули лишь некоторые частные аспекты. К примеру, выросло число типов актов как самой низшей, элементарной единицы описания. Это явилось непосредственным следствием расширения материала: ведь первоначальный список актов был обусловлен спецификой общения учителя с учеником в рамках школьного урока. К примеру, было предложено ввести такой акт, как «вызов» (*challenge*), в рамках открывающего коммуникативного хода, ср.:

I was supposed to get up at about seven o'clock
I (Challenge): *What do you mean you were supposed to*
[Advances... 1992: 87]

Основная работа по усовершенствованию модели была связана с более внимательным изучением обмена как основной единицы устной коммуникации. В частности, важным добавлением стало введение нового типа реплики, которая является одновременно и ответной, и открывающей — R/I. С ее помощью стало возможным описывать примеры, которые ранее ставили под вопрос четкие границы обменов и тем самым применимость шкалы разрядов к описанию устного общения (см. пример в предыдущем разделе). Ср.:

I: *Can anyone tell me what this means?*
 R/I: *Does it mean 'danger men at work'?*
 R: *Yes*

[Advances... 1992: 71]

Реплика R/I комбинаторно дополняет реплики I, R и F, если их рассматривать с точки зрения способности предсказывать следующую реплику или, наоборот, быть предсказанными предыдущей репликой, ср. [Ibid.]:

Тип реплики	Предсказывает	Предсказывается
Открывающая (I)	+	-
Ответная (R)	-	+
Обратная связь (F)	-	-
Ответная/открывающая (R/I)	+	+

В итоге общая формула обмена была преобразована и стала выглядеть следующим образом: I (R/I) R (Fⁿ) [Ibid.: 124]. Из этой формулы также видно, что F-реплика стала допустимой не только в качестве отклика на IR, но и на предшествующую F. Отсюда следует, что обмен вполне может быть длиннее трех реплик (ср. первоначальную версию).

Предлагалось также считать реплику R факультативной, так как информирующий открывающий ход учителя не всегда требует ответной реплики учеников, а директивный открывающий ход обычно предполагает в качестве ответа действие [Ibid.: 112–113]. Правда, здесь возникает вопрос, можно ли одиночную реплику I рассматривать в качестве обмена как единицы вербальной коммуникации.

Первоначальная мысль о невозможности последовательности IF была подвергнута пересмотру: ср. следующий пример, где открывающая реплика носит информирующий характер, а следующая не несет никакой новой информации, а фактически подтверждает предыдущую, сворачивая обмен и делая невозможным какое бы то ни было его продолжение:

I: *It's hot in here*
 F: *Yes, isn't it?*

[Ibid.: 120–121]

В ответ на замечание о возможной неоднозначности реплик в плане их функциональной нагрузки была скорректирована формулировка: открывающие ходы обладают не иллюкутивной силой (информирования, побуждения и пр.), а иллюкутивным потенциалом. Слушающий может квалифицировать поступившую реплику в качестве прямого или косвенного речевого акта. Проиллюстрируем это при помощи еще двух диалогов с той же открывающей репликой, что и в примере выше, ср.:

I: *It's hot in here*

I: *It's hot in here*

I: *The window's jammed*

F: *I'm sorry. I'll open the window*

F: *Oh, I see*

[Advances... 1992: 120–121]

Нетрудно видеть, что в первом диалоге открывающая реплика воспринимается собеседником в качестве сообщения (прямой речевой акт), в то время как во втором — в качестве косвенного побуждения.

При этом было отмечено, что некоторые реплики объективно (вне зависимости от ситуации и характера отношений между участниками) допускают неоднозначную трактовку. Как правило, происходит совмещение функций сообщения (*informing*) и признания (*acknowledging*), ср.:

I (eliciting): *Why it's not floating at all*

R (informing): *No, it's lying on the floor like any old balloon*

F (acknowledging)/I (informing): *It's a bit strange you know*

R (acknowledging): *Yeah interesting*

[Ibid.: 150].

За счет функциональной неоднозначности третьей реплики данный пример фактически содержит два обмена. Первый, образованный начальными тремя репликами, имеет классический вид IRF. Второй открывается третьей репликой, но уже реализующей тип I, и закрывается следующей репликой R. Таким образом, обмены пересекаются — ситуация, которая в исходной версии модели не была разрешена.

Большая работа по ревизии модели была направлена на то, чтобы установить зависимость того или иного типа ответной репли-

ки от типа открывающей реплики, иными словами, сформулировать правила и запреты на последовательности реплик [Advances... 1992: 141–145]. Эта задача обусловлена теоретическим фундаментом модели: будучи по своей сути структурной, она нацелена на определение допустимых (правильных) и недопустимых (неправильных, невозможных) последовательностей единиц.

Несомненное преимущество модели Синклера — Култхарда состоит в ее гибкости, открытости для изменений и дополнений. Собственно говоря, именно этим и занимался коллектив британских лингвистов на протяжении многих лет, последовавших за публикацией первых статей на эту тему. В заключение приведем полный транскрипт одной интеракции (телефонного разговора) с указанием типов актов (столбец *act*), ходов (столбец *move*), обменов (столбец *exchange*) (рис. 1). В левом столбце, обозначенном аббревиатурой *e.s.*, указан элемент коммуникативного хода, реализованный предшествующим актом. В правом столбце, обозначенном той же аббревиатурой, указан элемент обмена, реализованный предшествующим ходом. В последних двух столбцах представлена нумерация обменов и транзакций соответственно. Одинарная линия обозначает границу обмена, прерывистая линия указывает на связанный обмен, двойная линия обозначает границу транзакции. В скобках указывается длительность пауз. Знак # в скобках обозначает паузу продолжительностью менее 1 сек., аббревиатура *la* — смех.

Analysing everyday conversation

<i>line of dialogue</i>	<i>act</i>	<i>e.s</i>	<i>move</i>	<i>e.s</i>	<i>exch</i>	<i>ex tr</i>
1 (telephone rings)	sum	h	opening	I	Summon	I 1
2 A: Hello	re-sum	h	answering	R		
3 B: Hello	gr	h	opening	I	Greet (incomplete)	2
4 A: Oh hold on I've got to						
5 get the extension hold on	ms	h	opening	I	Structuring	3
6 B: Ø	(aqu)	h	(answering)	R		
7 (20)						
8 A: Hello?	gr	h	opening	I	Greet (incomplete)	4
9 (1)						
10 A: Hello?	gr	h	opening	I	Greet	5
	gr	h	opening	I		
11 (1.5)						
12 B: Yeah hello	re-gr	h	answering	R		
13 A: Hello?	gr	h	opening	I	Greet (incomplete)	6
14 Oh (#)	m	s	informing	I	Inform	7
15 no we were just	i	h				
16 leaving actually						
17 B: Oh (mid key)	rec	h	acknowl	R		
18 Why (#)	s	pre-h	eliciting	I	Elicit	8
19 did you wake up late today	n.pr	h				
20 A: Yeah pretty late	qu	h	informing	R		
21 B: Oh dear	end	h	acknowl	F		
22 A: So I've got to get	i	h	informing	I	Inform (incomplete)	9
23 him off to school						
24 How are you anyway	inq	h	eliciting	I	Elicit	10 2
25 B: All right	i	h	informing	R		
26 A: You all right	ret	h	eliciting	I ^b	Clarify	11
27 B: Uh-huh (mid key)	conc	h	informing	R		
28 A: Yeah?	ret	h	eliciting	I ^b	Clarify	12
29 B: Mm (mid key)	conc	h	informing	R		
30 A: You got home all	s	pre-h	eliciting	I	Elicit	13
31 right? (#)						
32 you weren't too tired?	m.pr	h				
33 B: Well er (2)	m	s		R		
34 I got up pretty late myself	i	h	informing			
35 I mean I – I was	com	post-h				
36 supposed to get						
up at about seven o'clock						

Рис. 1. Транскрипт телефонного разговора [Advances... 1992: 157–161]

Advances in spoken discourse analysis

37	A:	What d'you mean you were supposed to	ret	h	eliciting	I ^b	Clarify	14
38								
39	B:	Well I had the alarm clock on for seven	i	h	informing	R		
40								
41	A:	Hah (low key)	ter	h	acknowl	F		
42		Well	m	s	eliciting	I	Elicit	15
43		your alarm clock doesn't seem to work	m.pr	h				
44			rej	h	inform	R		
45	B:	No it did	com	post-h				
46		I think I turned it off	ter	h	acknowl	F		
47	A:	Mm (low key)	com	post-h				
48		It's you that doesn't work						
49	A:	Hey Danny	sum	h	opening	I	Summon	16 3
50	B:	Yeah	re-sum	h	answering	R		
51	A:	You know we bought Ben that	ms	h	opening	I	Structuring	17
52		helium balloon						
53	B:	Yeah	acq	h	answering	R		
54	A:	Why doesn't it float any more (1.5)	inq	h	eliciting	I	Elicit (incomplete)	18
55								
56		It doesn't float any more	i	h	informing	I	Inform	19
57	B:	What do you mean	ret	h	eliciting	I ^b	Clarify	20
58		it doesn't float					(incomplete)	
59	A:	I mean you know it's not (la) important it's just er	i	h	informing	I	Inform	21
60								
61	B:	What do you mean it doesn't float any more	inq	h	eliciting	I ^b	Re- initiation	22 ^a
62								
63		a peculiar physical fact that helium yesterday was lighter than						
64		air and today it's heavier						
65								
66	B:	Really?	m.pr	h	eliciting	R/I		
67	A:	Yeah (high key)	conf	h	informing		R	
68		isn't that weird	com	post-h				
69		I mean nothing could have happened to it (high ter)	i	h	informing	I	Inform (incomplete)	23
70								
71		(3)						
72		But i-					(incomplete)	24
73	B:	Well	m	s	eliciting	I	Elicit	25
74		unless they <i>weren't</i> using helium	m.pr	h				
75								
76	A:	They were	rej	h	informing	R		
77		I saw them fill it	com	post-h				
78	B:	It was written helium that he -er that was what was written on the um &	m.pr	h	eliciting	I	Elicit	26 ⁷
79								
80								
81	A:	No	rej	h	informing	R		

Analysing everyday conversation

82	but I mean –							
83	B: & on the tank or something	(uncodable)						
84	A: Well what <i>was</i> it then	inq	h	eliciting	I	Elicit	27	
85	B: Sorry?	L	h	eliciting	I ^b	Repeat	28	
86	A: What <i>was</i> it then	inq	h	eliciting	R/I			
87	B: I don't know you know	s		pre-h informing	R			
88	I mean I'm just trying to							
89	work out and see I I mean it							
90	could be <i>anything</i> wh-							
91	helium doesn't get converted	i	h					
92	A: What?	L	h	eliciting	I ^b	Repeat	29	
93	I can't hear you at all	com		post-h				
94	B: Well helium doesn't get	i	h	informing	R			
95	converted erm you know							
96	lying							
97	just lying around							
98	A: That's what I would have	end	h	acknowl	F			
99	B: I mean unless you're	i	h	informing	I	Inform	30	
100	thinking about something							
101	that undergoes a reaction							
102	A: What?	L	h	eliciting	I ^b	Repeat	31 ⁸	
103	B: Well the only possibility is	s		pre-h informing	R/I			
104	(#) I don't know er er							
105	unless							
106	it's some (#) some gas that	i	h					
107	undergoes a reaction and							
108	is converted to something							
109	else I mean er er &							
110	A: Obviously must be	end	h	acknowl	F			
111	cos it's now converted +	com		post-h				
112	B: & but I can't figure							
113	out what it could be							
114	A: + into something heavy							
115	B: Why i-it's not floating	m.pr	h	eliciting	I	Elicit	32	
116	at all							
117	A: No (mid key) (#)	conc	h	informing	R			
118	It's lying on the floor	com		post-h				
119	like any old balloon							
120	B: It's a bit <i>strange</i> you know	obs	h	informing	I	Inform	33	
121	A: Yeah interesting (#)	ref	h	acknowl	R			
122	Anyway look	fr		pre-h informing	I	Inform	34 ⁹ 4	
123	I have to be off OK (#)	i	h					
124	Did you enjoy last night	n.pr	h	eliciting	I	Elicit	35	5
125	(high key)							
126	B: Er well	m	s	informmg	R			
127	it was pretty good exercise	qu	h					

Advances in spoken discourse analysis

127	A:	(la) What do you mean good exercise it	ret	h	eliciting	I ^b	Clarify	36
128	B:	(la) I mean walking round looking for the fair was exercise	i	h	informing	R		
131	A:	Yeah my <i>feet</i> hurt	end	h	acknowl	F		
132	B:	Looking for the what?	ret	h	eliciting	I ^b	Clarify	37
133	B:	Looking for the fair	i	h	informing	R		
134	A:	Mm	(eng)					
135	B:	the trade fair or whatever it was						
136	A:	Mm	(eng)					
137	A:	Mm	(eng)					
138	B:	autumn something fair						
139	A:	Yeah (mid key)	rec	h	acknowl	F		
140	A:	We we don't walk enough my feet really hurt (2)	obs	h	informing	I	Inform	38
141	B:	Mm (low key)	ter	h	acknowl	R		
142	B:	Mm (low key)	ter	h	acknowl	R		
143	A:	Yeah bit of a let-down	obs	h	informing	I	Inform	39
144	A:	Mm (mid key)	rec	h	acknowl	R		
145	A:	Still Ben had a nice time	obs	h	informing	I	Inform (incomplete)	40
146	B:	Especially when the Chinese opera turned out to be (#) er a group of Chinese madrigal singers or something	obs	h	informing	I	Inform	41
147	B:	Especially when the Chinese opera turned out to be (#) er a group of Chinese madrigal singers or something	obs	h	informing	I	Inform	41
148	B:	Especially when the Chinese opera turned out to be (#) er a group of Chinese madrigal singers or something	obs	h	informing	I	Inform	41
149	B:	Especially when the Chinese opera turned out to be (#) er a group of Chinese madrigal singers or something	obs	h	informing	I	Inform	41
150	A:	If it was	ref	h	acknowl	R		
151	B:	(la) Wh-whatever	end	h	acknowl	F		
152	A:	OK	fr	pre-h	opening	I	Structuring	42 6
153	A:	Danny I must go	ms	h	opening	I	Structuring	42 6
154	B:	∅	(acq)	h	(answering)	R		
155	A:	Look	m	s	eliciting	I	Elicit	43
156	A:	I'll - can I talk to you later on this morning	m.pr	h				
157	A:	I'll - can I talk to you later on this morning	m.pr	h				
158	B:	Yeah OK (mid key)	conc	h	informing	R		
159	B:	sure (low key)	conc	post-h				
160	A:	Is that OK	ret	h	eliciting	I ^b	Clarify	44
161	A:	Hah?	p	h	eliciting	I ^b	Re-initiate	45
162	B:	Sorry what was that	L	h	eliciting	I ^b	Repeat	46
163	A:	Can I -	m.pr	h	eliciting	R/I		
164	A:	I'll talk to you when I get there	m.pr	h	eliciting	R/I		
165	A:	I'll talk to you when I get there	m.pr	h	eliciting	R/I		
166	B:	Yeah (mid key)	conc	h	informing	R		
167	A:	I must go now	ms	h	opening	I	Structuring	47 7
168	B:	OK	acq	h	answering	R		
169	A:	Bye-bye	gr	h	opening	I	Greet (incomplete)	48
170	B:	Well have a nice day	gr	h	opening	I	Greet	49
171	A:	Thank you	re-gr	h	answering	R		
172	A:	Bye-bye	gr	h	opening	I	Greet	50
173	B:	Bye	re-gr	h	answering	R		

Приложение 3. Исследования структуры нарративного дискурса

Фабула vs. сюжет

Повествование, или нарратив, является одним из так называемых функционально-смысловых типов речи; помимо него, принято выделять еще такие типы, как описание и рассуждение (ср. [Нечаева 1974]). В повествовании речь идет о некоторой последовательности событий — в отличие от описания, предполагающего приписывание признаков некоторому объекту, его характеристику в различных аспектах, и рассуждения, где обязательным компонентом является высказывание мнений и приведение аргументов за и против.

Истоки изучения структуры повествования принято связывать с отечественной формальной школой литературоведения ОПОЯЗ («Общество изучения поэтического языка») ²², в которую в разные годы входили такие крупные отечественные филологи, как Б. М. Эйхенбаум, В. Б. Шкловский, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский.

Важной заслугой русских формалистов, стремившихся к структурному («морфологическому») анализу художественного повествования, является разграничение ключевых для современного литературоведения понятий сюжета и фабулы. Вот как определяет их Б. В. Томашевский:

Фабулой называется совокупность событий, связанных между собой, о которых сообщается в произведении. Фабуле противостоит сюжет, те же события, но в их изложении, в том порядке, в каком они сообщены в произведении, в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них <...>. Фабула — это то, «что было на самом деле», сюжет — то, «как узнал об этом читатель» [Томашевский 1925: 137].

Согласно формулировке У. Эко [2002: 90–92], фабулой называют имплицитную (скрытую) хронологическую последователь-

²² Подробнее см. [Эрлих 1996].

ность событий, а сюжетом — эксплицированную последовательность фабульных событий.

Таким образом, фабула — это своеобразное «сырье», из которого строится «здание» сюжета. Стандартные расхождения между фабулой и сюжетом заключаются в отклонениях от хронологической последовательности (проспекции, ретроспекции), а также отступлениях, не относящихся к основной повествовательной линии (например, лирических, ср. фрагмент *О ножки, ножки! где вы ныне?..* в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»).

В теории прозы, создававшейся усилиями членов ОПОЯЗ, главная роль отводилась сюжету. Формалисты неизменно подчеркивали, что эстетическая ценность романа или рассказа не заложена в теме самой по себе, в отрыве от ее художественного воплощения — гораздо важнее организация материала, композиция произведения. Внимание исследователей было сосредоточено на анализе и описании повествовательных схем.

Для некоторых литературных жанров несовпадение сюжета с фабулой является их принципиальной особенностью — таковы, к примеру, детективные произведения. Поскольку в основе детектива всегда лежит тайна, связанная с преступлением, сюжет неизбежно выстраивается так, чтобы как можно дольше ее сохранять, подогревая интерес читателя. Разгадка дается только в самом конце (хотя многим персонажам произведения она известна на протяжении всего действия). На эту характерную особенность детектива обратил внимание еще В. Б. Шкловский, которого можно считать первопроходцем в структурном анализе детективного сюжета. Именно он сформулировал общую схему рассказов о Шерлоке Холмсе [Шкловский 1929]. Исследования в данном направлении были продолжены, ср. попытки моделирования повествовательной схемы детективных новелл и рассказов в [Щеглов 1996; Скребцова 2012].

Актанты и функции

В. Я. Пропп не принадлежал к так называемой формальной школе, однако его книга «Морфология волшебной сказки» (1928) остается самым известным отечественным опытом применения идей структурализма к описанию литературного жанра (см. также

Приложение 2 к главе 3). Произведение намного опередило свое время: когда три десятилетия спустя его стали переводить на иностранные языки, оно оказалось удивительно созвучно зарубежным структуралистским исследованиям того периода, в частности книге К. Леви-Стросса «Структурная антропология» (1958, русск. пер. 1983). Исследования Проппа сыграли огромную роль в становлении французской школы нарративного анализа, усилиями которой сложилась нарратология — наука об универсальных объективных законах, по которым строится сюжет повествовательного произведения.

Суть новаторства Проппа заключается в обнаружении того факта, что все сюжетное многообразие русских сказок сводится к ограниченному числу характерных поступков («функций») нескольких типовых персонажей («действующих лиц»). Действующих лиц семь: герой, ложный герой, вредитель, даритель, помощник, искомый персонаж, отправитель. Их поступки при всем своем внешнем разнообразии могут быть сгруппированы в конечное число групп в зависимости от той функции, которую они выполняют. Таким образом, функция выступает в роли инварианта по отношению к конкретному действию-варианту. Автор приводит фрагменты русских сказок, наглядно показывающие внешнюю вариативность при сохранении типовых персонажей и функций, ср.:

1. *Царь дает удальцу орла. Орел уносит удальца в иное царство;*
2. *Дед дает Сученке коня. Конь уносит Сученку в иное царство;*
3. *Колдун дает Ивану лодочку. Лодочка уносит Ивана в иное царство;*
4. *Царевна дает Ивану кольцо. Молодцы из кольца уносят Ивана в иное царство.*

Пропп утверждал, что порядок следования функций остается неизменным от сказки к сказке, хотя в каждом конкретном произведении какие-то из них могут быть пропущены. Он выделил 31 функцию, среди которых отлучка, запрет, нарушение, выведывание, подвох, пособничество, вредительство, посредничество, получение волшебного средства, пространственное перемещение, борьба, победа, преследование, спасение и др. Содержание любой

сказки, по мысли автора, может быть без остатка представлено в виде некоторой последовательности функций, следующих друг за другом в фиксированном и неслучайном порядке.

В основе исследования Проппа лежит мысль о существовании двух уровней текста — явного, собственно повествовательного, где персонажи могут иметь разные имена и воплощения, и неявного, глубинного, на котором внешнее многообразие существенно сокращается, сводясь к конечному набору типов действующих лиц и их поступков. На явном уровне текста мы имеем дело с величинами переменными, а на глубинном — с постоянными.

Заложенные Проппом идеи спустя несколько десятилетий нашли свое продолжение в исследованиях по нарратологии, направленных на анализ внутренних закономерностей развертывания, присущих любому повествованию как таковому (подробный обзор достижений в области изучения структуры повествования см. [Цымбурский 2014]). Другой источник зарубежной нарратологии — генеративная грамматика Н. Хомского, предложившая модель описания естественного языка в терминах глубинных и поверхностных структур. В становлении французской школы нарративного анализа большую роль также сыграли структурно-синтаксические исследования Л. Теньера.

Если Пропп шел к выделению действующих лиц и функций индуктивным путем (от материала, т. е. от конкретных сказок), то французские авторы изначально руководствовались мыслью о том, что любой повествовательный текст построен по модели предложения, а значит, на него можно наложить привычную синтаксическую рамку, основу которой составляют такие понятия, как субъект, предикат, объект. Так, А. Греймас выделял шесть «актантов»²³ — субъект, объект, адресат, адресант, помощник, противник — и 20 функций. В его работах получило развитие и другое фундаментальное положение Проппа, связанное со взглядом на текст как на многоуровневое иерархическое образование. Однако иерархия уровней у Греймаса недостаточно ясна [Ильин 2001].

²³ Термин заимствован из концепции Л. Теньера и по содержанию близок к «действующему лицу» у В. Я. Проппа.

Принимая введенное Проппом разграничение между внешним (материальным) и инвариантным, автор попытался пойти дальше, выделяя еще более глубинные уровни и подуровни, охватывающие уже не синтагматику текста (закономерности его линейного развертывания), а его парадигматику (систему функционирования глубинного смысла). Греймас стремился построить «фундаментальную грамматику», определяющую универсальные текстопорождающие законы для нарративных произведений. В целом, однако, модель не была проработана достаточно четко, что давало повод к различным интерпретациям и критике [Косиков 1984; Ильин 2001].

Полемизируя и с Проппом, и с Греймасом, другой представитель французской школы, К. Бремон, отказался от понятия функции, заменив ее более крупной единицей — «элементарной нарративной последовательностью». Каждая последовательность включает в себя три компонента: 1) начальную ситуацию (например, «вредительство»), открывающую возможность для действия; 2) осуществление или неосуществление этого действия; 3) в случае осуществления действия — его успешность или нет. Любой результат третьего компонента (успех или неуспех) создает исходную ситуацию для новых действий, т. е. начинает новую «элементарную последовательность», являясь ее первым компонентом. Важная особенность концепции Бремона состоит в том, что каждый сюжетный узел не детерминирует жестко следующий, а лишь определяет альтернативную пару, из которой по принципу «или — или» реализуется какой-то один вариант. Разнообразие функций фактически сведено к двум — «улучшению» и «ухудшению», — которые явно носят релятивный характер: то, что для одного персонажа является улучшением, для другого может оказаться ухудшением. Более сложные структуры образуются взаимодействием «элементарных последовательностей» — их конкатенацией, гнездованием и пр. Так строится событийный каркас повествования [Бремон 1972].

Критики модели неоднократно подчеркивали ее голый схематизм, сосредоточенность на логике человеческого поведения, а не сюжете литературного произведения. «Элементарным последовательностям» действительно присуща высокая степень универсальности, которая позволяет описывать самые разные

трансформации — не только приключения персонажей в художественной литературе, но и физические процессы в природе. Однако у этой универсальности есть оборотная сторона, связанная с крайней абстрактностью и бедностью для изучения литературных произведений [Косиков 1984].

Структура бытовых рассказов

Наиболее известные попытки обнаружить структуру в устном бытовом дискурсе связаны с именем известного американского социолингвиста У. Лабова. В качестве материала исследования он использовал устные рассказы (житейские истории) испытуемых о собственном опыте переживания ситуации, обозначенной в вопросе интервьюера²⁴. Испытуемые были разного возраста и этнического происхождения; общим был только невысокий уровень образования. Рассказы записывались на магнитофон, а затем расшифровывались и анализировались с точки зрения особенностей построения.

Компоненты повествования выделялись на основании их содержания и роли в общей структуре повествования, а также грамматических особенностей. Сначала был сформирован перечень из пяти компонентов [Labov, Waletzky 1967], позднее Лабов расширил его до шести, добавив «краткое содержание» [Labov 1972]²⁵. Полный список выглядит следующим образом:

- 1) краткое содержание (*abstract*) — вступление (как правило, вводная фраза), касающееся содержания будущего рассказа. Этот элемент выполняет функцию, схожую с функцией заголовка в письменном тексте: отвечает на вопрос «о чем это?»;
- 2) обстановка (*orientation*) — фрагмент текста, характеризующий время, место, участников тех событий, о которых

²⁴ Среди предлагавшихся вопросов, к примеру, был такой: «Подвергались ли Вы когда-нибудь смертельной опасности?»

²⁵ Почти столетия спустя Лабов вновь вернулся к теме структурной организации нарратива, внося изменения в прежнее описание и существенно расширив его [Labov 2013].

- пойдет речь. Отвечает на вопросы «кто?», «что?», «когда?», «где?»;
- 3) осложнение (*complicating action*) — основная часть нарратива, повествующая об интересном, необычном событии, которое нарушило привычное течение жизни рассказчика. Отвечает на вопрос «что случилось?»;
 - 4) оценка (*evaluation*) — компонент, выражающий личное отношение рассказчика к повествуемым событиям. Отвечая на вопрос «ну и что?», данный компонент ориентирует слушателя в плане того, как следует воспринимать сказанное. Оценка может встречаться неоднократно в разных местах нарратива;
 - 5) развязка (*resolution*) — разрешение конфликта или проблемы (восстановление старого или установление нового положения вещей). Отвечает на вопрос «чем дело кончилось?»;
 - 6) кода (*coda*) — предложение, возвращающее слушателей из прошлого времени, к которому относится мир рассказа, в текущий момент, ср.: *Вот так; Ну вот и все; Такие дела*. Кода сигнализирует восстановление обычного порядка мены реплик.

Полноценный нарратив, по мысли Лабова, включает все эти шесть компонентов, причем некоторые из них могут встречаться более одного раза (например, оценка²⁶). Однако это утверждение небесспорно. К примеру, в повседневном дискурсе можно обнаружить рассказы без осложнения (и, следовательно, развязки), рождающиеся, например, в ответ на вопрос о том, как прошел день (так называемые *habitual narratives*). Отсутствие этих важнейших компонентов заставляет либо усомниться в универсальности схемы Лабова, либо исключить такие рассказы из категории нарративов. В последнем случае резонно встает вопрос о их статусе.

²⁶ В концепции Лабова обращает на себя внимание трактовка оценки не только в функциональном, но и структурном (материальном) аспекте — как конкретного языкового выражения (фразы) [Schiffirin 1994: 285].

В художественной литературе истории без осложнения и развязки обращают на себя внимание своей необычностью, ср. рассказ Д. Хармса «Встреча», где за завязкой сразу следует кода:

Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе восвояси.

Вот, собственно, и все.

Ощущение комической абсурдности по прочтении этого рассказа свидетельствует о том, что принципы построения нарратива действительно существуют. Другой вопрос, может ли схема Лабова, выработанная на материале коротких устных рассказов, быть распространена на описание любого нарративного дискурса. Сомнения литературоведов вызывает то обстоятельство, что данная модель родилась в недрах социолингвистики и является слишком узкой для интерпретации художественного повествования, хотя бы потому, что исключает возможность нарушения хронологического порядка в изложении событий²⁷.

Интересный случай представляют собой рассмотренные Т. А. ван Дейком [1989: 190–227] рассказы об этнических меньшинствах, собранные автором в Нидерландах. Оказалось, что примерно в половине этих историй отсутствует развязка (при наличии всех прочих компонентов модели Лабова). Фактически они представляют собой рассказ-жалобу или рассказ-обвинение в адрес представителей этнически инородной группы, которые, по мнению информанта, угрожают его благополучию, а полиция не принимает должных мер для устранения проблемы. Отсутствие развязки, по мнению ван Дейка, оказывается характерным структурным признаком данного жанра бытового дискурса.

Существенная редукция схемы Лабова наблюдается в анонсах художественных фильмов, которые, как правило, состоят всего из двух-трех предложений и содержат только завязку и, в ряде случаев, ориентацию (особенно если речь идет об исторической или

²⁷ Обзор зарубежных работ по структуре литературного нарратива см. в [Cortazzi 2002: 84–98].

научно-фантастической картине). Нарратив намеренно обрывается, чтобы заинтересовать читателя и побудить его посмотреть фильм.

Примечательна также структурная схема анекдота с характерным длинным зачином и короткой и неожиданной концовкой, нередко заставляющей слушателя переосмыслить начало анекдота. В несоответствии начала и конца анекдота — его соль. Слушатель проходит две стадии: понимание несоответствия и нахождение скрытого смысла, т. е. новая интерпретация текста. Впрочем, вторая стадия не является обязательной для всех анекдотов, так как несоответствие само по себе смешно [Шмелёва, Шмелёв 2002: 131] (подробнее о жанре анекдота см. Приложение 2 к главе 3).

Наличие нарративных речевых жанров с нетипичной композицией поднимает вопрос об отличительных признаках нарратива как типа дискурса. Единого мнения здесь нет: разные авторы в числе таких критериев называют тематическую общность, единство персонажей, временную последовательность, наличие причинно-следственных связей между событиями.

Французский исследователь Ц. Тодоров так характеризует внутреннее строение нарратива:

Минимальная законченная фабула состоит в переходе от одного состояния равновесия к другому. Идеальный рассказ начинается с некоторого устойчивого положения, которое затем нарушается действием какой-то силы. Возникает состояние неравновесия; благодаря действию некоторой противоположной силы равновесие восстанавливается; новое равновесие подобно исходному, но они никогда не тождественны [Тодоров 1978: 453].

В целом с этим схематичным описанием согласны многие авторы (ср., напр., [Prince 1973; De Beaugrande 1980]).

ГЛАВА 3

СЕМАНТИКА ДИСКУРСА

Различные подходы к интерпретации семантики дискурса

Семантика дискурса — это его смысловая, содержательная сторона. Изучать внутреннее содержание объекта всегда гораздо сложнее, чем его внешнюю манифестацию (форму). Материальное выражение наглядно, доступно, и потому его анализ может претендовать на объективность; рассуждать об идеальном содержании — значит подвергаться упрекам в необоснованности и субъективизме. Это верно в отношении языковых единиц различных уровней, и это же справедливо применительно к дискурсу.

Самая глубинная причина расхождений в понимании того, что составляет семантику дискурса, кроется в осознанной или неосознанной приверженности исследователя некоторому представлению о сущности коммуникации. Эти представления в литературе группируются в так называемые модели коммуникации. В лингвистике, как правило, говорят о трех моделях: информационно-кодовой, инференционной и интеракционной [Schiffrin 1994: 386–405; Макаров 2003: 33–40].

Информационно-кодовая модель коммуникации, разработанная в конце 1940-х гг. американскими математиками К. Шенноном и У. Уивером для нужд телекоммуникации, делает акцент на передаче сообщения от отправителя к получателю по некоторому каналу связи. Сообщение преобразуется в сигналы кода, затем транслируется, а при поступлении к получателю декодируется.

Успех передачи сообщения определяется эффективностью работы кодирующего и декодирующего устройств, а также отсутствием помех в канале связи.

Применение данной модели к описанию речевой коммуникации связано с именем известного лингвиста Р. Якобсона; он же ввел в оборот слово *код* (англ. *code*) применительно к языку и глаголы *кодировать* (англ. *encode*) и *декодировать* (англ. *decode*) для обозначения деятельности соответственно говорящего и слушающего в процессе коммуникации [Якобсон 1975]. Модель предполагает, что оба участника обладают языковыми (де)кодирующими устройствами и «процессорами», перерабатывающими и хранящими информацию. Кодовая модель симметрична: отправитель кодирует свою мысль в слова, а получатель декодирует слова обратно в мысль. Принципиальным моментом является то, что исходная мысль в процессе преобразований не подвергается ни малейшей трансформации: что было закодировано, ровно то и получено в результате декодирования. Нетрудно догадаться, что такое представление о человеческом общении весьма далеко от реальности. Тем не менее кодовая модель «прочно закреплена в западной культуре» [Sperber, Wilson 1986: 6], свидетельством чему могут служить прижившиеся в англоязычной лингвистической литературе термины *encode* и *decode*, употребляемые даже теми авторами, которые не разделяют теоретические предпосылки данной модели.

Информационно-кодовая модель сосредоточена на передаче сообщения, и центральная роль в ней отводится отправителю (говорящему). Сообщение понимается узко — как воплощение мысли посредством языкового кода, — что не дает возможности учитывать невербальные сигналы, скрытые смыслы, коммуникативное намерение говорящего. Роль слушающего сводится к зеркальному отражению деятельности говорящего²⁸. Контекст сообщения никак не учитывается. Семантика дискурса в рамках

²⁸ Заметим, что декодирование акустического сигнала в языковой образ не равносильно пониманию: полученное высказывание требуется еще интерпретировать, но в модели этот момент не нашел отражения.

информационно-кодовой модели ограничивается значением языковых единиц, из которых он состоит. Даже это, впрочем, оставляет много вопросов, связанных с лексической и синтаксической неоднозначностью, коннотациями, проблемой композициональности, эллиптичностью многих высказываний (в особенности в устной речи), их контекстной обусловленностью и пр.²⁹

Пришедшая на смену **инференционная модель коммуникации** напрямую связана с исследованиями Г. П. Грайса и становлением лингвистической прагматики (см. главу 4). В этой модели сохраняется акцент на говорящем, но роль его меняется: задача говорящего состоит уже не в передаче мысли, а в выражении коммуникативного намерения. Адресат пытается распознать последнее, опираясь как на свое знание языка, так и на некий набор рациональных принципов коммуникативного поведения. Эти принципы (из которых наиболее известны постулаты речевого общения, объединенные Грайсом в знаменитый Принцип Кооперации) представляют собой не жесткие правила, а культурно-специфичные нормы, ожидания относительно поведения собеседника.

Важным следствием такого подхода является то, что характерная для кодовой модели симметрия нарушается: слушающий может неправильно понять коммуникативное намерение говорящего, вывести больше или меньше информации из того, что тот задумал передать, а то и вовсе неверно интерпретировать сказанное. Тем самым семантика дискурса перестает быть чем-то стабильным и одинаковым для говорящего и слушающего. Интерпретация дискурса требует, чтобы слушающий не только знал значение соответствующих языковых единиц, но и понимал коммуникативное намерение говорящего, иными словами, умел определять тип речевого акта.

²⁹ Ср.: «Фактически подмена термина “язык” термином “код” совсем не так безопасна, как кажется. Термин “код” несет представление о структуре, только что созданной, искусственной и введенной мгновенной договоренностью. Код не подразумевает истории, т. е. психологически он ориентирует нас на искусственный язык, который и предполагается идеальной моделью языка вообще» [Лотман 1992: 13].

Возьмем, к примеру, высказывание *Я приду завтра*. Пользуясь кодовой моделью, его содержание можно охарактеризовать как сообщение о том, что говорящий собирается прийти на следующий день³⁰. В рамках инференционной модели языковое значение этого утверждения дополняется коммуникативным намерением, которое определяется в терминах речевых актов, а именно: как информация, обещание, предупреждение или угроза, исходящие от говорящего и касающиеся его планируемого поступка. Многие речевые акты вне контекста употребления неоднозначны: определение интенции говорящего осуществляется слушающим. При этом интерпретация не всегда совпадает с замыслом говорящего. В связи с этим высказывания (речевые акты) в прагматике принято оценивать с точки зрения их успешности (а не истинности, как это практикуется в логической семантике). Речевой акт успешен, если адресат правильно распознал коммуникативное намерение говорящего.

Интеракционная модель коммуникации, в которой, как следует из названия, делается акцент на взаимодействии, сформировалась под влиянием исследований в культурной антропологии и социологии. Главную роль в речевом общении она отдает не языковым структурам, а социальной практике. Суть коммуникации заключается не в передаче информации или проявлении намерения, а в демонстрации смыслов, причем необязательно осознанной и умышленной.

Отправной точкой служит мысль о том, что человек не может не вести себя тем или иным способом, даже оставаясь наедине с самим собой. Тем самым он, зачастую того не ведая, передает информацию окружающим людям. Практически любая форма поведения — действие, бездействие, речь, молчание, внезапное покраснение лица, тот или иной взгляд, мимическое движение и т. п. — интерпретируется окружающими и обретает ситуативный смысл. Человек всегда демонстрирует какие-то смыслы, хочет он того или нет, — тем, как держится, как говорит (тембр, громкость,

³⁰ Интерпретация дейктического элемента *завтра*, предполагающая учет внешнего контекста, здесь намеренно оставлена в стороне.

интонация и т. д.), какие жесты делает, на каком расстоянии от собеседника стоит и т. д. Так, если человек в поезде или самолете достает книгу (газету, планшет, мобильный телефон и пр.) и в нее погружается, он тем самым молча передает информацию о том, что не хочет общаться с соседями, и те обычно понимают и соблюдают его негласное пожелание.

Высказывание коммуниканта в интеракционной модели рассматривается как ответ не только на информацию, содержащуюся в предыдущей реплике, но и на поведение собеседника, а также на ситуацию, в которой то высказывание было произведено и/или которую оно создало. Цель коммуникации состоит в восприятии слушающим переданной (намеренно или нет) информации. Соответственно, «центр тяжести» в данной модели переносится с говорящего на слушающего, а главное место отводится понятию ситуативного смысла.

Интерпретация смысла в разговоре происходит в процессе постоянных «переговоров» («настроек», «притирок» — англ. *negotiations*), направленных на достижение динамичного взаимопонимания, которое коммуниканты стремятся поддерживать и воспроизводить. При этом смыслы, отобранные говорящим и сформулированные им с соответствующей интенцией, могут не совпасть со смыслами, которые из данного высказывания выведет слушающий. Поэтому данная модель в принципе асимметрична.

Нетрудно видеть, что в ней, по сравнению с двумя предыдущими, существенную роль играет контекст, который включает социально-культурную составляющую, фоновые знания коммуникантов, их психологическое состояние и т. д. Семантика дискурса в этой модели охватывает самые разнообразные аспекты ситуации, чреватые порождением различных смыслов, и достигает идеала так называемой широкой концепции [Кобозева 2004: 13–16]. Разнородность смыслов и их источников, правда, затрудняет описание, а высокая субъективность интерпретации вызывает во многом справедливую критику оппонентов.

Охватывая мысленным взором все три модели, можно видеть, как понятие семантики дискурса последовательно расширялось: от кодовой модели, ограничивающейся собственно языковым

содержанием, к инференционной модели, включающей единичный аспект внешней ситуации — коммуникативное намерение говорящего, и, наконец, к интеракционной модели, максимально охватывающей разнообразные виды контекста. Примечательно, что границы языкознания на протяжении XX в. также раздвигались: от описания языка «в самом себе и для себя» (Соссюр) к языковой способности человека (*I-language* у Хомского) и далее к языку как одной из когнитивных систем человека. Это расширение коррелирует со сменой научных парадигм: от структурализма к генеративизму и затем к когнитивизму [Кубрякова 1995: 193–194].

Объективность vs. субъективность содержания дискурса

В современных дискурсивных исследованиях информационно-кодовая модель коммуникации практически не представлена, так как понятие дискурса по определению предполагает учет внешней ситуации (контекста). При анализе содержания дискурса неизбежно привлекается не только лингвистическая, но и экстралингвистическая информация. В частности, учитываются фигуры говорящего и слушающего с присущими им знаниями, намерениями, установками, эмоциями и пр. В связи с этим возникает закономерный вопрос: можно ли делать объективные заключения относительно семантики дискурса? Можно ли уверенно и однозначно утверждать, будто то или иное высказывание несет определенный смысл? Ведь любому человеку — будь то участник коммуникации, сторонний наблюдатель или исследователь дискурса — доступна лишь материя текста / речи, но не мысли и чувства собеседников.

По-видимому, общего ответа здесь нет — все зависит от типа дискурса. С одной стороны, все мы время от времени сталкиваемся с сугубо информационными сообщениями типа *Поезд № 7 прибывает в 17:23 на платформу 6. Нумерация вагонов начинается с головы состава*, где содержание выражено максимально эксплицитно и однозначно, специально для того, чтобы избежать произвольных трактовок и обеспечить единообразное понимание

у всех адресатов. Заметим, что значение подобных сообщений может быть вполне успешно выявлено в рамках кодовой модели коммуникации, без учета внеязыковых факторов.

С другой стороны, такие случаи крайне редки. Как правило, содержание дискурса невозможно понять без привлечения контекстуальной информации. Нередко существенную роль играют имплицитные смыслы (подтекст), что может породить расхождение в интерпретации сказанного. Подтекст может как дополнять собственно текст, так и заменять его [Долинин 1985: 5–7]. Особенно важен подтекст в художественной литературе, и способность или неспособность ощутить его присутствие и правильно «расшифровать» определяет то, как читатель характеризует содержание текста. Ярким подтверждением может служить эксперимент, проведенный М. Стаббзом на материале рассказа Э. Хемингуэя «Кошка под дождем» [Stubbs 1983: 195–198].

Кажется разумным занять серединную позицию³¹, признавая, что в отдельных случаях семантику дискурса можно рассматривать объективно, не принимая во внимание различные составляющие контекста — ситуационные, социологические, ментальные и пр. (о типах контекста см. ниже). Такие примеры вполне могут быть описаны в рамках информационно-кодовой модели коммуникации, где сообщение выделяется в качестве самодостаточного компонента (в двух других это не так). В то же время большая часть коммуникации все же включает добавочные смыслы, а значит, нарушается симметрия процесса и, следовательно, содержание такого дискурса невозможно характеризовать объективно и однозначно.

Развенчивая «миф объективизма», видный представитель когнитивной лингвистики Дж. Лакофф подчеркивает, что значение связано с пониманием, а понимание обуславливается разнообразными когнитивными факторами (прибавим, что и ситуативными тоже). Исследователь утверждает, что значение не существует отдельно от человека: значение — это то, что значимо для нас.

³¹ Наше обсуждение этой темы перекликается с размышлениями О. Иссерс [2003: 102–104] о понятии речевой стратегии. В обоих случаях ключевая роль приписывается интерпретации.

Человек является частью мира, и ему не дано смотреть на него извне, «с позиции всеведущего Бога». Поэтому ничто само по себе не обладает значением [Lakoff 1987: 157 ff.].

Признавая известную субъективность содержания дискурса, кажется резонным разграничивать три ракурса рассмотрения семантики, а именно: со стороны говорящего (с точки зрения порождения дискурса), слушающего (в аспекте понимания дискурса) и внешнего наблюдателя (в том числе исследователя). Именно так строится дальнейшее изложение.

Три ракурса рассмотрения семантики дискурса

Семантические аспекты порождения дискурса

Фундаментальное различие в роли говорящего и слушающего в процессе коммуникации издавна обращало на себя внимание лингвистов, ср.: «...языковой процесс не один и тот же у говорящего и слушающего: у говорящего речь есть функция мысли <...>; у слушающего же, наоборот, мысль есть функция речи <...>; в процессе речи у говорящего мысль как бы ведет за собой слова, у слушающего же, наоборот, под влиянием слов складываются мысли» [Богородицкий 1964: 296]. При этом оба аспекта языка — порождение и восприятие речи — «имеют равное право на внимание лингвистов» [Якобсон 1965: 401].

В наши дни процессы порождения и понимания дискурса активно исследуются в психолингвистике и когнитивной науке. Характеризуя асимметрию в положении говорящего и слушающего, Л. Талми пишет, что первый неизбежно схематизирует (обедняет) описываемую ситуацию, а перед вторым стоит обратная задача — по довольно скудной информации, заключенной в словах, постараться мысленно воссоздать ее в своем воображении, при этом опираясь не только на содержание, извлекаемое из грамматических и лексических единиц, но и на собственные знания о мире и понимание текущей речевой ситуации [Talmy 1983: 280].

Говорящий обладает определенной свободой в использовании языковых средств для выражения мысли; параметры этой свободы описываются Р. Лангакером посредством так называемых аспектов

образности (*dimensions of imagery*), включающих, к примеру, уровень конкретности, фоновые допущения и ожидания, наложение профиля на базу, членимость и пр. [Langacker 1988]. У слушающего «на входе» — высказывание, которое, помимо слов (доступной наблюдению «верхушки айсберга»), содержит огромные массивы имплицитной информации. Языковые выражения служат в качестве своеобразных инструкций, в соответствии с которыми слушающий осуществляет мысленное конструирование смысла [Fauconnier 1994: xviii, xxii].

Роль говорящего в процессе коммуникации связана с вербализацией имеющихся у него представлений о мире, эмоций, намерений, оценок и пр. Она предполагает выбор языковых средств (на всех уровнях — от фонологии до синтаксиса) из арсенала, предоставляемого соответствующим языком. Важно подчеркнуть, что говорящий не только имеет возможность выбирать различные варианты выражения некоторого содержания, но и вынужден это делать. Выбор может быть осознанным и осторожным (скажем, в дипломатических или деловых переговорах) или нет (в пустой болтовне), но он значим, ибо определяет ход дальнейшей коммуникации. Крайнюю позицию по этому вопросу в 1960-е гг. занимали представители французской школы анализа дискурса, утверждавшие, что «высказываемое» никогда не бывает «невинным» и какая-нибудь фраза литературного характера типа *Маркиза вышла в пять часов* не менее идеологична, чем лозунг *Франция — французам* [Серियो 1999: 21].

Не станем останавливаться на том, как в языке проявляется идеология: это составляет предмет особого направления в зарубежной гуманитарной науке — критического анализа дискурса (из русских переводов см., напр., [Водак 2011; Дейк 2013]). Оставим в стороне также проблему речевого воздействия и манипулирования как более частную по отношению к нашему ракурсу рассмотрения (см. [Доценко 2000; Кара-Мурза 2003; Копнина 2010; Иссерс 2013; Скребцова 2016]). Обратимся к более общим вопросам, связанным с так называемой вариативной интерпретацией действительности [Баранов, Паршин 1986]. Само это выражение заключает в себе мысль о том, что дискурс не только отражает

действительность, но и интерпретирует ее тем или иным образом, причем в распоряжении говорящего есть широкий спектр языковых средств.

Хотя фонетические и просодические особенности речи (а также невербальные компоненты коммуникации — фонация, кинесика и проксемика) могут варьироваться и в отдельных случаях существенно влиять на ход коммуникации (ср. акцент, интонация, высота тона и пр.), с точки зрения семантики дискурса основную нагрузку несут на себе лексические и синтаксические средства языка.

Выбор лексических единиц отражает прежде всего то, как говорящий категоризирует действительность. Разные слова подчеркивают, или «высвечивают», одни аспекты ситуации, а другие оставляют в тени. Например, произошедшее убийство можно назвать *трагедией* или *преступлением* [Баранов, Паршин 1986: 120], и выбор слова здесь чрезвычайно важен, так как он предопределяет не только продолжение дискурса, но и дальнейшее течение событий. Квалификация инцидента как трагедии помещает его в один ряд с произвольными и непредсказуемыми несчастными случаями, а употребление слова *преступление* влечет за собой постановку вопроса о виновных, которые должны понести наказание.

Проблема лексического выбора особенно остро ощущается в политическом дискурсе (и шире — в любом публичном дискурсе на общественно значимые темы), где сильна аргументативная составляющая, факты тесно переплетены с оценками, высока доля стилистически маркированной лексики. Стремясь воздействовать на адресата, говорящий использует широкий диапазон средств речевого воздействия и манипуляции (подробнее см. [Иссерс 2013: 87–138]).

Непосредственное отношение к данному аспекту имеет движение за политкорректный язык, активно представленное в ряде западных стран. Оно отражает стремление определенных общественных сил обеспечить «правильный» выбор лексических единиц и грамматических форм — такой, который позволит избежать дискриминации членов общества по тому или иному признаку.

Здесь же следует упомянуть и такой феномен, как эвфемизмы, которые позволяют говорящему скрыть нежелательные, «невыгодные»

аспекты ситуации, как правило, за счет использования более общего, родового понятия, ср. *либерализация цен* (вместо *рост цен*), *борьба США с терроризмом* (вместо *война США в Ираке*), *неполная занятость* (вместо *безработица*), *массовые беспорядки* (вместо *вооруженные столкновения*), *оптимизация ставок* (вместо *сокращение штата сотрудников*) и пр. Традиционно к эвфемизмам любят прибегать политики, однако в условиях рыночной экономики они распространены весьма широко: ср., например, такие наименования трудовых вакансий, как *мастер по чистоте* (вместо *уборщица*), *оператор торгового зала* (вместо *грузчик*) и т. д. Сюда же, по-видимому, следует отнести намеренное завышение статуса некоторых должностей, выражающееся в безудержном размножении директоров, ср. *генеральный, исполнительный, финансовый, коммерческий, креативный директор, арт-директор, директор по торговле, маркетингу* и т. п. [Скребцова 2008].

Синтаксические средства языка обеспечивают возможность акцентирования тех или иных аспектов ситуации путем распределения информации между главным и придаточным предложениями, личными и неличными формами глагола, ассертивным и пресуппозиционным компонентами высказывания, а также при помощи выстраивания порядка однородных членов, использования активных или пассивных конструкций, номинализаций и пр.

Задача говорящего не ограничивается подбором подходящих языковых средств, но включает также выбор типа речевого акта, распределение информации между сообщаемым и подразумеваемым (явные и скрытые смыслы), а также более глобальное планирование, связанное с выбором коммуникативной стратегии и тактики, соблюдением принципов речевого общения. Это уже сфера не столько семантики, сколько прагматики дискурса.

В диалогической речи говорящий в дополнение ко всему перечисленному должен координировать свою реплику с предшествующими репликами других коммуникантов. При этом действует презумпция текстуальности: каждая следующая реплика по умолчанию воспринимается как содержательно связанная с предыдущей, а отсылка к более ранним репликам требует эксплицитного обозначения. Успешность коммуникации зависит также от соблюде-

ния говорящим ряда коммуникативных принципов — Принципа Кооперации, Принципа Вежливости и пр. (подробнее см. в главе 4).

Семантические аспекты понимания дискурса

Роль слушающего в процессе коммуникации, разумеется, не сводится к «декодированию» слов в исходные мысли, как предполагалось кодовой моделью коммуникации, — да и едва ли это в принципе возможно. Показательно, что каждая следующая модель придавала все больший вес именно фигуре слушающего (см. выше). Впрочем, еще Л. В. Щерба писал, что «процессы понимания, интерпретации знаков языка являются не менее активными и не менее важными в совокупности того явления, которое мы называем “языком”» [Щерба 1974: 25].

Понимание речевого сообщения обычно требует большего, чем собственно языковая компетенция. Разрешение лексической и синтаксической неоднозначности, определение референции именных групп, вычисление анафорических отсылок, интерпретация дейктических выражений, мысленное восстановление эллипсиса, разделение факта и оценки, активация фреймов и сценариев — все эти задачи предполагают учет различных видов контекста³². Помимо всего этого, слушающий должен также распознавать коммуникативное намерение говорящего, вычислять импликатуры (скрытые смыслы), определять речевой жанр, а применительно к устному дискурсу еще и учитывать исходящие от собеседника невербальные сигналы и соотносить их с информацией, переданной вербально.

Сложность задач, которые решает человеческий мозг при понимании дискурса, ясно обозначилась в ходе работ по созданию искусственного интеллекта. В литературе представлены разные предположения относительно того, как протекает этот процесс, каковы его механизмы, какие типы информации учитываются и как они

³² Именно это создает основные трудности для автоматической обработки естественного языка: в отличие от моделирования языковой компетенции при помощи правил, запретов, фильтров и пр., исследователи пока мало продвинулись в систематизации контекстуальной информации.

связываются между собой в ходе обработки [Johnson-Laird 1983; Fauconnier 1994; Дейк, Кинч 1988; Миллер 1990; Gernsbacher 1990; Van Oostendorp, Goldman (eds) 1999; Graesser et al. (eds) 2003; Kintsch 2004; Frank et al. 2007; Britton, Graesser (eds) 2014 и др.].

Благодаря исследованиям в области когнитивной психологии был обнаружен важный фактор, облегчающий выявление локальных связей текущего высказывания с предшествующими фрагментами и его соответствующую интерпретацию. Эксперименты показали, что по ходу восприятия текста (речи) человек непроизвольно и неосознанно формирует ожидания относительно его вероятного продолжения, ср.: «...человек все время делает предсказания относительно предложений языка и частей отдельного предложения, которые ему должны сообщить. Предсказания иногда могут быть неверными, но они составляют важное звено процесса понимания» [Шенк 1980: 21].

Справедливость данного утверждения подтверждается в ситуациях обманутого ожидания. В качестве иллюстрации приведем следующей пример наружной рекламы:

*Появилось раздражение?
Вы спотыкаетесь?
Мы способны решить любую вашу проблему.
Даже смену пола!*

Можно сказать, что первое предложение активизирует ожидания, связанные с рекламой медицинских услуг, второе их как будто подтверждает, а третье прочно закрепляет, поскольку представляет собой избитый слоган соответствующих рекламных кампаний. И только последняя строка внезапно заставляет усомниться в правильности интерпретации, а ниже, под ней, располагаются сведения, содержащие название и контактную информацию вовсе не медицинской, а строительной фирмы.

На обманутых ожиданиях строится юмористический эффект многих анекдотов, в том числе из цикла про Штирлица, ср.:

До Штирлица не дошло письмо, он перечитал еще раз, все равно не дошло; Штирлиц поставил чемодан на попа. Пастор застонал;

Штирлиц наклонился над картой СССР. Его неудержимо рвало на родину [Шмелёва, Шмелёв 2002: 85–86].

В устной коммуникации действует общее правило: тип речевого акта, реализованный той или иной репликой, так или иначе сужает круг возможностей для типа следующего речевого акта [Schiffirin 1994: 90–91]. Разумеется, речь идет о «нормально» протекающей коммуникации (в отличие, скажем, от театра абсурда), хотя и здесь нельзя полностью исключить вмешательство внешнего контекста, нарушающее привычные закономерности.

Из перечня задач, которые вынуждены решать говорящий и слушающий в процессе коммуникации, видно, что обе роли требуют значительных когнитивных усилий, и едва ли можно считать какую-то из них приоритетной, определяющей, несущей наибольшую нагрузку.

Семантика дискурса с точки зрения исследователя.

Методы исследования

Кардинальное отличие позиции исследователя дискурса от положения участника заключается в том, что первый имеет перед собой полную запись коммуникации, в то время как второй находится в самой гуще процесса, где роль и смысл каждого высказывания, равно как и более крупных фрагментов, вплоть до целого речевого события, обусловлены непрерывно меняющимся контекстом и не могут быть полностью ясны до его завершения. Говорящий и слушающий вовлечены в динамику развертывания дискурса, а исследователь имеет дело с готовым результатом [Schiffirin 1994: 360–361].

Семантика дискурса может изучаться качественными или количественными методами. Первые являются традиционными для общественных наук. Основная роль здесь принадлежит интерпретации как методу научного познания, направленному на понимание внутреннего содержания объекта через изучение его внешних проявлений. В проекции на дискурс, интерпретация — это истолкование текстов. При этом, однако, часто встает вопрос о том, какую интерпретацию следует считать верной и почему, что

дает критикам основание говорить об уязвимости такого подхода [Schiffrin 1994: 360].

Стремление преодолеть этот недостаток рождает интерес к математическим методам, способным, как кажется, обеспечить максимальную объективность, которая нередко приравнивается к истинной «научности». Показательным примером может служить авторская методика точного литературоведения Б. И. Ярхо, разработанная им в 1920–1940-е гг. и опирающаяся на аппарат теории вероятности и математической статистики. С их помощью автор предполагал решать огромное множество проблем, имеющих отношение к стилистике, тематике и композиции художественного произведения, к комплексу заключенных в нем идей и эмоций, а также к жанру произведения [Ярхо 2006]. Современное возрождение формальных методов в филологии представлено, в частности, квантитативным формализмом Ф. Моретти (см., напр., [Моретти 2016]).

Самым известным количественным методом анализа текстов на протяжении уже более полувека остается так называемый анализ содержания, или контент-анализ, получивший в свое время широкое распространение в социологии, политологии, журналистике. Его родоначальником считается американский социолог Г. Лассвелл (примеры его исследований представлены в Приложении 1 к настоящей главе).

Контент-анализ — это «методика выявления частоты появления в тексте определенных, интересующих исследователя характеристик текста, которая позволяет исследователю делать некоторые выводы относительно намерений создателя этого текста или возможных реакций адресата» [Федотова 1988: 3]. Контент-анализ предполагает алгоритмизированный перевод объективной текстовой информации в количественные показатели с последующей статистической обработкой и обобщением результатов исследования. Применение данного метода целесообразно в тех случаях, когда изучаемые качественные характеристики появляются в материале с достаточно высокой частотой, причем материала столь много, что его невозможно охватить без суммарных оценок, тем более если он носит несистематизированный характер

[Богомолова, Стефаненко 1992: 19]. Соответственно, основные области применения контент-анализа — социология, социальная психология и журналистика (исследования средств массовой информации).

Процедура контент-анализа предполагает прежде всего выделение ключевых понятий (так называемых категорий), которые интересуют исследователя в некотором корпусе текстов. Категории должны быть сформулированы четко и однозначно; кроме того, они должны быть взаимоисключающими (объемы понятий не должны пересекаться). Далее для каждой категории составляется список ее индикаторов — элементов текста (обычно слов, словоформ или словосочетаний), способных обозначать данную категорию, т. е. выражать соответствующий смысл [Там же: 23–24]. К примеру, если исследователя интересует тема борьбы народа за независимость, «борьба за независимость» может быть выделена в качестве категории, а ее индикаторами станут такие лексические единицы, как *независимость, свобода, автономия, повстанец, партизан, борец, сражаться, бороться* и пр. Индикаторы ищутся в тексте, а затем подсчитывается их частота, и на этом основании делается вывод о том, как представлена в изучаемом материале соответствующая концептуальная категория. Определение категорий и их текстовых индикаторов является ключевым этапом контент-анализа, так как от этого зависит валидность результатов.

С развитием компьютерной техники и информационных технологий (в том числе корпусной лингвистики) количественные методики получили бурное развитие. С одной стороны, это снимает прежнюю проблему репрезентативности, связанную с тем, что исследователь вручную размечал лишь определенную выборку, а далее проецировал полученные результаты на гораздо больший объем материала и был вынужден обосновывать правомерность соответствующей экстраполяции. В наши дни обработка огромных массивов текстов не представляет сложности; другое дело, что качество автоматической обработки оказывается заведомо ниже, чем в случае ручной разметки (из-за многозначности лексических единиц, омоформ, невозможности учесть контекст употребления

индикатора и пр.). В связи с этим исследователю требуется оценить погрешность и доказать, что ее влияние на общий результат незначительно, так что им можно пренебречь.

Возвращаясь к классическому контент-анализу, следует подчеркнуть, что его главными достоинствами традиционно считались объективность и самодостаточность. Однако в этом была и его слабость: изучению подлежало лишь манифестируемое (лежащее на поверхности), но не латентное (скрытое, потенциальное) содержание. Другой недостаток контент-анализа обусловлен заложенной в нем априористской логикой исследования. Перечень категорий и их текстовых индикаторов жестко задается с самого начала, что не позволяет обнаружить в тексте ничего, что заранее не было предусмотрено [Таршис 2012: 8, 32–33].

Осознание этих ограничений привело во второй половине XX в. к тому, что исследователи вновь обратились к методикам качественного анализа текстов. В частности, зародилась французская школа анализа дискурса, исходящая из идеи непрозрачности текста и сосредоточенная на проблеме его интерпретации [Серио 1999]. Качественный анализ текстов опирается на факт присутствия или отсутствия определенных признаков в сообщениях, и на этой основе исследователь делает соответствующее заключение. Считается, что такой подход способен дать более адекватное и тонкое понимание намерений коммуникатора и смысла текста, чем количественные методики.

Качественный анализ широко практикуется в антропологии и социологии и именно оттуда был заимствован в дискурсивные исследования. В социальных науках под качественным исследованием понимают нематематическую аналитическую процедуру, результаты которой проистекают из данных, собранных различными способами (как правило, при помощи интервью и наблюдения). Область его применения обусловлена спецификой предмета исследования, не позволяющей использовать четкие категории и статистические подсчеты. Это может быть, например, сфера субъективного опыта (связанного с болезнью, смертью близких, религиозным переживанием, снами и т. п.). Качественный анализ может использоваться также для раскрытия сути сложных или

слабоизученных феноменов, где количественные методы малопродуктивны [Страусс, Корбин 2001: 16–18].

Качественные исследования различаются тем, какая роль в них отводится исследователю. Бывает, что анализ данных не включается в задачу автора: материал должен быть собран и представлен в таком виде, «чтобы информанты говорили сами за себя». Фактически задача исследователя сводится тогда к добросовестному отчету, допускающему лишь минимальный комментарий и полностью исключающему предубеждения. В основе такого подхода лежит скепсис относительно возможности существования объективного, непредвзятого наблюдателя, не оказывающего никакого воздействия на предмет наблюдения. Считается, что позиция исследователя, которая формируется у него под влиянием его биографии (пола, возраста, национальной принадлежности, социального класса и пр.), не может не влиять на то, как он интерпретирует материал [Васильева 2001: 233; Страусс, Корбин 2001: 19–20]. Отсюда следует, что всякую интерпретацию следует заведомо исключить.

Однако ограничиться точными словами информантов «с их голоса» без интерпретации не всегда возможно. К примеру, из-за большого объема данных исследователь может быть не в состоянии представить читателям полный отчет и вынужден ограничиться выборкой, но отбор и упорядочение материала уже являются вмешательством автора, а следовательно, и интерпретацией. Есть и такие исследователи, которые заинтересованы в построении теории, а эта задача просто немыслима без интерпретации данных [Страусс, Корбин 2001: 20].

Как бы то ни было, авторы качественных исследований стремятся следовать обязательству, заключающемуся в том, чтобы не допускать предвзятости, предубеждений и не исказить исходящую от субъектов информацию. Они стараются представить «голоса» своих информантов в их естественном контексте, раскрывая значения, которые изучаемые субъекты привносят со своим жизненным опытом [Васильева 2001: 235].

Одним из наиболее известных направлений качественных исследований является так называемая обоснованная теория

(англ. *grounded theory*). Вот как ее суть описывают авторы соответствующей монографии:

Обоснованная теория — это теория, которая индуктивно выводится из изучения феномена, который она представляет. То есть она создается, развивается и верифицируется в разных условиях путем систематического сбора и анализа данных, относящихся к изучаемому феномену. Таким образом, сбор данных, анализ и теория находятся во взаимной связи друг к другу. Нельзя начинать с теории, а затем доказывать ее [Страусс, Корбин 2001: 21].

Содержание этого отрывка весьма близко характеру многих современных дискурсивных исследований, отличающихся нарушением традиционной логики исследования. Авторы идут не от гипотезы к подтверждающим или опровергающим ее примерам, а наоборот: от примера — к теории, т. е. практикуют индукцию. Суть такого подхода точно схвачена антропологом Клиффордом Гирцем, ср.: «*a “cases and interpretations” approach to analysis, as distinguished from a “rules and instances” approach*» (цит. по: [Tannen 1994: 129]). Считается, что «исследование отдельного случая» (англ. *case study*) нередко выявляет новые, интересные аспекты рассматриваемого вопроса, парадоксы и аномалии, и это стимулирует постановку новых проблем, выдвижение гипотез или корректировку имеющейся теории.

В современных дискурсивных исследованиях применяются как качественные, так и количественные методы семантического анализа, хотя качественные все же преобладают. В целом исследователи дискурса все более приходят к пониманию, что количественные и качественные методики не исключают друг друга, и делают акцент на их комбинации, а не противопоставлении. Формы такой комбинации различны: можно использовать качественные данные для иллюстрации или разъяснения результатов, полученных количественным методом, или, наоборот, использовать количественные данные в целях обоснования достоверности качественного анализа [Страусс, Корбин 2001: 17]. Появился так называемый качественный контент-анализ [Hsieh, Shannon 2005],

который может получать программную реализацию [Mayring 2010]. Заметим, что популярные в наше время когнитивные исследования дискурса опираются не только на качественные методики, но и количественные (оба варианта представлены ниже, в Приложении 3 к настоящей главе); в последние годы в них также широко используются корпусные данные.

Тема дискурса

Понятие темы применительно к предложению и дискурсу

Во избежание недоразумений следует с самого начала отметить, что в лингвистической литературе термин *тема* обычно употребляется в контексте актуального членения предложения, а именно как член оппозиции *тема* — *рема*. Несмотря на имеющиеся разногласия в содержательной трактовке обоих терминов, в отечественных исследованиях они стали уже привычными и хорошо освоенными.

Подобное использование термина *тема* в принципе не обязательно ограничиваться рамками отдельного предложения и вполне может применяться при рассмотрении последовательностей из двух и более предложений. Именно в таком духе чешский лингвист Ф. Данеш строит свои тематические прогрессии, призванные моделировать динамику развития дискурса с точки зрения содержания. В данной работе мы не станем останавливаться на этом подробно (интересующихся отсылаем, например, к обзору в [Филиппов 2003: 161–166]), а сосредоточимся на другом употреблении термина *тема* в контексте уже собственно дискурсивных исследований.

В дискурсивном анализе под *темой* обычно понимают основное содержание дискурса, его главный организующий принцип [Brown, Yule 1983: 73]. Это понятие имеет непосредственное отношение к такой структурной категории дискурса, как его смысловая связанность, или когеренция (см. главу 2). На этом согласие исследователей заканчивается, и дать *теме дискурса* подробное определение, которое устроило бы всех, не получается (обзор различных подходов см. в [Goutsos 1997: 1–31]).

Такое положение вещей обусловлено прежде всего различием в исходных установках, а именно приверженностью авторов к разным теоретическим моделям коммуникации. Само выражение *тема дискурса* наводит на мысль, что дискурс как таковой имеет присущую ему тему и, в соответствии с кодовой моделью, говорящий передает ее слушающему вместе со словами. Однако существует альтернативный взгляд, согласно которому темы имеют коммуниканты, а не дискурс сам по себе [Brown, Yule 1983: 68, 94]. Обоснованность подобного суждения демонстрируют художественные произведения, богатые подтекстом и оставляющие широкий простор для читательской интерпретации. Формирование альтернативного взгляда было обусловлено открытием асимметричности коммуникации и возникновением инференционной модели.

Отмеченное расхождение можно рассматривать как разницу между трактовками темы-как-объекта и темы-как-процесса (ср. *what-perspective* и *how-perspective* в [Goutsos 1997: 22 ff.]). Вторая интерпретация возникла, когда лингвисты обнаружили, что «то, о чем мы говорим, необязательно представляет собой физический объект или то, что можно обозначить существительным» [Grimes 1981: 164]. Для нее характерен акцент на протекании дискурса, его непрерывности, линейности и последовательности [Goutsos 1997: 22 ff.].

Спор о внутренней природе темы дискурса имеет отношение к вопросу о наличии у него объективного содержания. Если семантика дискурса совершенно субъективна, то дальнейшее обсуждение попросту лишено смысла. Поэтому мы будем исходить из того, что собственное содержание есть (в подавляющем большинстве случаев это так) и его можно анализировать в структурном и когнитивном аспектах.

Тема дискурса: структурный аспект

Тематическая структура достаточно легко выявляется в текстах научного, официально-делового и публицистического стиля. В некоторых из них (прежде всего в жанрах научной речи) распространена довольно жесткая иерархическая структура, состоящая из глобальной темы (отраженной в заглавии, например, монографии

или диссертации) и ряда подчиненных ей локальных тем разных уровней (соответствующих заголовкам разделов и подразделов). Локальные темы связаны вертикальными отношениями с глобальной темой и горизонтальными — друг с другом. Однако далеко не все жанры отмечены такой строгой организацией — неслучайно теория риторической структуры, описывающая смысловые связи в дискурсе в виде иерархической (древовидной) структуры, имеет ограничения на тип текста (подробнее см. в главе 2). Сложнее всего, по-видимому, обстоит дело с выявлением тем в художественных произведениях, а также в устном бытовом общении.

Другой вариант «сосуществования» в дискурсе нескольких тем представлен линейной последовательностью, в которой одна тема сменяет другую, ср. письма, дневники, новостные передачи. Так, характерное построение личного письма (имеются в виду традиционные образцы эпистолярного жанра, а не краткие электронные сообщения) предполагает запрос о положении дел у адресата, сообщение новостей о себе и близких и, возможно, обсуждение каких-то тем, представляющих общий интерес. В кратком виде такое строение наглядно демонстрирует письмо Лолиты к своей матери и ее мужу, написанное из детского лагеря:

*Дорогие мамочка и Гумочка,
Надеюсь, вы здоровы. Большое спасибо за конфеты. Я потеряла мой новый свитер в лесу. Последнее время погода была свежая. Мне очень тут³³.
Любящая вас Долли.*

(В. Набоков, «Лолита»)

В письменном дискурсе большего объема переход от одной темы к другой, как правило, маркируется началом нового абзаца, хотя в целом эта корреляция ненадежна. Исследования в области лингвистики текста показали, что принципы членения текста на абзацы в разных жанрах различны, не говоря уже о воздействии индивидуального стиля. В общем случае конец абзаца не является ни необходимым, ни достаточным показателем смены темы [Brown,

³³ Так в оригинале.

Yule 1983: 95]. В личной устной коммуникации для обозначения перехода к новой теме могут использоваться специфические дискурсивные слова и выражения (например, *А кстати; Между прочим, Хочу тебя спросить*), интонация, пауза, невербальные знаки (взгляд, мимика, жест). В новостных передачах существуют специальные аудиосигналы и видеозаставки, сигнализирующие смену тем.

Если в письменном дискурсе темы обычно сформулированы (в заголовках, начальных абзацах и пр.), то в устном чаще всего это не так (за исключением конвенциональных речевых событий вроде лекций или заседаний). Кроме того, в устном бытовом разговоре нередко встречается параллельное развитие тем. Такая «тематическая полифония» может быть обусловлена следующими причинами [Земская 1988б: 235]:

1) включение тематики, связанной с внешней ситуацией;

2) стремление каждого собеседника говорить о чем-то своем, наиболее волнующем его (возможно при неофициальных отношениях между коммуникантами).

Приведем соответствующие примеры:

Пример 1 (двое гуляют по краю поля):

А: *А Володька наш жениться собрался.*

Б: *На ком?*

А: *С ней учится / но старше его.*

Б: *Не знаешь что здесь посеяли?* [показывает на поле]

А: *Пшеница // Меня смущает, что старше.*

Б: *Да ничего // Это бывает.*

Пример 2 (две женщины-приятельницы пьют чай на даче):

А: *Никак не могу эту кофту довязать.*

Б: *А я цветы посадила // Анютины глазки.*

А: *Очень красивый фасон / но сложный.*

Б: *Хочется чтобы побольше цветов было около дома // Веселее.*

А: *Мне один рукав остался // Да-а / цветы приятно // Я хочу ее [кофту] в отпуск с собой взять.*

[Там же: 236–237].

В бытовом разговоре один участник предлагает тему, а другой может либо ее подхватить и, насыщая новыми элементами, раз-

вивать, либо отвергнуть и предложить взамен свою. Темы обычно вводятся спонтанно, и бывает так, что собеседники одновременно ведут каждый свою тему (см. пример 2 выше). Однако, в силу кооперативной природы разговора, это редко ведет к конфликту: кто-то из собеседников в конечном итоге уступает и отказывается от притязаний на коммуникативную инициативу [Brown, Yule 1983: 90].

Тему дискурса тогда можно определить как область пересечения тем, содержащихся в репликах отдельных участников разговора. Иными словами, это то общее, что обсуждается всеми коммуникантами. Наряду с этим, у каждого участника может быть своя особая, так сказать, индивидуальная тема, введение которой обычно маркируется местоимениями 1-го лица. В начале разговора невозможно предугадать, какая тема будет подхвачена и станет общей, тем самым превратившись в тему дискурса, а какая будет проигнорирована и останется на уровне индивидуальной, не получив продолжения [Ibid.: 89]. В целом разговор — это динамический процесс, и по его ходу темы меняются, поэтому не следует думать, что у разговора (или даже его фрагмента) всегда есть какая-то одна устойчивая тема [Ibid.: 94].

Заметим, что одновременное развитие тем, показанное выше в примере 2, весьма характерно для такого жанра электронного дискурса, как чат. Чем больше людей общается в чате, тем большее количество тем сосуществуют в параллельном режиме. Та или иная тема может какое-то время не получать продолжения, затем всплывать и подхватываться всеми участниками, потом затухать, уступая место другим, снова активироваться и т. д. Для чата такая ситуация гораздо более типична, чем для устного общения, поскольку введенная тема остается зафиксированной на письме и к ней всегда можно вернуться, в то время как в устной речи она с высокой вероятностью будет забыта. К тому же борьба за сохранение своей темы в чате обычно не рискует показаться невежливой (в отличие от устной коммуникации лицом к лицу) благодаря удаленности коммуникантов друг от друга в пространстве, а реплик — во времени (что часто случается).

Тема дискурса: когнитивный аспект

Примером когнитивного подхода к исследованию темы дискурса могут служить работы Т. А. ван Дейка по анализу новостей как типа дискурса [Дейк 1989а; 1989в]. В них автор развивает высказанную ранее мысль о том, что тема дискурса представляет собой пропозицию (или набор пропозиций), отражающую информацию, которую говорящий сообщает или запрашивает [Keenan, Schieffelin 1976: 338]. Ван Дейк, однако, меняет ракурс рассмотрения и подходит к определению темы с позиции не говорящего, а адресата, определяя ее как обобщенное описание основного содержания дискурса, которое адресат создает в процессе понимания. По его мнению, тема представляет собой «семантическую макроструктуру», которая имеет вид сложной пропозиции и является своеобразной суммой множества пропозиций, последовательно извлекаемых читателем из предложений текста.

Процесс построения семантической макроструктуры видится автору так. Из пропозиций, содержащихся в предложениях исходного текста, по определенным правилам слушающий выводит макропропозиции. К числу таких правил (или, как их называет ван Дейк, «макроправил») относятся правила сокращения (несущественной информации), обобщения (двух или более однотипных пропозиций) и построения (комбинации нескольких пропозиций в одну). Макроправила могут применяться рекурсивно, поэтому макроструктуры бывают разных уровней обобщения. Автор считает, что именно при помощи макроструктур человек оказывается способным суммировать информацию из разных источников и достаточно долго удерживать ее в памяти. Тем самым макроструктуры имеют скорее когнитивную, чем сугубо семантическую природу.

Предложенный взгляд породил широкий спектр критических откликов. Сомнения вызывал уже исходный тезис о том, что тема дискурса непременно имеет вид пропозиции (в отличие от темы предложения, которую можно выразить именной группой). Очевидно, что характеризуя дискурс с точки зрения содержания, можно сказать, что он *о глобализации, мигрантах* или, скажем, *о снах* (ср. название коллективной монографии [Рассказы о снови-

дениях]), и в этом смысле более подходящим кажется определение темы как любого предмета, о котором можно что-либо утверждать или рассказывать, который можно описывать или объяснять [Scinto 1977]. Но даже если согласиться с пропозициональным представлением, отнюдь не очевидно, что для любого дискурса или его фрагмента существует единственная тема. Вполне вероятно, что разные люди могут из одного и того же текста вывести разные семантические макроструктуры. Иными словами, один и тот же текст может получить разные заголовки (не являющиеся перифразами). Означает ли это, что он был по-разному понят слушателями или читателями [Brown, Yule 1983: 73]?

Критические замечания в адрес ван Дейка были также спровоцированы его утверждениями о психологической адекватности собственных построений. На фоне отсутствия единого мнения относительно способа представления знаний в голове человека, тезис о том, что они непременно хранятся в пропозициональной форме, вызвал законные возражения. Возник также более общий вопрос, а именно: как претендующий на когнитивную достоверность подход может игнорировать коммуникативное намерение говорящего и контекст? По-видимому, это позволил материал исследования — официальные письменные тексты, но едва ли полученные результаты можно распространить на все прочие виды дискурса, в том числе устный. Сомнительность утверждений ван Дейка совершенно очевидна в случае бытового диалога, где нередко вообще сложно говорить об определенной теме.

Если лингвистика текста довольно активно занималась исследованием внутренней природы и сущности темы, то в современных работах по анализу дискурса эта проблема затрагивается редко. Заметным исключением являются публикации Р. Ватсона Тодда [Watson Todd 2011; 2016], в которых поднимаются вопросы, связанные с тем, что представляет собой тема дискурса в различных речевых жанрах, как она развивается и как можно определить ее границы. Автор причисляет тему к нечетким понятиям (англ. *fuzzy concept*), чем сразу отвергает какое бы то ни было однозначное ее определение. Взамен предлагается вероятностный подход, основанный на сопоставлении результатов применения различных

формальных методов, а также данных, полученных от информантов. Тема понимается как набор ключевых слов. Соответственно, происходит сравнение ключевых слов, полученных при использовании разных методов, а также от информантов. То же самое выполняется в отношении границ тем. Далее анализируются сходства и различия в результатах. Чем выше процент совпадений результатов, полученных разными методами, тем увереннее можно выделять темы и их границы.

Показательно то, что применявшиеся автором формальные методы часто показывали существенные расхождения в результатах анализа (а информанты при этом были единодушны в суждениях). Эта картина в целом типична для современных работ в области автоматического моделирования темы дискурса (*topic modeling*), где результаты работы различных алгоритмов оставляют желать лучшего.

Перебрасывая мостик к следующему разделу, посвященному видам контекста, отметим взаимные ограничения, существующие между темой устного дискурса и ситуацией, в которой он происходит. С одной стороны, характер внешнего контекста может заметно суживать возможный диапазон тем (к примеру, разговоры в сельской лавке редко выходят за рамки погоды, местных происшествий, видов на урожай и т. п.); с другой — есть темы, налагающие ограничения на ситуацию, в которой их принято обсуждать (так, не любой разговор уместен на людях или при детях). Часто имеются также не столько ограничения, сколько ожидания, обусловленные типом говорящего (пол, возраст, профессия и пр.). Случается, что эти ожидания не оправдываются, но возникающее при этом удивление свидетельствует в пользу их существования, ср. следующую сценку:

Мне вспоминается такая история. Шли мы с приятелем из бани. Останавливает нас милиционер. Мы насторожились, спрашиваем:

— В чем дело?

А он говорит:

— Вы не помните, когда были изданы «Четки» Ахматовой?

— В тысяча девятьсот четырнадцатом году. Издательство «Гиперборей», Санкт-Петербург.

- *Спасибо. Можете идти.*
— *Куда? — спрашиваем.*
— *Куда хотите, — отвечает. — Вы свободны...*
Меня поразила тогда смесь обыденности и безумия.

(С. Довлатов, «Наши»)

Контекст дискурса

Текст vs. контекст

В период становления дискурсивного анализа, когда исследователи размышляли о содержании понятия «дискурс» и его отличиях от более привычного понятия «текст», они чаще всего отмечали связь дискурса с коммуникативной ситуацией, в которой он происходит. Было предложено определять дискурс как «текст + ситуация», а текст, соответственно, как «дискурс минус ситуация» (цит. по: [Макаров 2003: 87]). Теперь, по прошествии нескольких десятилетий, можно констатировать, что анализ дискурса (в особенности его содержательной стороны) непременно предполагает учет контекста. Показательно, что каждая новая модель коммуникации (см. выше) придавала этому компоненту все большее значение.

В современных дискурсивных исследованиях признается, что источником информации может быть как текст, так и контекст. Но если текст определяется как «то, что сказано» и его семантика обусловлена языковым значением слов, словосочетаний, предложений, то информация, передаваемая контекстом, имеет много различных источников. Текст обладает материальным выражением, законченностью и некоторой самодостаточностью, а контекст разнороден и динамичен (в особенности в устной коммуникации), существует только в качестве фона для текста и им (текстом) определяется. Все это создает сложности для определения того, что же такое есть контекст.

Заметим, что в практических исследованиях контекст никогда не берется в полном объеме (да это и невозможно): каждый исследователь отбирает из всего объема контекстуальной информации лишь те элементы, которые, с его точки зрения, значимы для анализа соответствующего материала, а остальные игнориру-

ет [Schiffrin 1994: 362–363, 383–384]. Поэтому можно сказать, что контекст представляет собой не объективное понятие, а результат интерпретации.

В теоретическом плане, среди исследователей нет единодушия в том, какие компоненты следует включать в понятие контекста. Диапазон мнений отчетливо вырисовывается при сопоставлении разных направлений дискурсивного анализа [Ibid.: 365–383]. Так, наиболее широкий подход, предполагающий максимальный охват различных аспектов речевого события, представлен этнографией коммуникации, а самый узкий, сосредоточенный на собственно речевом контексте (или *ко-тексте* — англ. *co-text*), — конверсационным анализом [Wodak 1996: 21–22].

Р. Водак [Ibid.: 21] предлагает моделировать разные виды контекста в виде набора концентрических окружностей. Круг с наименьшим диаметром — это сугубо речевое обрамление дискурса или его фрагмента. Далее по возрастанию диаметра идет круг, включающий коммуникантов и аудиторию, с их социальными ролями и различными индивидуальными характеристиками. Следующий круг характеризует обстановку как определенные координаты в пространстве и времени. Он включен в еще больший круг, обозначающий общественный институт, в рамках которого происходит речевое событие. И наконец, можно представить себе круг с огромным радиусом, распространяющийся на общество, частью которого является данный институт со своей историей становления и функциями.

Вопрос о том, в каком объеме следует брать контекст при анализе того или иного дискурса, не имеет общего решения. Так, на первый взгляд кажется, что повседневные разговоры редко отсылают к чему-то за пределами ко-текста и текущей ситуации. Но это не всегда так: вполне бытовые высказывания могут для своего понимания требовать учета более широкого контекста. Скажем, высказывание *Пришли мне эту статью по почте* до изобретения Интернета означало бы просьбу осуществить определенные физические действия, а именно: поместить печатные или рукописные листы в конверт, запечатать его, надписать адрес и либо пойти для его отправки в почтовое отделение, либо опустить конверт

в почтовый ящик на улице. В наши дни, скорее всего, это обращение предполагает виртуальные операции в программе электронной почты, включающие указание электронного адреса адресата, прикрепление (виртуальное) соответствующего файла и нажатие виртуальной кнопки «Отправить».

Как мы видим, выполнение одной и той же просьбы в разные эпохи (в данном случае — до массового распространения Интернета и после) может предполагать совершенно разные действия, и для того чтобы понять, что именно имеется в виду, необходимо принимать во внимание время (год), в который данное высказывание было произнесено. Кстати, правильная реконструкция того, «что стоит за словами», применительно к некоторому историческому периоду составляет важную задачу театральные постановки, исторических фильмов и экранизаций художественных произведений; ошибки здесь, к сожалению, нередки и иной раз приобретают характер анекдота.

Эпоха и этнографический контекст очевидным образом определяют нормы коммуникативного поведения. Первое, что приходит в голову в этой связи, — это вежливость и этикет. Но зависимость здесь гораздо шире. К примеру, в XIX в. в России дворяне разговаривали по-французски, и французская речь в этой среде казалась вполне естественной, не обращала на себя внимание (маркированной была скорее русская речь). Теперь представим себе французскую речь в обиходе советских людей или у нынешних россиян: очевидно, что это выглядело бы неестественно. Также трудно вообразить себе образованных американцев в XIX в., беседующих между собой по-французски: дело не в том, что этот язык не был им знаком, а в том, что это не было принято.

Интересный материал, связанный с зависимостью текста от внешнего контекста, дают анекдоты. К примеру, анекдоты о политиках (о Ленине, Сталине, Брежневе, Дзержинском, Ельцине и т. д.) непонятны без учета широкого контекста, включающего представления о тогдашней обстановке в стране, ср.:

При Ленине было, как в метро: кругом темно, а впереди одна лампочка.

При Сталине — как в автобусе: половина сидит, половина трясется.

При Брежневе — как в самолете: один за штурвалом, остальных тошнит.

При Горбачеве — как в такси: чем дальше, тем дороже.

[Купина 1995: 117]

Здесь же можно вспомнить анекдоты о «новых русских», которые, в связи с изменениями в общественной жизни, в 2000-е гг. были вытеснены на периферию речевого жанра и к настоящему времени оказались практически забыты. Ср.:

Новый русский покупает замок. Продавец говорит: «Это очень старинный замок, первая половина XVI века». — «Слушай, мужик, — говорит новый русский, — а где же вторая половина?»

[Шмелёва, Шмелёв 2002: 70]

В то же время есть много других тематических разновидностей русских анекдотов, которые не требуют для понимания столь широкого контекста (что, кстати, обеспечивает им устойчивость воспроизводства в речи независимо от политической ситуации); таковы серии анекдотов о муже, жене и любовнике, об иностранцах (чукчах, грузинах, эстонцах, евреях и т. д.), о героях популярных теле- и мультфильмов — Шерлоке Холмсе и Ватсоне, Василии Ивановиче и Петьке, Штирлице, поручике Ржевском, Винни-Пухе и Пятачке, крокодиле Гене и Чебурашке (более подробно о речевом жанре анекдота см. Приложение 2 к настоящей главе).

Типы и компоненты контекста

В литературе выделяются следующие типы контекста (ср. [Макаров 2003: 147–149]).

1. **Речевой контекст** (также встречаются названия *ко-текст*, или *со-текст*) — текст, окружающий данный фрагмент дискурса. Речевой контекст важен с точки зрения когеренции (смысловой связанности) всего дискурса в целом. Когеренция дискурса поддерживается когезией (формальной связанностью). Из когезивных маркеров особое значение имеют анафорические местоимения (*он, который, друг друга, себя, оба* и пр.): если они содержатся

в высказывании, их интерпретация требует обращения к предшествующему тексту. Есть и маркеры, отсылающие к последующему тексту, — катафорические выражения типа *так, следующий* и т. п. (ср.: *Борщ я готовлю так; Рассмотрим следующие примеры*), но они встречаются реже. В целом левый контекст важнее (к нему чаще происходит обращение при восприятии текущего фрагмента), что является следствием линейной упорядоченности дискурса.

2. Экзистенциальный контекст — объекты и ситуации во внешнем мире, к которым отсылает высказывание в акте референции. Его необходимо учитывать при интерпретации дейктических слов и выражений (ср. *ты, я, этот, тот, сегодня, послезавтра, здесь, туда, справа, в 100 км от моего дома, через 50 лет* и пр.), а также невербальных сигналов. Он требуется также для понимания коммуникации, характеризующейся высокой степенью эллиптичности, что часто случается в ходе совместной деятельности, особенно в бытовом общении (например, при ремонте машины, приготовлении пищи, просмотре фильма, спортивного состязания и пр.). Ср. ситуацию, в которой два брата собирают разборный шкаф:

А: Сюда — сюда / сильнее

Б: (двигает доску, стремясь попасть в отверстие) *Левей — левей //*

Не лезет

(Б. отодвигает дверцу, переворачивает ее)

А: *Нет / не верти //* *Давай снова! Еще чуть-чуть / жми — жми //* *не сломай! Осторожно //*

[Земская 1988а: 23]

3. Ситуационный контекст — набор социальных параметров ситуации общения, включающий место общения и обстановку, социально-культурную среду, уровень официальности общения, статусно-ролевые отношения, тип ситуации и пр. Зависимость текста от ситуации колеблется: так, он чрезвычайно важен для некоторых форм институциональной коммуникации, но не играет практически никакой роли, скажем, в интеллектуальных разговорах.

4. Акциональный контекст — ситуации, создаваемые самими речевыми актами. Роль акционального контекста особенно ярко

проявляется в случае перформативных речевых актов — особого класса высказываний, которые самим фактом своего произнесения создают новое положение дел, ср. *Объявляю вас мужем и женой; Вы назначаетесь на должность...; Вы арестованы; Обвиняемый приговаривается к...*

5. Психологический контекст — мысли, эмоции, намерения коммуникантов. Понятие психологического контекста вошло в поле зрения исследователей дискурса сравнительно недавно — ранее внимание было сосредоточено преимущественно на статичных социологических переменных (класс, пол, возраст, этническая принадлежность).

Из данного перечня видно, что контекст бывает внешний (обращенный к коммуникативной ситуации и ее компонентам) и внутренний, причем последний термин может употребляться в отношении как обрамляющего текста, так и внутреннего мира коммуникантов. В совокупности выделенные типы контекста охватывают все три аспекта, актуальных для дискурсивных исследований: вербальную составляющую, когницию и общество (*text and talk — cognition — society*) [Van Dijk (ed.) 1997a: 23–24].

Из невербальных компонентов контекста наибольшее внимание уделяется следующим [Van Dijk (ed.) 1997b: 11–16]:

1. Участники: часто имеют значение такие параметры, как возраст, пол, социальное положение, образование, национальность, род занятий, но не физические характеристики (рост, вес, цвет глаз и пр.). Из социальных ролей обычно важны такие, как «начальник — подчиненный», «родитель — ребенок», «врач — пациент», «учитель — ученик», но не, скажем, «любитель кино» или «спортсмен».
2. Обстановка: время, место, расположение говорящего в пространстве. Многие речевые жанры привязаны к специфическим местам (аудиториям, актовым залам, стадионам и т. д.). Расположение участников может быть фиксировано (ср. учитель перед сидящими учениками, судья на возвышении перед публикой). Некоторые речевые жанры могут состояться только в специальном институциональном

контексте: например, юридическое обвинение — исключительно в суде.

3. Атрибутика (форма, флаги, специальная мебель, предметы и др.) — несет особый символический смысл в официальном дискурсе. Например, для крещения нужна святая вода, для освящения корабля — бутылка шампанского, при обращении к большой аудитории — микрофон и т. д.
4. Действия говорящего: жесты, мимика, телодвижения (ср. отдавание чести у военных, поза для принесения клятвы, положение стоя при произнесении речи).
5. Знания и намерения коммуникантов, образующие когнитивные компоненты контекста.
6. Включенность в более крупное речевое событие. Например, вынесение приговора — часть судебного заседания, которое, в свою очередь, значимо в общей правовой системе государства. Аналогичным образом, урок включен в школьный учебный процесс, а тот является институционально закрепленной формой в системе образования.

Когнитивные аспекты интерпретации текста в контексте

Возвращаясь к вопросу о контексте, необходимом для адекватной интерпретации дискурса, следует еще раз подчеркнуть, что он не имеет общего решения, будучи обусловлен особенностями коммуникативной ситуации. В то же время можно говорить о существовании определенных когнитивных принципов, направляющих процесс понимания и помогающих слушающему, к примеру, вычислить референта имени *Пётр* или выделить релевантный именно для данного высказывания временной отрезок, покрываемый словом *сейчас*. Обратимся к их рассмотрению (ср. [Brown, Yule 1983: 58–67]).

Во-первых, в речевой коммуникации действует **принцип локальной интерпретации**, диктующий установление по возможности наиболее узких пространственно-временных рамок контекста. Так, если человек слышит обращенное к нему высказывание

Закройте дверь!, он будет искать взором ближайшую к нему дверь или посмотрит на дверь, в которую только что вошел. Когда человеку говорят, что *Петя идет в клуб*, он машинально заключает, что речь идет о его знакомом по имени *Петя* и что клуб находится в том же городе, — ему и в голову не придет, что *Петя* может сесть на самолет, полететь в другой город и там пойти в какой-то клуб и тем более что речь может идти о каком-то неизвестном человеке. Водитель маршрутного такси в ответ на просьбу остановиться *на остановке* или *перед светофором*, не раздумывая, решит, что речь идет о ближайшей остановке или светофоре. Дежурная фраза контролера пригородного электропоезда (регулярно ходящего взад-вперед по вагонам) *Кто вошел — билеты* подразумевает, что билеты должны предъявить только новые, недавно вошедшие пассажиры, не показывавшие их во время предыдущего «рейда».

Когда человек читает, что некто *сидел за стойкой бара и разговаривал с барменом*, он машинально заключает, что эти события происходили одновременно, внутри ограниченного временного отрезка (что-нибудь около часа, но никак не год). В знаменитом примере Г. Сакса: *Ребенок заплакал. Мать взяла его на руки* (*The baby cried. The mother picked it up*) — *мать* интерпретируется как мать того ребенка, о котором шла речь в предыдущем предложении, а *его* относится к ребенку, хотя в принципе эти предложения могли бы относиться к двум не связанным между собой событиям. Более того, слушающий заключает, что данные события происходили в близких точках пространства и следовали непосредственно друг за другом³⁴.

Во-вторых, можно выделить **принцип аналогии**, согласно которому коммуниканты рассказывают друг другу только о том новом, что случилось с ними со времени предыдущего общения. Если обстоятельства остались прежними, о них обычно умалчивают. О переменах же принято сообщать; отсюда — бурные реакции вроде *Что же ты мне ничего не сказала!*, когда собеседник обна-

³⁴ Есть особый класс логических задач, строящихся на нарушении этого принципа.

руживает, что его не поставили в известность о произошедших изменениях. Конечно, иногда людям приходится напоминать друг другу и то, о чем у них ранее шла речь, с целью активизировать соответствующую информацию, но в целом несоблюдение принципа аналогии нарушает максимум количества Принципа Кооперации (см. главу 4).

Еще один принцип касается **связи текста с контекстом**: человек склонен исходить из того, что сказанное или написанное имеет непосредственное отношение к текущей ситуации и получает смысл именно в ней и благодаря ей. Если путешественник находит среди пустыни камень с высеченными на нем письменами, он решает, что они таят в себе жизненно важное для него сообщение, и пытается их расшифровать. Это стремление найти смысл в любом знаке и связать его с контекстом, вероятно, можно считать своеобразным продолжением презумпции текстуальности: речь идет о попытке найти когеренцию и уместность уже не только в тексте, но и в более широком пространстве собственного опыта.

Прецедентные феномены в дискурсе. Интертекстуальность

Понятие прецедентного феномена

Семантика дискурса обогащается, «прирастает» новыми смыслами за счет отсылок к широко известным событиям, людям и другим текстам — тому, что в совокупности принято называть *прецедентными феноменами*. В широком смысле, по-видимому, прецедентные феномены можно рассматривать как части контекста — среды, в которой живет то или иное общество.

Данное понятие родилось в недрах лингвокультурологии, где считается, что каждый человек принадлежит к определенному лингвокультурному сообществу. У лингвокультурного сообщества есть своя «когнитивная база» — определенным образом структурированная совокупность знаний и представлений, которыми обладают все представители данного сообщества. Когнитивная база хранит не столько сами представления, сколько инварианты представлений (существующих и возможных) о тех или иных феноменах.

Так, индивидуальные знания разных людей, скажем, о Куликовской битве могут сильно различаться, но в то же время можно говорить о существовании национального инварианта представления об этом событии, состоящего из определенного набора признаков [Гудков 2003: 146].

Поскольку инвариант, по определению, должен быть единым для всех членов лингвокультурного сообщества, он представляет собой максимально редуцированное, минимизированное представление, по сути сведенное к скупому набору дифференциальных признаков. Важно заметить, что в своей коммуникативной практике человек обращается не к индивидуальным знаниям, а именно к этому редуцированному представлению. Хорошей иллюстрацией к понятию прецедентных феноменов могут служить выдержки из текстов СМИ (публицистический дискурс их активно задействует с целью привлечения внимания читателей), ср.:

Нашему обществу нужны не Обломовы, а деятельные и энергичные люди (Обломов — ‘лентяй’);

Поезд реформ набрал ход, и остановить его не сможет никакая Анна Каренина (Анна Каренина — ‘женщина, бросившаяся под поезд’);

Девушка решила пойти по стопам Раскольниково и ограбила старушку (Раскольников — ‘молодой человек, жестоко поступивший со старушкой’).

[Там же: 147]

Во всех трех примерах можно наблюдать отсылки к классическим, широко известным произведениям русской литературы. Это ключевой момент: прецедентные феномены должны быть хорошо известны всем представителям лингвокультурного сообщества, иначе отсылки теряют смысл. Система прецедентных феноменов — это система эталонов национальной культуры; иностранец не может по-настоящему понять другую культуру без ее освоения. Помимо этого, прецедентные феномены должны постоянно возобновляться в речи. Аппелляция к прецедентным феноменам не обязана быть частой, но должна быть достаточной для того, чтобы они не были забыты [Красных 2002: 44–45].

Впервые на существование данного явления (под названием *прецедентный текст*) обратил внимание Ю. Н. Караулов [1987]. На настоящее время наиболее закрепленным является термин *прецедентный феномен*, включающий различные виды текстовых отсылок.

Виды прецедентных феноменов

Прежде всего, следует отметить, что прецедентные феномены бывают вербальные и невербальные; последние, однако, поддаются вербализации. К невербальным относятся прецедентные ситуации (см. ниже), а также произведения искусства (картина «Ночной дозор» Рембрандта, храм Христа Спасителя в Москве и т. д.). Например, персонаж Татьяны Васильевой в кинофильме «Самая обаятельная и привлекательная» описывается как *крокодил с улыбкой Джоконды* [Красных 2002: 46].

В литературе выделяются следующие виды прецедентных феноменов, ср. [Там же: 47–49; 60–115]:

1. **Прецедентный текст** — законченный и самодостаточный продукт речемыслительной деятельности, (поли)предикативная единица. К прецедентным текстам относятся произведения художественной литературы («Евгений Онегин», «Бородино»...), детские стишки, тексты песен («Подмосковные вечера», «Ой, мороз, мороз...»), лозунгов (*А ты записался добровольцем?*), рекламы, анекдотов.

2. **Прецедентное высказывание** — репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не быть предикативной. Например: цитата как фрагмент текста (*Каким ты был, таким ты и остался; А казачок-то засланный; Таможня дает добро; Не пей — козленочком станешь; Сказка станет былью; владелец заводов, газет, пароходов; коня на скаку остановит, в горящую избу войдет; Не спится, няня; Народ безмолвствует*), название произведения («Кому на Руси жить хорошо?», «Что делать?», «Кто виноват?», «Былое и думы», «Мертвые души»), полное воспроизведение текста, представленного одним или несколькими высказываниями (поговорки и пословицы и поговорки, например *Тяжело в учении — легко*

в бою). Прецедентные высказывания часто используются в СМИ с целью создания экспрессии.

По принципу связанности / несвязанности с породившим их текстом прецедентные высказывания можно разделить на следующие виды:

- тесно связанные с прецедентным текстом, например *Белеет парус одинокий*;
- потерявшие связь с текстом-источником и ставшие «автономными» прецедентными высказываниями, ср. *Счастливые часов не наблюдают*; *Тяжела ты, шапка Мономаха*. Фактически тем самым они сами перешли в разряд прецедентных текстов;
- никогда не имевшие и не имеющие сейчас связи с породившим их текстом; здесь также нет разницы между прецедентным высказыванием и прецедентным текстом, ср. *Нельзя объять необъятное*.

3. Прецедентная ситуация — некая «эталонная» ситуация, связанная с определенными коннотациями. Ярким примером может служить предательство Христа Иудой, которое понимается как «эталон» предательства вообще. Дифференциальные признаки этой ситуации — подлость человека, которому доверяют, донос, награда за предательство: именно они входят в когнитивную базу лингвокультурного сообщества. Эта прецедентная ситуация может обозначаться выражениями *предательство Христа Иудой*, *предательство Иуды*, *30 сребреников*. Имя *Иуда*, соответственно, является прецедентным именем (см. ниже). В целом прецедентная ситуация может обозначаться через прецедентное имя (*Ходынка*, *Смутное время*, *Бородино*, *Хиросима*, *1937 год*), прецедентное высказывание (*в Европу прорубить окно*), а также обычное слово либо словосочетание (*соблазнение*, *изгнание человека из рая*).

Прецедентная ситуация может быть отражена в соответствующем прецедентном тексте (и не одном); например, битва под Бородино — в стихотворении Лермонтова «Бородино», предательство Иуды — в Евангелии, а также в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и т. п.

4. Прецедентное имя — индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом (как правило, прецедентным, ср. *Печорин*, *Теркин*), или с прецедентной ситуацией (*Иван Сусанин*, *Колумб*, *Куликово поле*, «*Летучий голландец*»). При употреблении прецедентного имени происходит обращение не собственно к референту имени, а к набору его дифференциальных признаков.

Когда речь идет о человеке (будь то реальном лице или персонаже какого-либо произведения), могут актуализироваться различные дифференциальные признаки, ср.:

- связанные с внешним обликом, ср.: *Ален Делон* как «эталон» мужской красоты, *Мэрилин Монро* как «эталон» женской красоты, *Колобок* применительно к маленькому, кругленькому, толстенькому человеку;
- обусловленные характером, профессией, поступками и пр.: *Рокфеллер*, *Хлестаков*, *Остан Бендер*, *Штирлиц*, *Айболит*, *барон Мюнхгаузен*, *Шумахер*, *дядя Степа*, *Пинкертон*, *Наполеон*, *Обломов*;
- связанные с прецедентной ситуацией, ср. *Сусанин*, *Колумб*, *Понтий Пилат*.

Прецедентные имена по своей семантике нередко сближаются с нарицательными существительными, как абстрактными (*Иуда* — *предательство*, *Обломов* — *лень*, *Плюшкин* — *скудость*), так и конкретными (*Айболит* — *доктор*, *Джеймс Бонд* — *шпион*, *Архимед* — *ученый*, *изобретатель*). Их употребление (вместо общих имен) связано со стремлением повысить экспрессию текста, его воздействие на читателя / слушателя.

Необходимо подчеркнуть, что между прецедентными феноменами нет жестких границ. Все виды прецедентных феноменов тесно взаимосвязаны: при актуализации одного из них может происходить актуализация сразу нескольких остальных.

Особый интерес с точки зрения прецедентных феноменов представляет собой речевой жанр анекдота (см. также Приложение 2 к настоящей главе). С одной стороны, немало анекдотов сами по себе являются прецедентными текстами, входят в когнитивную базу носителей русского языка. С другой — в них нередко

содержатся отсылки к разнообразным прецедентным феноменам (именам, ситуациям), обыгрываются те или иные прецедентные высказывания, аббревиатуры и т. д. Немало примеров такого рода можно обнаружить в советских политических анекдотах. Ср.:

*Рабинович, глядя на плакат «Ленин умер, но дело его живет!»:
— Лучше бы ты жил, а дело твое умерло!*

[Купина 1995: 108]

Или:

*— Что такое СССР?
— Это камера, в которой все совмещено: спальня, столовая,
сортир, работа.*

[Там же: 115]

Иногда с целью языковой игры в анекдотах можно наблюдать намеренную деформацию прецедентных текстов, ср.:

*— Каковы основные законы марксистской диалектики?
— Первый: количество переходит в ступа качество. Второй:
битий определяет сознание.*

[Там же: 107]

Ядро и периферия прецедентных феноменов

Прецедентные феномены тесно связаны с жизнью общества. Если рассматривать их в терминах полевого подхода, можно условно выделить ядро и периферию, хотя граница между ними подвижна и в каждый данный момент не вполне очевидна. Периферийные явления могут со временем продвинуться к центру либо, наоборот, оказаться забыты.

К периферии принято относить следующие группы прецедентных феноменов [Красных 2002: 120–121]:

- 1) относящиеся к числу недавно зародившихся или, напротив, уже уходящих, связанных с предшествующей эпохой (ср. лозунг *Советское — значит отличное*; рекламные ролики времен перестройки с участием персонажа *Леня Голубков*; серии анекдотов об армянском радио и о «новых русских»);

- 2) отличающиеся меньшей степенью известности. В связи с этим иногда отдельно говорят о социумно-прецедентных феноменах (в противовес национально-прецедентным), которые известны не любому представителю лингвокультурного сообщества, а только членам определенных социальных групп (выделяемых по возрасту, профессии и пр.). Так, в наши дни среди молодежи стремительно распространяются те или иные мемы, словосочетания с так называемыми хэштегами (#), однако они не становятся известными всему лингвокультурному сообществу и имеют мало шансов войти в его когнитивную базу, в том числе из-за своей мимолетности;
- 3) имеющие расхождения в инвариантах восприятия. Речь идет о прецедентных феноменах (прежде всего, прецедентных именах), тесно связанных с ценностными ориентирами социума. Радикальные социальные изменения приводят к их пересмотру — разоблачению старых кумиров, созданию новых героев. Делается это обычно под флагом «демифологизации истории» и «восстановления исторической правды»; фактически же речь идет о замене одного мифа другим. Особенно наглядно это проявилось в нашей стране в перестроечный и постперестроечный периоды, когда ориентиры динамично менялись. Так, *Н. И. Бухарин* в начале перестройки был представлен как «герой», «хороший большевик», «настоящий ленинец», противопоставленный злодеям и демонам (*И. В. Сталину* и его соратникам), а позднее был отнесен в общую категорию «злодеев». Аналогичная участь постигла и самого *В. И. Ленина* (ср. также [Гудков 2003: 151–154]).

Есть и такие имена (как реальных людей, так и вымышленных персонажей), которые имеют разные (вплоть до противоположных) инварианты восприятия у разных групп населения, ср. *Ленин*, *Сталин*, *Павлик Морозов*. В этом случае все инварианты восприятия являются «обязательными», т. е. должны быть одинаково понятны и актуализированы.

Некоторые прецедентные феномены могут сохранять свое положение в когнитивной базе лингвокультурного сообщества, но уже с изменившимся инвариантом восприятия. Так, лозунг *Два мира — два детства* в советское время использовался для прославления социальной политики советского государства — на фоне реалий капиталистического общества; с наступлением эпохи рыночных отношений, однако, сравнение не всегда оказывается в нашу пользу, и та же фраза может получать обратное прочтение.

Интертекстуальность

Прецедентные тексты и высказывания можно рассматривать в рамках более широкой категории «интертекстуальности» — актуального в современном литературоведении понятия (см. [Васильев 2015]). Впервые термин *интертекстуальность* был введен теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой в статье «Бахтин, слово, диалог и роман» (1967), посвященной переосмыслению работы М. М. Бахтина «Проблема материала, содержания и формы в словесном творчестве» (1924). В указанной статье Бахтин отмечал, что любой писатель неизбежно ведет межтекстовый диалог с предшествующей и современной ему литературой.

По Кристевой, интертекстуальность — это общее свойство текстов, выражающееся в наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. Понятие интертекстуальности размывает границы текста, лишает его законченности, закрытости. Основным структурным принципом текста постулируется его неоднородность, множественность, открытость, обеспечиваемая отсылками, аллюзиями, цитатами. Любой текст постоянно соотносится с другими текстами, ведет с ними диалог, что рождает дополнительные смыслы.

Интертекстуальность можно рассматривать в двух ракурсах: с позиций автора текста и его читателя. Говоря о первом ракурсе, следует отметить, что межтекстовый диалог может быть следствием произвольной попытки писателя вобрать в себя или, наоборот, преодолеть какое-либо предшествующее произведение. В то же время такой диалог может быть и вполне осознанной, умышленной

стратегией: например, в литературе постмодернизма, отличающейся намеренной эклектичностью, а также обильным открытым и скрытым цитированием, интертекстуальность является одним из основных художественных приемов. Ср. следующие фрагменты из произведений Т. Кибирова и Д. Пригова, отсылающие к хрестоматийным стихотворениям А. А. Блока и М. Ю. Лермонтова соответственно:

*О доблестях, о подвиге, о славе
КПСС на горестной земле,
О Лигачеве иль об Окуджаве,
О тополе, лепечущем во мгле.*

(Т. Кибиров, «Романсы Черёмушкинского района»)

*В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал, невидим, я...
Я — Пригов Дмитрий Александрович!
Я, я лежал там, и это кровь сочилась моя...*

(Д. Пригов)

Интертекстуальность, рассматриваемая с позиций читателя, связана с проблемой восприятия, интерпретации, способа прочтения. Это те связи данного произведения с другими, которые привносятся читателем и делают художественный текст чем-то иным и бóльшим, чем написанный текст. Такая перспектива преодолевает оппозицию между объектом (текстом) и субъектом (читателем), между чтением и письмом.

Развитие идеи интертекстуальности привело французских теоретиков структурализма и постструктурализма (Р. Барта, Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Лакана и др.) к объявлению «смерти автора» (т. е. писателя), «смерти» индивидуального текста, растворенного в явных и неявных цитатах, а в конечном счете и «смерти читателя», цитатное сознание которого столь же нестабильно и неопределенно, как безнадежны поиски источников соответствующих цитат. Уничтожение понятия текста породило картину космической библиотеки, в которой отдельные безличные тексты до бесконечности ссылаются друг на друга и, по сути дела, являются все вместе частями единого «всеобщего текста». Всякий текст является реакцией на предшествующие тексты, и создание нового возможно

лишь в результате различных комбинаций уже существующего, т. е. цитатности.

Суммируя многочисленные определения, В. Е. Чернявская [2014: 76] пишет, что интертекстуальность может быть представлена «как наличие одного (или нескольких) предтекстов в другом и как отношение, возникающее между текстом и его предтекстом(ами)». И далее:

В семиотическом плане это означает отношение между одной языковой знаковой системой и другой, референциально соотнесенной с первой. В прагматическом же плане интертекстуальность выступает как специфическая стратегия соотнесенности с другими текстами, как тот способ, которым один текст актуализирует в своем внутреннем пространстве другой, выражая авторский замысел. Иными словами, интертекстуальность покрывает всю шкалу возможных обоюдонаправленных отношений между текстами или их частями... [Там же].

Автор отмечает существование двух моделей интертекстуальности — широкой и узкой, в соответствии с разделением литературоведческой и лингвистической концепций интертекста [Там же: 77]. Если в первом случае интертекстуальность рассматривается как универсальное свойство текста вообще (и именно в этом смысле данный термин употреблялся до сих пор), то во втором речь идет о типологической интертекстуальности как особом качестве определенных текстов, построенных по той или иной текстообразовательной модели, либо о связи индивидуального текста с другим(и).

Действительно, в 1970–1980-е гг. проблема интертекстуальности вышла за рамки литературоведения и семиотики, с которыми она первоначально была связана. Межтекстовые связи заинтересовали лингвистов, занимавшихся изучением текста и дискурса. Видные представители лингвистики текста Р. де Богранд и В. Дресслер определили интертекстуальность как «зависимость между порождением или рецепцией одного текста и знанием участником коммуникации других текстов» [De Beaugrande, Dressler 1981: 188]. Они включили интертекстуальность в список критериев текстуальности — наряду с такими критериями, как когезия,

когеренция, интенциональность, приемлемость, ситуационная уместность, информативность. Согласно данной теории, только при выполнении всех перечисленных критериев нечто написанное или произнесенное может считаться текстом; в противном случае — это не-текст (Nicht-Text) [De Beaugrande, Dressler 1981]. Таким образом, текст (чтобы считаться таковым) просто обязан быть так или иначе связан с другими текстами. Это может быть соотнесенность конкретного текста с определенным типом текстов либо его соотнесенность с другим текстом / текстами (см. также [Филиппов 2003: 119–132]).

Приложение 1. Контент-анализ советского дискурса (Г. Лассвелл, С. Якобсон)

Работы американского социолога, пионера политической лингвистики Гарольда Лассвелла можно считать образцом использования контент-анализа в его классическом варианте (подробнее о данном методе см. выше). В середине XX в. Лассвелл неоднократно обращался к исследованию официального советского дискурса на предмет содержащейся в нем пропаганды. Для него этот материал был современным и представлял большой интерес, так как воплощал в себе определяющие черты тоталитарного дискурса. Применение количественного метода было призвано обеспечить объективность научного описания.

В настоящем приложении рассматриваются два исследования [Lasswell 1965a; Jakobson, Lasswell 1965], опубликованные в коллективной монографии под названием «Язык политики: Исследования по квантитативной семантике» (первое издание 1949 г.). Отметим, что данная монография также включает в себя и другие, более общие статьи Г. Лассвелла и его коллег, обосновывающие необходимость изучения языка политики и целесообразность использования количественных методов.

Статья [Lasswell 1965a] имела своей целью доказать наличие политической пропаганды в советских журналах и книгах, ориентированных на зарубежного читателя и вышедших в свет в 1930-х гг. как на русском, так и на иностранных языках. Основным источником служила англоязычная газета *Moscow News*; в качестве материала также привлекался ряд других периодических изданий и книг общественно-политической направленности. Под политической пропагандой понималось «распространение слов (и их эквивалентов, например графических изображений) как способ воздействия на формирование мнений по неоднозначным вопросам» [Ibid.: 199].

Для того чтобы доказать наличие пропаганды, автор использует ряд тестов. Один из них — тест презентации (*the presentation test*) — направлен на выявление предвзятости в характеристике СССР и иностранных государств. В качестве материала использо-

вались выпуски газеты *Moscow News* за период со 2 августа 1938-го по 10 марта 1939 г. Суть теста заключалась в следующем.

Все составляющие компоненты периодических изданий, а именно каждая статья, каждое графическое изображение, рекламное объявление и т. д., а также обращение главного редактора оценивалось с точки зрения того, в каком свете (положительном или отрицательном) оно рисует СССР и/или иностранное государство. Положительное представление страны было связано с ее характеристикой как сильной, культурной, разумной и справедливой, если же страна показывалась слабой, неразвитой, нерациональной и безнравственной, это считалось отрицательным представлением. В тех редких случаях, когда один и тот же компонент содержал как позитивную, так и негативную оценку, учитывался доминирующий фон. Затем отдельно было подсчитано число компонентов с положительной оценкой СССР (1903), отрицательной оценкой СССР (3), положительной оценкой других стран (69) и отрицательной оценкой других стран (328). Полученные цифры (см. рис. 2) демонстрируют очевидную предвзятость в изображении СССР, с одной стороны (практически полное отсутствие компонентов с отрицательной оценкой), и иностранных государств — с другой (существенное преобладание таких компонентов).

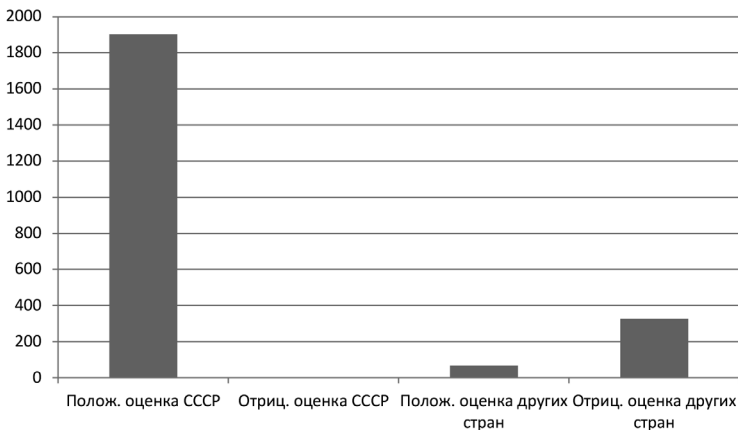


Рис. 2. Положительные и отрицательные оценки СССР и других государств в газете *Moscow News* [Lasswell 1965a: 209]

Параллельно применялся тест на специфическую лексику (*the distinctiveness test*), направленный на выявление характерного советского политического лексикона 1930-х гг. Этот лексикон коренным образом отличался от американских политических терминов и был непонятен основной массе американцев (ср.: *массы, товарищ,, социалистическое строительство, классовая борьба, комиссариат* и т. п.). Подобные лексические единицы являлись частью коммунистической доктрины и, даже будучи вырваны из контекста, сохраняли свою идеологическую чужеродность для западного читателя. По результатам подсчета ключевых политических терминов в шести номерах *Moscow News* частотный список возглавило слово *народ* (1136 вхождений), за ним идут *рабочие* (633), *колхозы и совхозы* (378), *Сталин, сталинский* (280), *Советы* (270), *Ленин, ленинский* (243) и т. д. На рис. 3 (см. ниже) русские лексемы представлены в соответствии с алфавитным порядком следования их англоязычных эквивалентов.

буржуазный	61
класс	92
классовая борьба	97
коллективизм	56
колхозы и совхозы	378
комиссариат	187
товарищ	78
Советы	270
диверсии	25
эксплуатация	54
пятилетка	217
Ленин, ленинский	243
массы	146
партия (коммунистическая)	172
пролетариат	45
Красная армия	162
революция	217
социалистическое строительство	62
соцсоревнование	29

социалистический труд	23
социалистическая революция	34
стахановцы	165
Сталин, сталинский	280
задача	62
народ	1136
трудящиеся	35
рабочие	633

Рис. 3. Частота использования основных политических терминов в газете *Moscow News* [Lasswell 1965a: 227]

Обратимся теперь к статье, написанной Г. Лассвеллом в соавторстве с С. Якобсоном [Jakobson, Lasswell 1965]. Она представляет собой кропотливое исследование советских первомайских лозунгов за период 1918–1943 гг. и может считаться классическим примером применения контент-анализа в дискурсивных исследованиях³⁵. Авторы поставили своей целью выделить основные группы ключевых символов, использовавшихся в лозунгах разных лет, выявить тенденции, связанные с преобладанием той или иной группы в определенный период, и предложить объяснение обнаруженных закономерностей.

Авторы выделили следующие группы ключевых символов (в скобках приводятся их лексические индикаторы):

- I. революционные (*революционный, Коммунистический интернационал, мировая революция, Октябрьская революция, рабочие массы, Советы, советская власть, коммунистическая партия, пролетарская диктатура, красный*);
- II. антиреволюционные (*капитализм, контрреволюция, оборона, антисоветский, социал-демократы, меньшевики, бог, церковь, богатые, интервенция, саботаж, гражданская война, фашисты*);
- III. национальные (*отечество, патриотизм, враг, агрессия, политика мира, безопасность, на страже, благополучие*);

³⁵ Перевод статьи см. в [Якобсон, Лассвелл 2007: 121–141].

- IV. универсальные (*интернациональный, интернационализм, человечество, мировая революция*);
- V. внутривополитические (*пятилетка, производство, труд, колхозы, совхозы, фабрики, соревнование, коллективизация, стахановское движение, профсоюзы, внутренний враг, фронт, тыл*);
- VI. внешнеполитические (включают большинство национальных символов, а также названия зарубежных стран, фигурирующих в лозунгах);
- VII. символы социальных групп (*пролетариат, рабочие, крестьяне, город, деревня, красноармейцы, коммунистическая молодежь, интеллигенция, беспартийные, нэпманы, буржуазия, богачи, кулаки*);
- VIII. персоналии (*Ленин, Маркс, Либкнехт, Колчак, Зиновьев, Пуанкаре, Бухарин, Гитлер*);
- IX. прежние либеральные символы (*братья, сестры, граждане, патриотизм, идеал, честь, верность, герои, долг, народ, смерть*);
- X. моральные (повторяют предыдущий список за вычетом символов с явной политической окраской типа *гражданин* или *прогрессивный*; ср. *солидарность, дисциплина, пример, непримиримость, справедливость*);
- XI. символы действия (*борьба, инициатива, энтузиазм, победный, успех, да здравствует!, долой..!*).

Самой заметной тенденцией в использовании перечисленных типов символов в первомайских лозунгах на протяжении обозначенного периода является снижение частоты универсально-революционных символов и, напротив, рост частоты национальных. На рис. 4 изображена динамика изменения относительной частоты встречаемости обеих групп (равна абсолютной частоте, разделенной на общее число соответствующих символов). Нетрудно заметить, что относительная частота универсально-революционных символов, в 1919 г. превышавшая отметку 12, к 1943 г. упала ниже единицы. Напротив, относительная частота национальных символов, не достигавшая единицы в 1920 г., к 1942 г. выросла до 7.

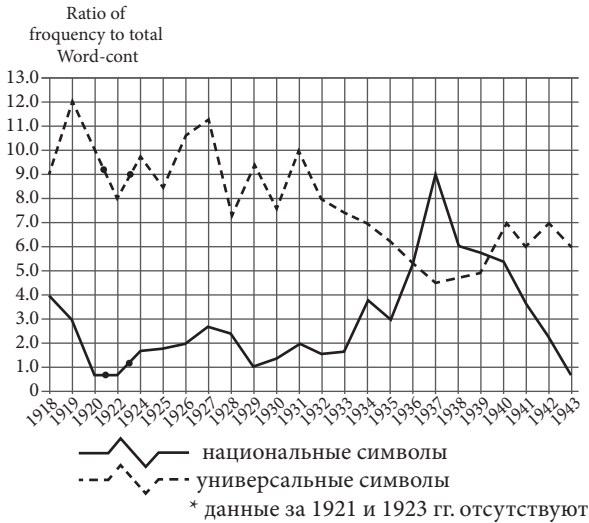


Рис. 4. Национальные и универсальные символы в первомайских лозунгах [Yakobson, Lasswell 1965: 243]

Приведенные цифры свидетельствуют о смещении внимания от общеполитической повестки к делам своей страны. Этот вывод подкрепляется и общим ростом (несмотря на резкие колебания) относительной частоты символов внутренней политики на фоне ослабления внимания к врагам революции и, соответственно, уменьшения использования антиреволюционных и универсальных символов (рис. 5). Получается, что та система символов, во имя которой совершалась революция, сменилась возвратом к традиционным политическим ценностям. Этот процесс был обусловлен обстановкой в мире: ожидания, связанные с мировой революцией, не оправдались, и правящая верхушка, вместо того чтобы обращаться к пролетариям поверх государственных границ, была вынуждена налаживать связи с другими странами. Успешное ведение внешней политики требовало не акцентировать идеологические расхождения. В то же время нужно было укреплять внутреннюю солидарность, отсюда — выделение территориальных и культурных отличий через символы, связанные с землей, страной, народом, экономическими достижениями и национальной историей [Yakobson, Lasswell 1965: 245, 249].

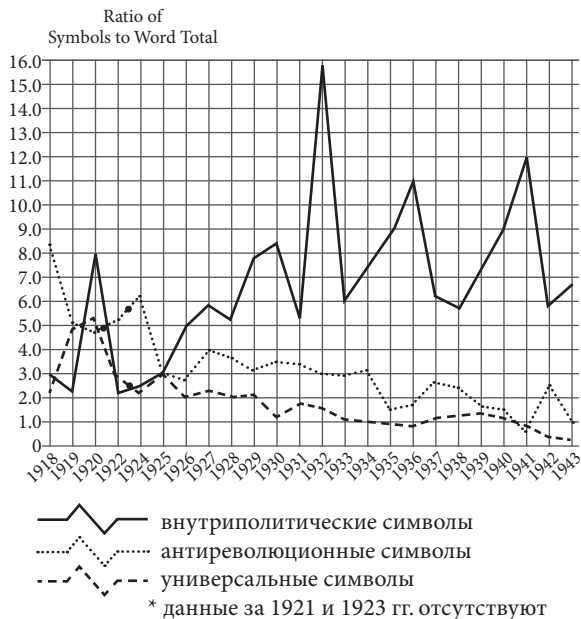


Рис. 5. Внутриполитические, антиреволюционные и универсальные символы в первомайских лозунгах [Yakobson, Lasswell 1965: 244]

Сравнительный анализ частот употребления символов по разным группам и годам дает основания также говорить о небольшом, хотя и стабильном, росте употребления прежних либеральных и моральных символов (рис. 6).

Год	Группы символов											Всего
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1918	8	9	3	2	3	4	12	0	2	2	6	51
1919	22	12	3	11	5	5	34	6	2	1	9	110
1920	7	7	1	8	12	2	9	2	3	1	3	55
1922	16	15	1	8	6	10	29	7	5	0	18	115
1924	22	17	4	6	7	21	43	3	0	0	19	142
1925	39	18	5	18	19	24	76	5	8	2	32	244
1926	43	12	4	9	22	19	62	6	4	2	18	201
1927	45	19	11	11	28	32	43	5	3	2	25	224
1928	38	24	11	13	34	21	74	4	5	2	19	245

Группы символов												
Год	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Всего
1929	79	32	7	22	80	17	112	11	2	4	38	402
1930	81	39	7	12	93	17	117	10	9	8	39	432
1931	65	24	7	12	38	15	63	9	8	7	28	274
1932	69	24	8	12	122	20	64	13	7	6	32	377
1933	90	38	17	13	77	23	104	12	11	17	50	452
1934	60	27	25	8	63	29	102	10	11	10	44	391
1935	93	19	25	11	119	17	161	24	19	21	46	555
1936	76	21	45	9	135	29	159	10	20	21	50	578
1937	53	15	17	6	35	19	53	9	16	8	32	263
1938	53	18	23	9	44	20	82	17	21	10	41	338
1939	37	10	23	8	46	15	62	12	16	5	43	277
1940	38	8	27	6	52	14	84	10	11	6	38	294
1941	36	4	22	5	78	6	83	10	8	6	43	301
1942	35	24	52	3	55	81	120	11	30	8	44	493
1943	34	22	49	2	84	81	133	13	16	11	48	493

Рис. 6. Частота употребления разных групп символов
[Yakobson, Lasswell 1965: 246]

На протяжении рассматриваемого периода меняется и стиль лозунгов. Авторы выделяют шесть стилистических видов лозунгов (статистика их использования в разные годы показана на рис. 7), ср.:

- А. ожидание, оно же описание (*1 Мая — праздник трудящихся*);
- В. одобрение (*Да здравствует коммунистическая партия!*);
- С. обвинение (*Долой армии империализма!*);
- Д. предостережение (*Будьте бдительны! Враг не дремлет!*);
- Е. адресация (*Рабочие, крестьяне, красноармейцы...*);
- Ф. самоидентификация (*Коммунистическая партия — партия рабочего класса, партия Ленина*).

	А	В	С	Д	Е	Ф
1918	6,0 %	4,0 %	3,0 %	1,0 %	2,0 %	3,0 %
1919	9,4	2,6	0,9	3,4	1,7	1,7
1920	12,7	0,7	0	2,7	3,3	2,0
1922	4,2	3,9	1,8	3,2	2,1	0,7

	A	B	C	D	E	F
1924	2,6	5,5	1,5	3,6	2,6	1,5
1925	1,5	3,6	1,5	2,3	2,5	0,5
1926	3,8	3,3	1,8	6,4	4,7	1,8
1927	4,8	2,9	1,2	4,2	1,2	4,2
1928	4,0	1,5	0,5	4,2	1,4	3,1
1929	3,3	2,1	0,2	5,1	1,1	1,1
1930	2,0	2,7	1,2	5,2	1,1	2,7
1931	1,1	4,3	0,9	3,8	0,7	3,1
1932	2,1	2,1	0,8	3,4	1,2	3,2
1933	1,9	2,7	0,6	3,9	0,2	2,1
1934	1,7	3,4	0,5	5,7	0,3	4,9
1935	1,1	4,3	0,2	6,1	0,2	5,5
1936	1,2	3,8	0,2	6,1	0,2	5,5
1937	1,1	5,7	0,4	3,7	0,7	1,9
1938	1,4	4,8	0,1	3,9	0,4	3,7
1939	0,8	5,9	0	4,2	0,3	4,5
1940	0,4	5,5	0	4,6	0,7	5,1
1941	0,6	4,3	0	5,3	0,6	7,1
1942	0,9	2,6	0,5	6,6	0,2	8,6
1943	0,6	2,2	0,4	7,3	0,1	8,5

Рис. 7. Частота употребления разных стилистических типов лозунгов
[Yakobson, Lasswell 1965: 249]

В своих комментариях к полученным результатам [Yakobson, Lasswell 1965: 252–253] авторы отмечают ряд тенденций. В частности, обращает на себя внимание выраженный рост числа адресаций: от 0,5 % в 1925 г. до 8,6 % в 1942 г. (см. рис. 8). Якобсон и Лассвелл объясняют его тем, что в первые годы многие слои населения были явно или скрыто настроены против советской власти; по мере упрочения ее позиций и складывания новой структуры общества стало возможным более четко различать классы и группы населения и обращаться к ним по отдельности.

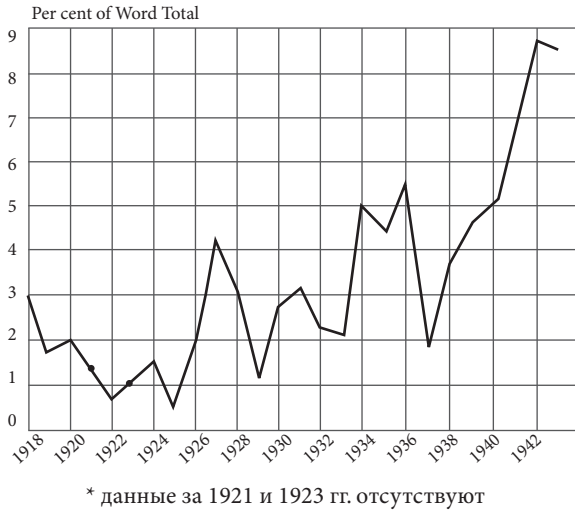


Рис. 8. Динамика частоты адресаций [Yakobson, Lasswell 1965: 247]

Рост показателей наблюдается и в группе предостережений (рис. 9): их число увеличивается от 1 % в 1918 г. до 7,3 % в 1943 г. Возможно, это связано со стремлением преодолеть растущую индифферентность народа.

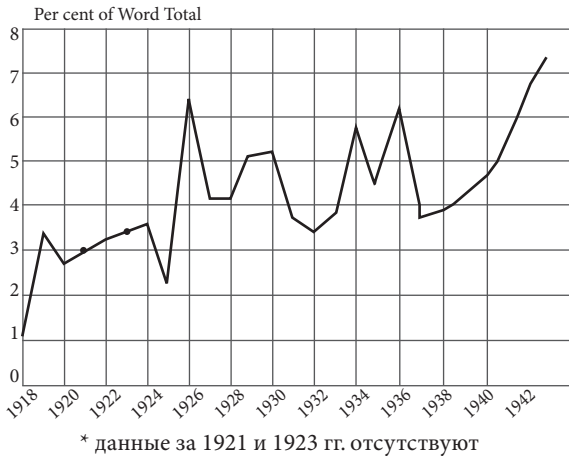


Рис. 9. Динамика частоты предостережений [Yakobson, Lasswell 1965: 248]

Употребление лозунгов, выражающих одобрение, не демонстрирует выраженной тенденции на протяжении всего периода, но примечателен рост их частоты в 1937–1940 гг. Интересно, что в критических ситуациях, как, например, в 1941 г., роста не происходит: поддержка считается само собой разумеющейся.

Обвинения в целом имеют низкую частотность, последовательно уменьшающуюся от своего максимального значения 3% в 1918 г. Невысокий исходный показатель и тенденция к еще большему его снижению свидетельствуют, по мнению авторов, о наступлении и укреплении эпохи созидания, вытесняющей идею разрушения старого мира [Yakobson, Lasswell 1965].

Ожидания (описания) достигают пика 12,7% в 1920 г. и далее идут на спад: начиная с 1939 г. их процентное выражение составляет меньше 1. Этот тип лозунгов призван объяснять народу новое положение дел. Естественно, что по мере укрепления власти ситуация сама собой проясняется, и соответствующая потребность отпадает.

Наконец, самоидентификации, достигнув максимума 4,7% в 1926 г., фактически сходят на нет к концу рассматриваемого периода. Динамика показателей здесь схожа с предыдущим случаем и обусловлена тем же фактором. Если в первые годы советская власть испытывала острую необходимость в самоопределении, то позднее эта нужда постепенно сошла на нет.

Подводя итог исследованию тенденций в использовании различных групп символов и стилистических типов лозунгов, авторы подчеркивают, что ни в одном из рассмотренных случаев не наблюдается поступательного однонаправленного движения, будь то рост или падение. Для политики вообще характерно зигзагообразное развитие, и контент-анализ коммунистических лозунгов это лишний раз подтверждает [Ibid.: 249].

Полученные результаты, по мнению авторов, позволяют разделить временной промежуток 1918–1943 гг. на шесть периодов [Ibid.: 250]:

1. 1918–1920: революция, интервенция, гражданская война;
2. 1921–1925: реконструкция
3. 1926–1929: индустриализация;

4. 1930–1934: коллективизация сельского хозяйства;
5. 1935–1938: «победивший социализм», новая конституция;
6. 1939–1943: репрессии и война

Частотное ранжирование групп символов по периодам представлено ниже (рис. 10). Оно показывает уже отмеченные тенденции последовательного убывания универсальных и антиреволюционных символов на фоне увеличения числа национальных и внутриполитических символов. Показательно, что своих максимальных показателей последние достигают в кризисный период 1939–1943 гг. Прежние либеральные символы делают скачок с 10-го на 7-е место в 1935–1938 гг. и остаются там и на следующем этапе. В целом результаты статистического анализа показывают более выраженный разрыв между четвертым и пятым периодами, чем между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым. Пятый период имеет больше общих черт с первыми четырьмя периодами, чем шестой (выражаясь языком статистики, корреляции пятого периода с предшествующими интервалами более высоки) [Jakobson, Lasswell 1965.: 250, 252].

(1) 1918–1920	(2) 1921–1925
1. Символы социальных групп	1. Символы социальных групп
2.5. Революционные символы	2. Революционные символы
2.5. Антиреволюционные символы	3. Символы действия
4. Внутриполитические символы	4. Внешнеполитические символы
5. Символы действия	5. Антиреволюционные символы
6. Универсальные символы	6. Внутриполитические символы
7. Внешнеполитические символы	7. Универсальные символы
8.5. Персоналии	8. Персоналии
8.5. Прежние либеральные символы	9.5. Национальные символы
10. Национальные символы	9.5. Прежние либеральные символы
11. Символы морали	11. Символы морали

(3) 1926–1929	(4) 1930–1934
1. Символы социальных групп	1. Символы социальных групп
2. Революционные символы	2.5. Революционные символы
3. Внутриполитические символы	2.5. Внутриполитические символы
4. Внешнеполитические символы	4. Символы действия
5. Символы действия	5. Антиреволюционные символы
6. Антиреволюционные символы	6. Внешнеполитические символы
7. Универсальные символы	7. Универсальные символы
8. Национальные символы	8. Персоналии
9. Персоналии	9. Национальные символы
10. Прежние либеральные символы	10. Прежние либеральные символы
11. Символы морали	11. Символы морали
(5) 1935–1938	(6) 1939–1943
1. Символы социальных групп	1. Символы социальных групп
2. Революционные символы	2. Внутриполитические символы
3. Внутриполитические символы	3. Символы действия
4. Символы действия	4. Национальные символы
5. Национальные символы	5. Революционные символы
6. Внешнеполитические символы	6. Внешнеполитические символы
7. Прежние либеральные символы	7. Прежние либеральные символы
8. Антиреволюционные символы	8. Персоналии
9. Персоналии	9. Антиреволюционные символы
10. Символы морали	10. Символы морали
11. Универсальные символы	11. Универсальные символы

Рис. 10. Частотное ранжирование групп символов по периодам [Yakobson, Lasswell 1965: 251].

Важной составляющей рассматриваемой статьи является подробное (по периодам) описание динамики политической ситуации в Советской России, призванное интерпретировать полученные данные. В этой, заключительной, части статьи авторы показывают тесную связь между советской внешней и внутренней политикой, с одной стороны, и семантико-стилистическими особенностями лозунгов — с другой. Тем самым они стремятся подчеркнуть обоснованность метода контент-анализа, его пригодность в качестве инструмента изучения политической жизни общества.

Критика контент-анализа

Выше уже отмечался основной недостаток контент-анализа — его неспособность обнаруживать смыслы, не выраженные явно и однозначно. Неслучайно рассмотренная выше статья [Yakobson, Lasswell 1965], являющаяся убедительным примером преимуществ этого метода, выполнена на материале политических лозунгов — жанра, предполагающего максимальную эксплицитность и недвусмысленность.

Применение контент-анализа также несет в себе опасность «за деревьями не увидеть леса». Сборник, из которого взяты рассмотренные выше статьи, содержит, в частности, работу А. Минца, посвященную методологическим вопросам построения репрезентативной выборки [Mintz 1965]. Это исследование выполнено на материале заголовков газеты «Правда» за период с апреля по сентябрь 1941 г. Излишне напоминать, что именно на этот временной промежуток приходится дата начала Великой Отечественной войны (22 июня), перевернувшей жизнь нашей страны и ставшей для нее тяжелейшим испытанием. Однако (и в это трудно поверить!) в статье об этом не сказано ни слова.

Автор выделяет 10 содержательных типов заголовков статей (такие как «Коммунистическая партия», «Красная Армия», «профсоюзы», «новости из-за рубежа», «советская культура» и пр.). В работе анализируются актуальные вопросы, связанные с отбором материала, а именно: каким образом следует отбирать выпуски газет (за несколько дней подряд, или через день, или через пять дней, или вообще случайным образом), какие статистические методы

лучше подходят для обработки материала, какова природа возникающих при этом погрешностей и т. д. Этим содержание данной публикации исчерпывается.

Даже если принять во внимание, что рассматриваемое исследование касается исключительно технических аспектов контент-анализа, все равно остаются вопросы, связанные с выбором именно этого материала. Трудно предположить, чтобы удельный вес различных типов заголовков после начала войны остался прежним (наверняка стало больше заголовков, относящихся к категории «Красная Армия», а, скажем, публикации под рубрикой «советская культура», скорее всего, резко уменьшились в числе, если вовсе не сошли на нет). Автор либо предпочел это намеренно не замечать (и тогда встает вопрос о его научной добросовестности), либо выбранная методика перемен не показала (в таком случае возникают резонные сомнения в ее валидности).

Приложение 2. Структурно-семантический анализ отдельных жанров

Морфология волшебной сказки (В. Я. Пропп)

Знаменитая книга Владимира Яковлевича Проппа «Морфология сказки» (1928), помимо того что принадлежит к наиболее популярным исследованиям по фольклористике, является одним из самых ранних (и наиболее известных) опытов применения идей структурализма в литературоведении. Когда в 1958 г. книга была переведена на английский, а затем и на другие языки, она оказалась удивительно созвучна европейскому (в особенности французскому) научному контексту и имела огромный резонанс. Работа тридцатилетней давности воспринималась как свежее слово в науке. Р. Барт пророчески заявил, что «исследования русской формальной школы, в частности, изыскания Проппа в области славянской народной сказки <...>, возможно, откроют в будущем путь к анализу “повествовательных текстов” — от газетной хроники до массового романа» [Барт 1989: 250]. И действительно, под влиянием этой книги в 1970-е гг. во Франции сложилась оригинальная школа нарративного анализа, прославившаяся своими работами по изучению структуры повествования (ср. исследования К. Бремона, Ц. Тодорова, А. Греймаса и др.).

Справедливо замечено, что книга В. Я. Проппа «намного опередила структурно-типологические исследования на Западе» [Мелетинский 1969: 138]. Расцвет структурализма и семиотики во Франции пришелся на 50–60-е гг. XX в. Знаменитое исследование К. Леви-Стросса «Структурная антропология» [Леви-Стросс 1983] вышло в свет в том же 1958 г., когда появился английский перевод «Морфологии сказки». Прочитав его, Леви-Стросс был поражен сходством некоторых основных положений с собственными мыслями о структуре мифов, ср.: «В работе Проппа, прежде всего, поражает то, с какой мощью он предвосхитил последующие исследования» [Леви-Стросс 1985: 18].

Высокая оценка труда Проппа не помешала, правда, Леви-Строссу высказать ряд критических замечаний. Позиционируя

себя в русле структурализма, Леви-Стросс воспринимал Проппа как формалиста: ему казалось, что тот отрывает форму от содержания, пренебрегает этнографическим контекстом. Этот упрек может быть объяснен только незнакомством Леви-Стросса с более поздней книгой Проппа «Исторические корни волшебной сказки» (1946). «Морфология сказки» как синхроническое исследование было лишь первой частью задуманного масштабного сравнительно-исторического исследования: его продолжением стала книга «Исторические корни волшебной сказки», которая как раз восполняет исторический и этнографический контекст. Следует заметить, что сам Пропп позднее причислял себя к структуралистам (цит. по [Таршис 2012: 41]), хотя в «Морфологии сказки» об этом нет ни слова.

Схематизм сказочных сюжетов отмечал еще А. Н. Веселовский в своей работе «Поэтика сюжетов» (приложении к книге «Историческая поэтика») и там же ставил задачу их описания. Пропп, комментируя свои исследования, заключал: «Таким образом, требование Веселовского о необходимости построить морфологию сказки было частично выполнено» [Пропп 2000: 106]. При этом он полагал, что более правильным было бы говорить не о морфологии, а о синтаксисе сказки [Там же: 223]. Действительно, наибольшее внимание Пропп уделял сюжету и ходу повествования, а действующие лица трактовались как морфологическая основа сюжета.

На первых страницах «Морфологии сказки» В. Я. Пропп энергично полемизирует с предшественниками, считавшими мотив и сюжет неразложимыми единицами, что неизбежно приводило к атомистичности их концепций. Пропп показал делимость и мотивов, и сюжетов. Более того, специфика волшебной сказки оказалась заключенной не в мотивах, поскольку не все, но многие сходные мотивы можно найти и в других жанрах. Автор отказался от изучения по мотивам в пользу изучения по функциям (см. ниже), что дало возможность перейти от атомизма к структурализму [Мелетинский 1969: 135–137].

Отправной точкой в исследовании Проппа стало двоякое качество сказки, «с одной стороны, ее поразительное многообразие, ее пестрота, красочность, с другой — ее не менее поразительное одно-

образе, ее повторяемость»³⁶ [Пропп 1969: 24]. Автор объяснял эту двойственность сочетанием в сказке постоянных и переменных элементов, а на уровне морфологических процессов — действием инвариантности и трансформации.

Основное внимание в работе Проппа уделялось поступкам персонажей сказки, а не самим персонажам как таковым. Автор неоднократно подчеркивал этот момент, ср.: «Меняются названия (а с ними и атрибуты) действующих лиц, не меняются их действия, или *функции*³⁷. Отсюда вывод, что сказка нередко приписывает одинаковые действия различным персонажам. Это дает нам возможность изучать сказку по функциям действующих лиц» <курсив автора> [Там же: 23]. И далее:

Для изучения сказки важен вопрос, что делают сказочные персонажи, а не вопрос, кто делает и как делает, — это вопросы уже только привходящего изучения <...>. Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются. Они образуют основные составные части сказки [Там же: 24–25].

Функция — это поступок действующего лица, «определяемый с точки зрения его значимости для хода действия» [Там же: 25]. Это означает, что необходимо принимать во внимание не только сам поступок, но и его положение в ходе повествования. Таким образом, структуралистские установки автора совершенно очевидны.

Пропп выделил 31 функцию, в числе которых отлучка, запрет, нарушение, выведывание, подвох, пособничество, вредительство, посредничество, получение волшебного средства, пространственное перемещение, борьба, победа, преследование, спасение и др.

³⁶ Не последнюю роль в том, что это противоречие обратило на себя внимание исследователя, сыграл тот факт, что в сборнике народных русских сказок А. Н. Афанасьева (которым пользовался Пропп) сказки были сгруппированы по сюжету; таким образом, ситуативная инвариантность была хорошо заметна.

³⁷ Для тех, кто знакомился с книгой Проппа в 1950–1960-е гг., слово *функция* стало своего рода сигналом, маркером ее принадлежности к структуралистской традиции.

Содержание любой сказки, по мысли автора, может быть без остатка представлено в виде некоторой последовательности функций, следующих друг за другом в фиксированном и неслучайном порядке.

Существуют определенные группировки функций, создающие сложную структуру повествования и отношений персонажей, ср.:

Мы видим, что очень большое количество функций расположены попарно (запрет — нарушение, выведывание — выдача, борьба — победа, преследование — спасение и т. д.). Другие функции могут быть расположены по группам. Так, вредительство, отсылка, решение противодействовать и отправка из дома <...> составляют завязку. Испытание героя дарителем, его реакция и награждение <...> также составляют некое целое. Наряду с этим имеются единичные функции (отлучка, наказание, брак и др.) [Пропп 1969: 60].

Ограничения на формы связи одной функции с другой фактически означают ограничения на свободу творчества сказочника.

Функции всегда следуют одна за другой в одном и том же порядке, хотя в каждом конкретном произведении какие-то из них могут быть пропущены. Последовательность функций в конкретном сюжете, представленную в специальных буквенных обозначениях, Пропп называет схемой сказки.

Действующим лицам Пропп уделяет меньше внимания, чем функциям. Всего их семь (названия варьируются):

1. антагонист (вредитель),
2. даритель,
3. помощник,
4. царевна (искомый персонаж) и ее отец,
5. отправитель,
6. герой,
7. ложный герой.

В своих последующих работах Пропп развивал мысль о трансформациях сказки. Трансформации могут затрагивать все элементы содержания сказки: облик персонажей, их качества, связь и последовательность расположения элементов, полноту представления набора элементов — и приводить к изменению сюжета, появлению новых сказок. По его мнению, все волшебные сказки

путем трансформаций произошли из какой-то одной; в качестве такой генетической первоосновы он рассматривал сказку о похищении змеем царевны.

Основное достижение Проппа, обеспечившее многоплановое развитие его начинаний учеными разных стран, заключается в мысли о существовании двух уровней текста — явного, собственно повествовательного, где персонажи могут иметь разные имена и воплощения, и неявного, глубинного, на котором внешнее многообразие существенно сокращается, сводясь к конечному набору типов действующих лиц и их поступков. На явном уровне текста мы имеем дело с величинами переменными, а на глубинном — с постоянными.

Усилия автора были направлены на описание глубинного (инвариантного) уровня русской сказки: выделение набора единиц (персонажей), их действий (функций), а также выявление возможных трансформаций. Важнейшими достижениями являются сформулированные им законы жанра, ср.:

1. Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются.
2. Число функций, известных волшебной сказке, ограничено.
3. Последовательность функций всегда одинакова.
4. Все волшебные сказки однотипны по своему строению [Пропп 1969: 25–26].

Книга Проппа получила интересное продолжение в попытке создания автоматической системы, порождающей структуры волшебных сказок [Гаазе-Рапопорт и др. 1980]. Общая структура поверхностного уровня волшебной сказки описывается в виде трех последовательных блоков: «Экспозиция» — «Тело» — «Постпозиция». Строение каждого блока изображено схематически, с учетом возможных вариантов [Там же: 9–10]. Основными элементами глубинной структуры являются «Действующие лица» (число и характер которых незначительно отличается от списка Проппа), «Поступки» (типичные действия персонажей) и «Встречи». Характер Встреч определяется тем, какие действующие лица вступают

в контакт; всего выделяется 27 типов Встреч. Из этого инвентаря строится сюжетная схема сказки, которая иллюстрируется на примере сказки «Сивко-Бурко» [Гаазе-Рапопорт и др. 1980: 13–17].

Возвращаясь к Проппу, следует отметить существенное отличие философских предпосылок его исследований от теоретического фундамента работ Лассвелла (см. Приложение 1 к настоящей главе). Лассвелл подходил к анализу материала с заранее заданными, априорными категориями, преследуя цель построить частотную модель. Пропп же был сторонником феноменологического подхода, предполагающего постепенное «вживание» в массив анализируемого текста, выявление модели (нечастотной) в результате анализа содержания, ориентацию на обнаружение изначально неизвестных элементов и структур, на создание структурной типологии текстов. В силу ряда причин построить исчерпывающую структурную типологию волшебных сказок как жанра ему не удалось (подробнее см. [Таршис 2012: 86 и сл.]).

Анализ басен Эзопа (М. Л. Гаспаров)

Структурно-семантический анализ басен Эзопа представлен во вступительной статье Михаила Леоновича Гаспарова к соответствующему сборнику, впервые изданному в 1968 г., в котором он же выступает в качестве переводчика и автора примечаний.

Автор начинает свою статью с рассуждений о личности Эзопа и о роли басни в античном обществе. Единственные надежные, хотя и скудные, исторические сведения об этом человеке восходят к Геродоту, который считал «баснописца Эзопа» лицом, заведомо известным читателям, и сообщал о нем три факта: во-первых, жил Эзоп в первой трети VI в. до н. э.; во-вторых, жил он на Самосе и был рабом некоего Иадмона; в-третьих, был он за что-то убит в Дельфах. Здесь факты кончаются, и начинаются легенды, причем каждый из намеченных Геродотом мотивов получает богатое развитие.

На основании древних легенд о человеке с таким именем был создан дошедший до нас греческий текст — позднеантичный роман «Жизнеописание Эзопа». Впрочем, безымянного автора этого про-

изведения более привлекала личность Эзопа — мудреца, шутника, — нежели его басни. Поэтому «Жизнеописание» не дает никакого материала, чтобы судить о месте Эзопа в истории басни.

В то же время под именем Эзопа сохранился сборник басен в прозаическом изложении. Этот древнейший доступный нам басенный свод (так называемый основной эзоповский сборник) датируется I–II вв. н. э. и включает 244 басни. Имеются также басни из отдельных рукописей эзоповского сборника, из отдельных античных авторов и др., так что суммарно материал исчисляется 430 баснями. Однако Гаспаров ограничивается рассмотрением басен из «основного эзоповского сборника».

Со времен античности басню принято определять как «вымышленный рассказ, являющий образ истины». Важная особенность рассматриваемого жанра заключается в том, что эта «истина» (идейное содержание) не остается скрытой в образах и мотивах, а явно формулируется в морали. Исходя из смыслового типа морали, Гаспаров разбивает эзоповские басни на несколько групп. Для каждой группы формулируется общая мораль и более частные компоненты содержания, снабженные отсылками к конкретным басням (по номерам из эзоповского сборника). Перечислим эти группы (отсылки к басням опущены) [Гаспаров 2011: 26–27]:

1. В мире царит зло. В центре внимания — «дурной человек», который творит зло и будет творить зло, несмотря ни на что. Исправить его невозможно; он может изменить свой вид, но не нрав. Его можно только бояться и сторониться. Дурному человеку никогда не стать хорошим, а хороший сплошь и рядом становится дурным.
2. Судьба изменчива, и меняется она обычно только к худшему. От судьбы не уйдешь, поэтому человек должен уметь применяться к обстоятельствам и всегда помнить, что в любой момент они могут измениться. Удачи не стоят радости, а неудачи — печали: все преходяще, и ничто не зависит от человека.
3. Видимость обманчива. За хорошими словами часто кроются дурные дела, за величавым видом — ничтожная душа. Люди хвастаются, что могут делать чудеса, а не способ-

ны на самые простые вещи. Те, на кого надеешься, могут погубить, а те, кем пренебрегаешь, — спасти. Поэтому надо уметь узнавать дурных и под личиной, лицемеров сторониться, а для себя желать благ не показных, а внутренних.

4. Страсти пагубны, потому что они ослепляют человека и мешают ему различать вокруг себя за видимостью сущность. Самая пагубная из страстей — алчность, она делает человека неразумным и опрометчивым, заставляет его бросать надежное и устремляться за ненадежным. За алчностью следует тщеславие, толкающее человека к нелепому бахвальству и лицемерию, затем — страх, заставляющий человека бросаться из огня в полымя, затем — сластолюбие, зависть, доверчивость и другие страсти.
5. Самое лучшее в жизни — довольствоваться тем, что есть, и не посягать на большее. Не надо искать того, что не дано от природы. Нелепо соперничать с теми, кто лучше или сильнее тебя. Каждому человеку дано свое дело, и каждому дело — свое время.

Таковы основные группы моралей сборника, имеющие более или менее общее содержание. Кроме того, как отмечает Гаспаров, ряд моралей имеет более узкое приложение, затрагивая дела семейные, профессиональные, хозяйственные, общественные, политические, религиозные [Гаспаров 2011: 27–28].

В целом общая идейная концепция эзоповской басни сводится к следующему:

В мире царит зло; судьба изменчива, а видимость обманчива; каждый должен довольствоваться своим уделом и не стремиться к лучшему; каждый должен стоять сам за себя и добиваться пользы сам для себя <...>. Практицизм, индивидуализм, скептицизм, пессимизм — таковы основные элементы, из которых складывается басенная идеология [Там же: 28].

Эзоповские басни пронизаны идеей незыблемости мирового порядка. Именно она определяет их структурную схему, которую можно сформулировать так: «Некто захотел нарушить положение

вещей так, чтобы ему от этого стало лучше; но когда он это сделал, оказалось, что ему от этого стало не лучше, а хуже». В этом духе (с небольшими вариациями), по утверждению Гаспарова, выдержано около трех пятых всех басен основного эзоповского сборника [Гаспаров 2011: 29].

Структурная схема басни почти всегда одна и та же — четырехчастная: экспозиция, замысел, действие, результат. Вот некоторые примеры:

Орел унес из стада ягненка [экспозиция]; галка позавидовала и захотела сделать то же самое [замысел]; бросилась на барана [действие]; но запуталась в шерсти и попаласть пастуху в руки [результат]. Верблюд увидел, как бык чванится своими рогами [экспозиция]; позавидовал ему [замысел]; стал просить у Зевса рогов для себя [действие]; но в наказание и ушей лишился [результат]. Рыбаки тянули сеть [экспозиция]; радовались, что она тяжелая [замысел]; вытащили ее [действие]; а она оказалась набита песком и камнями [результат]. Крестьянин нашел змею [экспозиция]; пожалел ее [замысел]; отогрел [действие]; а она его и ужалила [результат]. Волк услышал, что нянька грозила выкинуть младенца волку [экспозиция]; поверил ей [замысел]; долго ждал исполнения угроз [действие]; но остался ни с чем [результат].

Нетрудно заметить, что меняются только мотивы в «замысле»: для галки это — жадность, для верблюда — тщеславие, для рыбаков — радость, для крестьянина — жалость, для волка — доверчивость. Чаще всего в качестве мотивов выступают жадность и тщеславие, затем самосохранение (страх); остальные мотивы единичны [Там же].

Конечно, эта структурная схема может слегка варьироваться, да и не все басни связаны с обязательным утверждением незыблемости мирового порядка. Но басни-исключения немногочисленны и своим многообразием лишь оттеняют единство основного басенного сюжетного типа [Там же: 30–31].

Постоянство и четкость структурной схемы обуславливают то, что индивидуальные особенности персонажей неважны. Баснописца они интересуют не сами по себе, а как носители сюжетных

функций (прямая аналогия с действующими лицами у Проппа — см. выше). Примечательно, что функции могут одинаково легко поручаться чуть ли не любому животному. Так, можно выделить басни-близнецы с одинаковым сюжетом и разными персонажами: скажем, в одной басне это волк и ягненок, а в другой — ласка и петух. При такой легкой взаимозаменяемости круг персонажей эзоповских басен оказывается широк и пестр, насчитывая около 80 видов животных, около 30 человеческих профессий (охотник, кожевник, мясник, атлет...), около 20 богов и мифологических фигур. В среднем в каждой второй басне выступает какой-то новый персонаж.

Интересно также, что один и тот же персонаж не сохраняет свой характер при переходе из одной басни в другую: к примеру, лиса может оказаться в одной басне умна, а в другой глупа. Образ персонажа очерчивается в каждой басне только применительно к описываемой ситуации и сюжетным функциям, без оглядки на все остальные басни. Персонажи басни — фигуры вполне условные. Их характеристики не соотносятся с зоологическими фактами: так, лев с ослом вместе охотятся и делят добычу [Гаспаров 2011: 31–32].

Стиль басен сух и прямолинеен. Басня всегда производит впечатление краткости — она останавливается только на главных моментах, не отвлекаясь на подробности, эмоции, описания. Эзоповские басни написаны обычным разговорным языком греков I–II вв. н. э., потому что составитель заботился об их ясности и общедоступности. В них много глаголов и мало прилагательных, так как это рассказ о действии, а не о лицах и обстановке. Встречаются устойчивые формулы: так, заключительные реплики вводятся словами *Подделом мне...* или *Несчастный я...*, а мораль начинается со слов *Басня показывает, что...* или *Эту басню можно применить к...* [Там же: 33].

Нетрудно заметить, что исследование М. Л. Гаспарова выдержано в духе идей структурализма. Автор осуществляет детальный структурно-семантический анализ текста басен. Исходя из их содержания, он разделяет весь корпус басен на несколько групп — в соответствии со смысловым типом заключенной в них морали. Из отдельных видов морали слагается обобщенная идейная

концепция эзоповских басен. Автор выявляет характерную композиционную схему басни из четырех элементов, типичные мотивировки персонажей и анализирует языковые особенности басни, в частности обращая внимание на повторяющиеся клише.

Тематика и композиция русского анекдота
(Е. Я. Шмелёва, А. Д. Шмелёв)

Книга Елены Яковлевны и Алексея Дмитриевича Шмелёвых посвящена исследованию особого речевого жанра — русских анекдотов 60–90-х гг. XX в. Авторы стремятся определить, какова языковая специфика анекдота, в чем заключается умение понимать и самому рассказывать анекдоты и почему оно не сводится к знанию русского словаря и грамматики [Шмелёва, Шмелёв 2002].

По мнению авторов, кардинальное отличие современного анекдота от внешне похожих жанров (баек, юмористических историй, бытовых сказок, а также от литературных и исторических анекдотов) состоит в том, что это рассказ о том, чего на самом деле не было (и, как правило, не могло быть). В анекдотах персонажи свободно перемещаются во времени, попадают в фантастические ситуации, отличаются сверхъестественными способностями. Важно, что нереальность происходящего должна быть очевидна слушателям: в противном случае возможен вопрос: *Это анекдот или на самом деле всё было?* — и рассказчика постигает частичная коммуникативная неудача [Там же: 13–14].

С точки зрения лингвистики текста, анекдот удовлетворяет всем традиционно выделяемым критериям текстуальности. Он характеризуется связностью (как грамматической, так и смысловой), произносится говорящим с определенной целью (рассмешить слушателя), понятен слушателю (впрочем, понимание анекдота требует некоторого усилия), рассказывается к месту (в подходящей речевой ситуации) и имеет интертекстуальные связи с другими анекдотами. Нарушение любого из критериев текстуальности приводит к коммуникативной неудаче. Так, если анекдот рассказывается иностранцу, не знакомому с соответствующими персонажами, он не кажется ему смешным и тем самым нарушается коммуникативная цель данного речевого события [Там же: 26].

Современный русский анекдот можно определить как «короткий устный смешной рассказ о вымышленном событии с неожиданной остроумной концовкой, в котором действуют постоянные персонажи, известные всем носителям русского языка» [Шмелёва, Шмелёв 2002: 20]. Этот жанр возник в самом начале XX в., а широкое распространение получил два-три десятилетия спустя. В отличие от, скажем, французской или английской культур (где для анекдота даже нет специального названия, ср. франц. *histoire amusante* или англ. *joke*), в русской системе речевых жанров анекдот занимает свое особое место и обладает уникальными языковыми особенностями.

В композиционном плане практически обязательным для речевого жанра рассказывания анекдота является наличие «метатекстового» ввода — фразы наподобие *Слышал анекдот о..?; Кстати, знаете анекдот..?; Давай(те) расскажу анекдот...; А вот еще анекдот на эту тему* и т. д. Этот признак отличает рассказывание анекдота от речевого жанра шутки, которую невозможно предварить словами **Я сейчас пошучу*; только если адресат речи не понял, что сказанное было не всерьез, говорящий может уже *post factum* сказать что-то вроде *Шутка!; Да это я шучу; Я пошутил*. Таким образом, наличие «метатекстового» ввода, являющегося практически обязательным для анекдота, может служить критерием, позволяющим отграничить рассказывание анекдота от смежных речевых жанров³⁸. При этом «метатекстовый» ввод не принадлежит тексту самого анекдота [Там же: 29].

Говоря собственно о тексте анекдота, следует обратить внимание на его жестко заданную структуру. В норме она двухчастная: более длинный зачин, а затем короткий и неожиданный конец, заставляющий слушателя переинтерпретировать начало анекдота. В несоответствии начала и конца анекдота — его соль. Слушатель проходит две стадии: понимание несоответствия и нахождение

³⁸ В принципе, одна и та же история может рассказываться и в качестве анекдота, и в качестве какого-то смежного жанра (байки, истории «из жизни» и т. п.), но важно, что при этом текст определенным образом модифицируется, для того чтобы удовлетворять требованиям соответствующего жанра [Шмелёва, Шмелёв 2002: 109–110].

скрытого смысла — переинтерпретация текста. Впрочем, вторая стадия не является обязательной для всех анекдотов, так как несоответствие само по себе смешно. Умение понимать анекдоты требует определенных усилий, недаром дети учатся понимать анекдоты постепенно; ср. также фразу адресата *Дошло!*, сигнализирующую о том, что он, наконец, понял анекдот [Шмелёва, Шмелёв 2002: 131].

Анекдот — это ловушка: искушенный слушатель ждет подвоха, но все равно в нее попадает. Длинное начало усыпляет его бдительность и делает конец анекдота еще более неожиданным. Однако начало анекдота может быть очень коротким, ср. появившийся в начале 2000 г. анекдот: *Захотел Вовочка стать Президентом России. И стал.* Конец анекдота — всегда короткий, что усиливает эффект неожиданности.

Существуют стандартные зачины анекдотов, например: *Приходит муж домой...* В стандартных зачинах иногда допускается наличие переменных, ср.: *На необитаемом острове оказались X, Y и русский*, где в разных анекдотах вместо X и Y подставляются наименования представителей разных национальностей.

Интересной модификацией описанной структурной схемы являются анекдоты с началом, но без конца. Это нарушает ожидания слушателя, и он часто не понимает, в чем соль анекдота, и ждет продолжения. Тогда рассказчику приходится говорить *Всё*. Ср.: *Мерседес остановился на красный свет. — Ну и что? — Всё*. Само отступление от привычной схемы тоже создает комический эффект [Там же: 132–135].

Текст анекдота обнаруживает два языковых слоя: «текст повествователя» («слова от автора») и речь персонажей, — характеризующиеся совершенно разным языковым оформлением. «Текст повествователя» подчиняется жестким требованиям, которые, собственно, и обеспечивают восприятие текста именно как текста анекдота. Особенности речи персонажей задают отнесенность конкретного анекдота к тому или иному типу (анекдоты о Вовочке, о чукчах, о муже, жене и любовнике и др.). Рассмотрим каждый из этих слоев более подробно [Там же: 32–42].

В «тексте повествователя» почти исключительно используется настоящее время (а также прошедшее время глаголов совершенного

вида в результативном значении). Используя настоящее историческое, рассказчик как бы разворачивает действие перед глазами слушателя; этим анекдоты отличаются от забавных исторических рассказов («анекдотов» в старом смысле слова). Например: *Приходит муж домой с работы и видит...* или *Пришел муж домой с работы и видит...* Характерен также порядок слов начальных предложений «от автора». На первое место выносятся глагол, далее идет подлежащее, представляющее собой обозначение персонажа анекдота, а затем остальные члены предложения. Подавляющее большинство анекдотов начинаются именно таким образом, ср.: *Едет ковбой по прерии; Приходят ходоки к Ленину; Встречаются два чукчи в лесу; Поймал хохол зайца.*

Указанный порядок слов столь характерен для анекдота, что, наряду с «метатекстовым» вводом, служит отличительным признаком данного жанра. В тексте «от автора» совершенно невозможны такие зачины, как *Жил-был...*; *Один мой знакомый...*; *Однажды...*; *Вчера муж одной моей подруги...*; *Тут какой-то грузин заходил...* Персонажи анекдота не нуждаются в представлении, их число ограничено, и предполагается, что они известны всем носителям русского языка.

Переходя к рассмотрению речи персонажей, авторы отмечают, что современный городской анекдот характеризуется относительно постоянным набором действующих лиц (около четырех-пяти десятков). Это представители некоторых народов (*русский, американец, англичанин, француз, немец, китаец, негр, грузин, чукча, еврей*), политические деятели (*Брежнев, Хрущёв, Ленин, Держинский, Сталин, Берия* и др.), некоторые животные (*волк, лиса, медведь, заяц*), герои телевизионных фильмов и мультфильмов (*Штирлиц, Мюллер, Шерлок Холмс, Ватсон, Чапаев, Чебурашка, крокодил Гена*), а также такие персонажи, как *муж, жена, любовник, начальник, секретарша, Вовочка, учительница* и т. п.

Персонажи могут быть подразделены на главных и вспомогательных — последние никогда не фигурируют в анекдоте в качестве самостоятельных действующих лиц, ср. *Вовочка* и *Марья Ивановна, Штирлиц* и *Мюллер*. Особое место занимают «парные персонажи», которые практически всегда встречаются в анекдотах парами:

Шерлок Холмс и Ватсон, Чебурашка и крокодил Гена, Винни-Пух и Пятачок, Герасим и Муму, Василий Иванович и Петька. При парных персонажах также могут быть вспомогательные, ср. Анка при Василии Ивановиче и Петьке, Бэрримор при Шерлоке Холмсе и Ватсоне и т. д.

Многие персонажи имеют характерные речевые особенности (своего рода «языковые маски», по которым их узнают слушатели). Так, облик Ленина в анекдоте задается грассированием, использованием обращения *батенька*, прилагательных с приставкой *архи-* (не говоря об упоминании деталей внешнего облика — кепки, лысины, бородки). Фонетические особенности Брежнева имитируются в тех случаях, когда в анекдоте он с трудом читает публичную речь, плохо выговаривая слова и не понимая их смысла, отсюда появляются знаменитые *сиськи-масиськи* (вместо *систематически*) и *мы идем на говно...* (вместо *нога в ногу*). В анекдотах о Ельцине пародируются его излюбленные словечки с характерным произношением *тэк, шта, понимаиш*.

Особенно яркие речевые характеристики отличают персонажей анекдотов о представителях некоторых народов: грузин, чукчей, евреев, эстонцев (либо финнов), китайцев, японцев. Примечательно, что акцент других иностранцев (американцев, англичан, французов, немцев) в анекдотах, как правило, не имитируется; их принадлежность к той или иной культуре нередко обозначается путем добавления условных речевых сигналов, таких как обращение *сэр* в речи англичанина, междометия *о-ля-ля* и обращений *месье* и *мадам* в речи французов, междометия *яволь* в речи немцев и т. п. Для телевизионных героев заимствуются интонация и излюбленные словечки, ср. практически обязательную в анекдотах о Шерлоке Холмсе фразу *Элементарно, Ватсон!*

Речевые характеристики персонажей вкупе с особенностями их поведения задают наиболее важные признаки конкретного анекдота. Неслучайно в сознании рядовых носителей языка анекдоты группируются в классы именно по персонажам: анекдоты о чукчах, о Чапаеве, о Штирлице и т. д.

Набор персонажей анекдотов меняется под влиянием общественно-политических изменений. В 1960-е гг. были популярны

анекдоты о майоре Пронине, в 1980-е гг. — об Авдотье Никитичне и Веронике Маврикиевне, в 1990-е — о «новых русских». Все эти тематические разновидности с течением времени оказались вытеснены на периферию речевого жанра, а впоследствии практически забыты.

Анекдоты представляют большой интерес с точки зрения их интертекстуальных связей [Шмелёва, Шмелёв 2002: 110–113]. С одной стороны, анекдот может опираться на знание слушателем произведений других жанров — к примеру, целый ряд анекдотов содержит отсылки к Библии. С другой стороны, цитаты из анекдотов нередко воспроизводятся в составе других речевых жанров. Так, очень многие анекдоты могут быть использованы в составе тостов, достаточно лишь добавить фразу, указывающую, за что говорящий предлагает выпить, ср.:

*В ресторане посетитель спрашивает официанта:
— Скажите, пожалуйста, у вас в меню есть дикая утка?
— Нет, но для вас мы готовы разозлить домашнюю.
Выьем же за находчивость!*

В постсоветское время началась бурная «экспансия» анекдота в другие жанры. Тексты анекдотов, набор персонажей, их речевые и поведенческие характеристики образуют общеизвестный фонд знаний, служащий источником цитат как в устной, так и письменной речи. Отдельные фразы из анекдотов используются в качестве газетных заголовков (*Тенденция, однако; Вернулся муж из командировки*), цитируются в речи политиков, спортсменов и телеведущих. Анекдоты входят в когнитивную базу членов лингвокультурного сообщества и являются «поставщиком» прецедентных высказываний и текстов.

Приложение 3. Когнитивный анализ политического дискурса (Дж. Лакофф)

Из всех видов институционального дискурса политический является, возможно, самым популярным у исследователей дискурса. Выше, в Приложении 1, был рассмотрен пример применения количественного метода для выявления и разоблачения политической пропаганды в публицистических текстах и изучения динамики политического курса. Обратимся теперь к качественному анализу политических текстов с позиций теории концептуальной метафоры [Lakoff, Johnson 1980].

Политический дискурс, как и любой институциональный дискурс, является менее свободным, чем бытовой разговор [Макаров 2003: 176]: буквально каждое слово в нем заранее внимательно обдумывается и взвешивается. Получается, что «политика — это в значительной мере дело языка» [De Landtsheer 1998: 5]. Это суждение касается, в частности, метафор, и здесь объяснительный потенциал теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона поистине огромен. Взгляд на метафору как на организующий принцип понятийной системы человека, обуславливающий его восприятие, мышление и поведение, открывает новые горизонты в исследовании политического дискурса. Анализ концептуальных метафор позволяет обнаружить явное и неявное в тексте, пролить свет на коммуникативные намерения его автора, выявить его общественную позицию и моральную «систему координат». Как остроумно заметил А. Н. Баранов, перифразируя известную поговорку, «скажи мне, какие метафоры ты используешь, и я скажу тебе, кто ты» [Баранов 1991: 190].

Рассмотрим первый опыт применения теории концептуальной метафоры к языку политики [Lakoff 1991]. Предмет данного исследования составили метафоры, использовавшиеся американскими властями в 1990–1991 гг. для подготовки общественного мнения в связи с кризисом в Персидском заливе и планами военного вторжения США³⁹.

³⁹ Любопытно, что метафоры, использовавшиеся администрацией Дж. Буша (ст.) в этот период, без существенных изменений были повторены

В своей статье⁴⁰ Лакофф показывает, что аргументы в пользу развязывания войны, предложенные президентом США и правительством и многократно воспроизводимые американскими СМИ, базировались на системе метафор. Иными словами, метафоры сыграли немалую роль в том, что Америка оказалась втянутой в войну. При этом, как отмечает автор, важно понимать, что сама по себе метафора не плоха и не хороша. Она обыденна и неизбежна, поскольку помогает представлять сложные и абстрактные области человеческого опыта через более структурированные и конкретные. В частности, международные отношения и войны осмысляются в значительной мере посредством метафор; последнее, впрочем, редко осознаются в силу их конвенциональности.

Однако в ситуации вооруженного конфликта метафоры нередко используются не только для концептуализации ситуации, но и с целью манипуляции общественным сознанием. Они помогают скрыть, затушевать ужасы войны, с которыми сталкиваются тысячи людей (голод, ранения, увечья, смерть, потеря близких и пр.), за счет высвечивания других ее аспектов. В таком случае использование метафор аморально, заявляет Лакофф и стремится это доказать своим анализом выступлений американских политических деятелей и публикаций в СМИ, посвященных планам военного вторжения в Персидский залив.

Автор выделяет соответствующие концептуальные метафоры, выявляет те аспекты войны, которые они были призваны затушевать, и демонстрирует несостоятельность официальной аргументации не только с этической, но и с военно-политической и экономической точек зрения.

Так, метафора ВОЙНА-КАК-БИЗНЕС широко использовалась в аналитических публикациях, касавшихся перспектив вступления США в войну. В соответствии с этой метафорой, военные

его сыном — президентом Дж. Бушем (мл.) — уже в контексте второй войны США в Ираке [Lakoff 2003].

⁴⁰ Первоначально она представляла собой открытое письмо Дж. Лакоффа, опубликованное в Интернете накануне вступления США в войну; см. <http://philosophy.uoregon.edu/metaphor/lakoff-1.htm>

планы и действия оцениваются исключительно с точки зрения их экономической эффективности, т. е. соотношения затрат и выгод. Нравственное измерение при этом отсутствует, за исключением, разумеется, тех случаев, когда аморальное поведение оборачивается экономической потерей, а этический поступок оказывается прагматически выгоден. Анализ военных действий в терминах экономики превращает качественные последствия, которые война может иметь для людей, в количественные подсчеты затрат и выгод.

«Безнравственность» данной метафоры становится еще более очевидной на фоне альтернативной метафоры ВОЙНА-КАК-ЖЕСТОКОЕ-ПРЕСТУПЛЕНИЕ, которая, напротив, фокусируется на моральном аспекте войны, игнорируя ее экономическую и политическую стороны. Это также метафора, потому что совершенные в ходе военных действий убийства, захваты, грабежи и т. д. не расцениваются как тяжкие преступления и, в отличие от мирного времени, за них не следует наказания.

Лакофф подчеркивает явную тенденциозность в использовании указанных метафор по отношению к воюющим сторонам. Так, вторжение Ирака в Кувейт освещалось исключительно с точки зрения метафоры ВОЙНА-КАК-ЖЕСТОКОЕ-ПРЕСТУПЛЕНИЕ, т. е. внимание СМИ было сосредоточено на убийствах, грабежах, изнасилованиях, совершенных иракскими солдатами. Напротив, военные планы США никогда не обсуждались в этом ракурсе. Для их оправдания использовалась метафора ВОЙНА-КАК-БИЗНЕС, обосновывающая необходимость военного присутствия США в зоне Персидского залива с точки зрения геополитической и экономической выгоды. Таким образом, неизбежная в дискурсе о войне оппозиция «мы — они»⁴¹ усиливалась за счет использования соответствующих метафор: «разумность» действий США еще более подчеркивалась «преступностью» и «аморальностью»

⁴¹ Оппозиция «мы — они» (она же: «свои — чужие», или «друзья — враги») считается определяющей для сферы политики вообще, аналогично тому, как для области морали базовым является противопоставление добра и зла, а для эстетики — прекрасного и безобразного [Шейгал 2004: 112].

режима Саддама Хусейна. Эта антитеза проявляется и при подсчете затрат и выгод, в очередной раз акцентируя безнравственность метафоры ВОЙНА-КАК-БИЗНЕС: ведь полученные американцами выигрыши означали потери иракцев, и наоборот. Но примечательно, что о потерях говорили только применительно к погибшим американцам, но не к жертвам среди иракских солдат и мирного населения.

В метафоре ВОЙНА-КАК-АЗАРТНАЯ-ИГРА к подсчетам затрат и выгод добавляется компонент, связанный с риском. Помимо стандартных идиоматичных оборотов наподобие *стоит ли игра свеч* и *что поставлено на карту*, Лакофф отмечает и более творческие реализации данной метафоры у Буша, например, когда тот называл стратегические маневры американцев в Персидском заливе *игрой в покер*, в которой было бы глупо *показывать карты*.

Однако применение специального математического аппарата, предназначенного для оценки вероятности тех или иных событий и минимизации риска (теории вероятности, теории решений, теории игр), таит в себе большую опасность. Политологи обычно воспринимают сравнение войны с азартной игрой буквально, не осознавая его метафоричности. Они полагают, что грамотное применение указанных теорий всегда обеспечивает точный расчет и дает возможность свести риск к минимуму. Такая «математизация метафоры» (выражение Лакоффа) очень опасна, ибо социальные процессы в силу своей сложности не поддаются однозначному прогнозированию.

Концептуальная метафора ГОСУДАРСТВО-КАК-ЧЕЛОВЕК широко распространена в политическом дискурсе, и не только в нем. Персонификация государства позволяет рассматривать его как единое целое и высвечивать многие важные аспекты его функционирования. Государство расположено на определенной территории (ср. *дом*) и имеет определенные отношения с другими государствами внутри мирового сообщества: как и у человека, у него есть *соседи*, *друзья* и *враги*. Государствам приписывают человеческие качества: они бывают *мирными* или *агрессивными*, проявляют *ответственность* или *безответственность*, *заботятся* о своих гражданах или их *преследуют* и т. д.

В дискурсе американских СМИ о захвате Кувейта Ирак представляли как *агрессора*, совершающего *изнасилование невинной жертвы*. Угроза экономике США преподносилась как смертельная опасность, ср.: *Саддам Хусейн держит нашу экономику за глотку, Саддам перекрывает нам кислород*. Грядущая война представляла как схватка между сильными соперниками: так, США стремятся *выбить Ирак из Кувейта, нанести противнику сокрушительный удар, ударом кулака сбить его с ног* и т. д.

Высвечивая организационное единство государств, данная метафора скрывает их внутреннее устройство: социальную структуру, этнический состав, конфессиональные группы, политические партии, влияние крупного бизнеса и т. д. Многократно апеллируя к метафорическому понятию «национальный интерес» (ср. *война служит нашим национальным интересам*), администрация Дж. Буша стремилась создать видимость единодушия американских граждан по отношению к войне — в ситуации, когда такого единодушия быть не могло. Некоторым американцам война действительно была выгодна (в частности, представителям военных корпораций); интересы же других — прежде всего, солдат американской армии (которая представлена преимущественно выходцами из малообеспеченных семей афро- и латиноамериканского происхождения) — очевидным образом расходились с «национальным интересом». Между тем именно они должны были принять на себя все тяготы войны и нести потери. И именно их жизни девальвировала метафора ГОСУДАРСТВО-КАК-ЧЕЛОВЕК — впрочем, как и жизни солдат противоборствующей стороны.

Довольно традиционное осмысление войны воплощено в метафоре ВОЙНА-КАК-СПОРТИВНАЯ-ИГРА, которая высвечивает такие ее аспекты, как четкие правила ведения и завершения, наличие победителя и побежденного, а также зрителей на мировой арене, степень подготовки участников, их умение стратегически мыслить и действовать сообща. Однако использование данной метафоры предполагает ясное представление о конечной цели — о том, что будет считаться победой, — а у американской администрации, по мнению Лакоффа, такое представление отсутствовало. Ни один из возможных вариантов развития событий не выглядел доста-

точно убедительно и «триумфально». Неуверенность и отсутствие единодушия относительно цели войны фактически сводило воздействие данной метафоры к нулю.

Это же можно сказать и о таком приеме, который автор называет СКАЗКОЙ О СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЕ. Речь идет о схематическом сказочном сюжете с тремя персонажами — героем, жертвой и злодеем, — где злодей совершил жестокое преступление по отношению к невинной жертве, а герой вызвался ее спасти. В сказке все три персонажа наделены соответствующими качествами в абсолютной степени. Так, злодей — самый что ни на есть изувер, с которым бесполезно вступать в переговоры, жертва совершенно ни в чем не повинна, а герой готов на любое самопожертвование. Подвергая себя лишениям, он совершает опасное путешествие, нередко за море к неизвестной земле. Там он вовлекает злодея в схватку и после нелегкой борьбы побеждает его и освобождает жертву. Самопожертвование оправдалось: герой получает благодарность жертвы и признание всего сообщества.

Применение этого схематического сюжета к военному вторжению США в Персидский залив потребовало соотнести структуру сказки и структуру реальной ситуации, т. е. ответить на вопросы, кто в данном случае является злодеем, кто жертвой, а кто героем, какое преступление совершил злодей, что считать победой и т. д. Лакофф обращает внимание на то, что в начальный период кризиса американская администрация не смогла сделать это последовательно. Так, в отношении персонажей сказки существовало одновременно два способа распределения ролей и, следовательно, два сценария того, что происходит:

сценарий спасения: злодей — Ирак, жертва — Кувейт, герой — США. Преступление состоит в насилии над невинной жертвой;

сценарий самообороны: злодей — Ирак, жертва — США и другие западные страны, герой — США. Преступление заключается в угрозе экономическому здоровью.

Одновременное использование обоих сценариев в СМИ создавало некоторые неувязки. Кроме того, американский народ стал выступать против второй интерпретации событий, так как не желал покупать нефть ценой человеческих жизней. Тогда американская

администрация окончательно остановилась на первом, «благородном», сценарии и в дальнейшем использовала именно его для оправдания войны.

Показывая искусственность и несостоятельность аналогии между реальной ситуацией и сказкой, Лакофф приводит конкретные факты, свидетельствующие о том, что Саддам Хусейн не является, как его представляет американская пресса, отпетым злодеем, маньяком, с которым бесполезно вести переговоры, развенчивает миф о «невинности» Кувейта, разоблачает высоко нравственные мотивы, которыми якобы руководствовались США, вступая в конфликт (ведь герой должен быть бескорыстен, а Америка преследует собственные экономические интересы). Помимо этого, он обращает внимание на то, что СКАЗКА О СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЕ, также как и метафора ВОЙНА-КАК-СПОРТИВНАЯ-ИГРА, требует определить, что считается победой. Как только она достигнута, конец сказке или игре. Но американская администрация в преддверии вторжения в Ирак недостаточно хорошо, по мнению Лакоффа, представляла себе конечную цель войны. А если нет понимания, что есть победа, то нельзя определить и стоящее того самопожертвование.

Качественно-количественный анализ метафоричности дискурса (К. де Ландтсхер, А. Н. Баранов)

Рассмотренное выше исследование Дж. Лакоффа является примером сугубо качественного подхода к анализу метафор: автор собрал материал, выявил характерные способы рассуждения и на их основе сформулировал общие концептуальные метафоры. Какие бы то ни было количественные данные и статистическое обоснование в работе отсутствуют.

Однако сами по себе когнитивные исследования отнюдь не исключают возможности применения количественных методов. В этом разделе будут рассмотрены такие исследования концептуальной метафоры, которые сочетают в себе качественный и количественный подходы. Их авторы стремятся измерить степень метафоричности дискурса, что включает не только подсчет числа метафор в том или ином тексте, но и определение их типа, а также

присвоение различным типам метафор разных индексов — в соответствии с потенциалом речевого воздействия.

Начнем с теории метафорического воздействия (*Metaphor Power Theory*), автором которой является известная нидерландская исследовательница политического дискурса К. де Ландтсхер (см., напр., [De Landtsheer 2010]). В качестве источников своей теории она указывает контент-аналитические исследования Г. Лассвелла, когнитивную теорию метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, а также работы в области критического анализа дискурса.

Де Ландтсхер вводит понятие индекса метафорического воздействия (*metaphor power index*), призванного оценивать то, как используемые политической элитой или журналистами метафоры могут влиять на общественное мнение. Данный индекс, по мнению автора, характеризует риторический стиль: повышенный индекс метафорического воздействия присущ эмоциональным текстам, пониженный — напротив, текстам преимущественно рациональным, ориентированным более на убеждение, аргументацию, логику.

Предлагается следующий метод подсчета данного индекса, а именно: индекс метафорического воздействия равен арифметическому произведению трех более частных индексов. Первый из них — частотность метафор (*frequency*) — равен среднему числу метафор на 100 слов текста. Очевидно, что чем больше в тексте метафор, тем выше значение данного показателя.

Второй индекс — индекс силы воздействия (*intensity*) — направлен на учет новизны, необычности метафор (ср. ниже параметр креативности у А. Н. Баранова). Все метафоры делятся на три группы: «живые» (*live*), «стертые» (*dormant*) и «мертвые» (*dead*). Отличительной особенностью живых метафор является то, что вследствие выраженной экспрессивности их невозможно заменить другим выражением. От говорящего они требуют креативности, а от слушателя — усилий по интерпретации. Метафорическая природа стертых метафор хотя и не бросается в глаза, но все же ощущается. Наконец, мертвые метафоры уже практически ничем не отличаются от буквальных выражений. Сила воздействия измеряется по трехбальной шкале, где наибольшее значение (3) получают живые метафоры, наименьшее (1) — мертвые метафоры, а между

ними располагаются стертые метафоры, которым приписывается значение 2. Для подсчета индекса суммируются число живых метафор, умноженное на 3, число стертых метафор, умноженное на 2, и число мертвых метафор; полученная сумма делится на общее число метафор. Из формулы следует, что существует отчетливая корреляция между числом индивидуально-авторских метафор и величиной данного индекса.

Наконец, третий индекс характеризует сферу-источник метафорической экспансии (*domain*). Основываясь на своих предшествующих исследованиях, автор утверждает, что апелляция к различным семантическим областям обладает разной силой воздействия: так, метафоры, связанные с явлениями повседневной жизни или природы, обладают более слабым эмоциональным потенциалом, чем, скажем, метафоры болезни и смерти. При вычислении индекса применяется шестибальная шкала со следующими делениями: 1 — метафоры повседневной жизни, 2 — метафоры природы, 3 — метафоры из области техники, 4 — метафоры бедствий и насилия, 5 — метафоры спорта, игр, театра, 6 — медицинские метафоры (тело, болезнь, смерть). При подсчете данного индекса количество метафор в каждой группе умножается на соответствующий коэффициент, затем полученные числа складываются и сумма делится на общее число метафор в тексте.

По мысли автора, данный индекс отражает степень «тревожности» (*anxiety*), которую несет в себе текст, а тревожность используется политиками в деструктивных целях. Заметим, что способ приписывания весов в зависимости от характера сферы-источника вызывает некоторые вопросы: например, кажется, что индексы 4 и 5 следовало бы поменять местами. К тому же вызывает удивление, что оказалась неучтенной военная метафора, играющая столь заметную роль в дискурсе тоталитарных режимов.

Как уже говорилось, арифметическое произведение трех описанных индексов дает индекс метафорического воздействия политического дискурса. Очевидно, что эмпирическим путем можно определить пороговое значение, превышение которого будет свидетельствовать о выраженном «метафорическом» стиле, предполагающем направленное речевое воздействие через эмоции

и внушение. Ничто не мешает распространить идею Ландтсхер и на другие типы дискурса, правда, скорее всего, пороговые значения там будут другими. Как бы то ни было, теория метафорического воздействия претендует на создание объективного инструмента для оценки воздействующего потенциала текста.

Если К. де Ландтсхер использовала индекс метафоричности дискурса для того, чтобы характеризовать стиль политической коммуникации, то А. Н. Баранов путем схожих подсчетов пытается проследить связь между используемыми метафорами и текущей общественно-политической ситуацией. Отправной точкой служит гипотеза о том, что кризисное состояние сознания, вызванное проблемной ситуацией и связанное с поиском срочных решений, выражается в повышенной метафоричности дискурса. Данная гипотеза впервые была выдвинута автором при анализе языка перестройки, который, как известно, отличался яркой образностью, красочностью и, в частности, обилием неожиданных, непривычных метафор. Баранов объяснял эту особенность перестроечного дискурса тем, что в сложной проблемной ситуации человеку требуется строить множество вариантов действий, «просчитывать» различные перспективы. Осмысление нового, необычного предполагает сравнение с чем-то известным, привычным и понятным [Баранов 1991]. Отсюда связь между метафорами и реальным положением дел: «Метафорическое мышление в политике — признак кризисного мышления» [Баранов, Казакевич 1991: 17]. Спустя десятилетие автор взялся проверить этот тезис на новом материале.

Предметом исследования стали метафоры в отечественном публицистическом дискурсе в период августовского экономического кризиса 1998 г. [Баранов 2003]. В качестве материала использовалась российская пресса (интервью, аналитические и обзорные статьи по вопросам внутренней политики) за период с июня по сентябрь 1998 г. В исследовании подсчитывались следующие две величины: 1) относительная частота употребления метафор (рассчитывалась по формуле $F = t/Q$, где t — общее число метафор в статье, а Q — общее число слов в статье) и 2) параметр креативности, который был призван учесть характер метафор, а именно являются ли они стертыми, конвенциональными или новыми, непривычными (кон-

кретную формулу см. [Баранов 2003]). Оба показателя подсчитывались отдельно для каждой статьи, затем вычислялось среднее арифметическое для всех статей за каждую неделю.

Динамика изменения данных параметров показывает следующее. Параметр креативности начал возрастать с некоторым опережением — еще до наступления того дня (18 августа 1998 г.), когда разразился кризис. Начиная с этой даты оба показателя заметно растут вплоть до пика в середине сентября, после чего происходит их постепенное снижение. Таким образом, параметр креативности, по мнению Баранова, может оказаться не только показателем кризиса, но и инструментом его прогнозирования, хотя и краткосрочного. Общество предчувствует кризис и заранее готовится к его разрешению. Креативные метафоры служат проводниками новых идей, столь необходимых в проблемной ситуации [Там же: 138–139].

Примечательно, что Баранов интерпретирует полученные результаты исключительно в свете собственной гипотезы, не ссылаясь на широко известные суждения Г. Лассвелла о возможности прогнозировать общественно-политическую ситуацию на основе стиливых характеристик дискурса. Основоположник исследований языка политики утверждал, что определенные изменения в стиле могут свидетельствовать о назревающем кризисе или постепенном ослаблении демократии [Lasswell 1965b]. Таким образом, выводы Баранова о росте числа креативных метафор, опередившем (пусть и ненамного) наступление экономического кризиса, может служить частным подтверждением идеи Лассвелла, высказанной им более полувека назад.

ГЛАВА 4

ПРАГМАТИКА ДИСКУРСА

Лингвистическая прагматика как подход к анализу дискурса

Лингвистическая прагматика как самостоятельная область исследований⁴² зародилась в 1960–1970-е гг. на фоне затяжного, длившегося несколько десятилетий изучения языка исключительно как системы чистых отношений и абстрагирования от его коммуникативных аспектов. Интерес к реальному функционированию языка и обращение к понятию субъекта речи сближает лингвистическую прагматику с рядом других направлений, возникших в то же время (социолингвистикой, этнографией коммуникации, конверсационным анализом) и повлиявших на становление дискурсивных исследований. Как и они, лингвистическая прагматика может рассматриваться не только как источник [Дейк 1989а: 116–117], но и как особый подход к анализу дискурса [Schiffrin 1994]. Последнее предполагает, что, хотя прагматика первоначально имела своим объектом изолированные предложения, ее понятийный аппарат можно применить и к анализу дискурса [Ibid.: 381].

Более того, поскольку понятие дискурса (в отличие от понятия «текст») требует учета разнообразной контекстуальной информации, его анализ просто невозможен без обращения к его прагматическим аспектам. Если вспомнить известное семиотическое определение прагматики как «отношений знаков к интерпретато-

⁴² Об объеме и содержании данной области см., напр., [Булыгина 1981; Levinson 1983: 1–35; Арутюнова, Падучева 1985; Арутюнова 19906].

рам» (Ч. Моррис), тесная связь между анализом дискурса и лингвистической прагматикой становится очевидной⁴³.

В англо-американской традиции (в рамках которой и возникло это направление исследований) принято различать теорию речевых актов (*speech act theory*), связанную прежде всего с именами Дж. Остина и Дж. Сёрля, и собственно лингвистическую прагматику (*linguistic pragmatics*), представленную именами Г. П. Грайса, Дж. Лича и нек. др. В отечественных работах обе эти области, как правило, объединяются под общим названием *лингвистическая прагматика*. В нашем изложении они будут рассматриваться отдельно.

Теория речевых актов и ее применение к анализу дискурса

Основные положения теории речевых актов были сформулированы английским философом Дж. Остином в курсе лекций, прочитанном в Гарвардском университете в 1955 г. После его смерти лекции были опубликованы в виде отдельной книги, озаглавленной «*How To Do Things with Words*» (1962); в русском переводе — «Слово как действие» [Остин 1986]. Заслуга Остина заключается в том, что он привлек внимание лингвистов к важному аспекту речевой деятельности, долгое время остававшемуся в тени. Его теория акцентирует тот факт, что при помощи речи человек может не только сообщать информацию, но и осуществлять социальные действия: просить, советовать, приказывать, предупреждать, обещать, благодарить и т. д.⁴⁴ Идеи Остина получили дальнейшее развитие в трудах американского логика Дж. Сёрля.

⁴³ Ср.: «*Doing discourse analysis certainly involves doing syntax and semantics, but it primarily consists of doing pragmatics*» <курсив авторов> [Brown, Yule 1983: 26].

⁴⁴ Отдельные предпосылки теории Остина можно найти в трудах философов Т. Рида, А. Рейнаха и А. Марти [Smith 1990]. Показательно, что и Рид, и Рейнах пользовались термином *социальное действие* (*social acts, sozialen Akte*). Ср. также следующий фрагмент: «Если язык следует считать особого рода знанием, то он вместе с тем может представляться, с одной стороны, действи-

Ключевое понятие рассматриваемой теории — речевой акт. Речевой акт считается элементарной единицей вербального общения и определяется как произнесение говорящим некоторого высказывания, построенного по правилам языкового кода, обладающего пропозициональным содержанием и ориентированной на адресата иллокутивной функцией.

Пропозициональное содержание высказывания охватывает информацию о положении дел в том фрагменте мира, о котором оно сообщает. Иллокутивная функция (или иллокутивная сила) — это выраженный в высказывании вид коммуникативного намерения говорящего, рассчитанного на определенное взаимодействие с адресатом (например, утверждение, обещание, просьба, благодарность, вопрос, совет, приказ). Высказывания могут иметь одинаковое пропозициональное содержание, но представлять собой разные речевые акты именно за счет различий в иллокутивной силе, ср. *Петя купил компьютер; Петя купил компьютер?; Хоть бы Петя купил компьютер!*

Более того, даже совершенно одинаковые высказывания в зависимости от ситуации могут иметь разную иллокутивную функцию: так, фраза *Я поговорю с твоими родителями* может быть использована говорящим для того, чтобы проинформировать адресата, предупредить его, принять на себя обязательство и пр. (пример заимствован из [Кобозева 1986]). Фраза *Здесь дует* может быть речевым актом сообщения, просьбы или повеления (закрыть окно). За счет интонационного рисунка в восклицание *Опять он заболел!* можно вложить сочувствие или иронию.

Кроме того, высказывание может иметь перлокутивный эффект — изменение внутреннего состояния адресата: адресат может прийти в замешательство, быть оскорблен, напуган, удивлен и т. д. Но в теории речевых актов перлокутивный эффект не вхо-

ем, делом, с другой — **вещью, предметом** внешнего мира. <...> Оскорбление словом, обида, клевета считаются более или менее равносильными оскорблению действием: за них полагается ответственность, дальнейшим последствием которой может быть наказание» <выделено автором> [Бодуэн де Куртэнэ 1963: 81].

дит в состав речевого акта, поскольку, чтобы о нем судить, нужно выйти за рамки отдельного высказывания и анализировать ответную реплику (или внешний контекст).

Из трех выделенных Остином аспектов речевого акта — локуции (построения и произнесения высказывания), иллокуции (коммуникативного намерения говорящего) и перлокуции (влияния на адресата) — новым было понятие иллокуции. Локуция составляет объект изучения всех семантических теорий, моделирующих соответствие между изолированным предложением и его смыслом. Перлокуцией — воздействием речи на мысли и чувства аудитории — с античных времен занимается риторика. И только понятие иллокуции фиксирует такие аспекты речевого акта и содержания высказывания, которые не улавливаются ни семантикой, ни риторикой в их традиционном смысле. Поэтому именно разъяснению понятия иллокуции в теории речевых актов уделяется главное внимание.

Классификация речевых актов обычно строится на основе иллокутивных функций. Первая классификация была осуществлена самим Остином [1986: 118–129] на материале около 1000 глаголов английского языка, однако она не получила распространения в силу ряда существенных недостатков. Дж. Сёрль указывал, в частности, что в ней отсутствуют четкие критерии разграничения речевых актов. Кроме того, она является не классификацией речевых актов, а классификацией английских глаголов, а это не одно и то же. Есть глаголы, которые указывают на способ или образ осуществления иллокутивного акта, но не на его тип; к такому относится, например, глагол *объявлять*. Можно *объявлять* приказ, благодарность, войну, и это все будут разные типы актов [Сёрль 1986а: 177–178].

Сёрлем же была предложена наиболее известная ныне классификация речевых актов [Там же]. Автор выделяет следующие пять типов речевых актов (они же — типы иллокутивных функций):

1. Репрезентативы, или ассертивы (например: *Поезд пришел*).
Цель: информировать адресата о положении вещей, причем предполагается, что говорящий сообщает истинную информацию. К ассертивным речевым актам относятся

сообщение, утверждение, констатация, описание, объяснение и т. д. Говорящий стремится к тому, чтобы слова соответствовали миру, т. е. осуществляет движение от мира к словам. Адресат принимает эту информацию и соответствующим образом строит свои дальнейшие действия. В отличие от всех других типов актов, репрезентативы могут быть оценены по принципу «истина — ложь».

2. Директивы (например: *Уйдите!*). Цель: заставить адресата что-л. сделать. Это могут быть приказ, требование, распоряжение, указание, просьба, рекомендация, предостережение, приглашение, мольба и т. д. Сюда же относятся вопросы, поскольку они требуют ответа (например: *Который час?*). Директивы предполагают, что мир должен соответствовать словам, и, таким образом, реализуют обратное по сравнению с репрезентативами направление движения.
3. Комиссивы (например: *Обещаю не опаздывать*). Цель: говорящий берет на себя определенные обязательства по отношению к своему действию в будущем, причем это действие может пойти как на пользу, так и во вред адресату. Данный тип включает в себя речевые акты обещания, гарантии, клятвы, предупреждения, угрозы. Мир должен соответствовать словам (направление то же, что у директивов).
4. Экспрессивы. Цель: говорящий выражает свое отношение к положению дел, своему поведению, поведению адресата и т. д. Это могут быть благодарность, соболезнование, упрек, извинение, поздравление, сожаление, одобрение и т. д. Сюда же относятся формулы социального этикета (например: *Извините за беспокойство*). Здесь нет движения от мира к словам или наоборот.
5. Декларации. Цель: изменить мир посредством речевого акта (устного или письменного). Говорящий создает новое положение дел в мире, например назначает на должность, открывает или закрывает собрания, объявляет войну или мир, выносит приговор и т. д.

Попытки распространить классификацию Сёрля на текст связаны, в частности, с работами немецкого специалиста в области лингвистики текста К. Бринкера [Brinker 2001]. Он перечисляет следующие основные функции текста (соответственно типам речевых актов): информативную, апеллятивную, функцию обязательства, контактную и декларативную — и предлагает выделять типы текстов с опорой на ту, которая в них преобладает.

Так, информативная функция наиболее ярко представлена в газетных, радио- и телевизионных новостях, медицинских заключениях, различного рода описаниях, отчетах и т. п. Апеллятивная функция характерна для рекламных текстов, пропагандистской литературы, инструкций, рецептов; функция обязательства — для договоров, гарантий, клятв. Присущая экспрессивам функция контакта проявляется в поздравительных открытках, соболезнованиях, а функция декларации — в завещаниях, обвинительных заключениях, некоторых видах приказов (например, о назначении на должность), доверенностях и пр. [Brinker 2001: 102–124].

Исходя из того, что как директивы, так и комиссивы организованы по принципу движения «от слов к миру», видный представитель лингвистической прагматики Д. Вандервекен предлагает выделить единую для них совещательную (*deliberative*) функцию и соответственно различать не пять, а четыре разновидности дискурса: дескриптивный, совещательный, экспрессивный и декларативный [Vanderveken 2001].

Вне зависимости от числа типов, важно подчеркнуть, что отношение текста / дискурса к той или иной категории определяется его общей функциональной направленностью, что не исключает присутствия речевых актов других типов [Богданов 1993: 12–13]. Так, рекламный и политический дискурс часто содержат репрезентативные речевые акты, тем самым сочетая доминирующую функцию воздействия с передачей информации. Здесь, впрочем, возникает проблема, связанная с тем, что дискурс не всегда обладает какой-то одной доминирующей функцией. Так, в личном письме могут в равных долях сочетаться сведения о положении дел и, скажем, вопросы или просьбы (причем не связанные напрямую с информационной частью письма).

Идею распространить классификацию речевых актов на дискурс высказывает и Т. А. ван Дейк [Van Dijk (ed.) 1997a: 15]. Он рассматривает последовательность речевых актов в качестве одного макро-речевого акта, обладающего собственной иллокутивной силой. Например, информационное сообщение он предлагает трактовать как сложную ассерцию, шантажирующее письмо как макро-угрозу и т. п. Д. Шиффрин в аналогичном ключе пишет об иерархии речевых актов, где дискурс как глобальный речевой акт слагается из более мелких речевых актов [Schiffrin 1994: 87].

Подобные предложения по экстраполяции классической теории речевых актов на более крупные единицы текста / дискурса могут быть полезны, так как они направлены на преодоление существенного изъяна, связанного с принципиальной недостаточностью одиночного высказывания для определения типа речевого акта. Наиболее яркий пример — это эллиптические диалоговые реплики: к примеру, реплика *Да* может служить ответом на вопрос, согласием на предложение, принятием на себя обязательств и пр. [Stubbs 1983: 110]. В то же время применение теории речевых актов к устному диалогу требует ее переосмысления и некоторой корректировки [Vanderveken 2001; Moeschler 2002].

По-видимому, на дискурс можно распространить и понятие косвенных речевых актов [Сёрль 1986б] — в таком случае уместно говорить о косвенных речевых жанрах как разновидностях не прямой коммуникации (ср. [Дементьев 2010]). «Маскировка» одного жанра дискурса под другой особенно часто наблюдается в сфере рекламы. В качестве примера можно указать на печатную рекламу коммунальных услуг (по замене водопроводных труб, установке пластиковых окон и т. п.), подражающую почтовым извещениям. Подобные образцы опускаются в квартирные почтовые ящики. Увидев набранное крупным жирным шрифтом слово **ИЗВЕЩЕНИЕ** на бумажном листке, который своими размерами и оформлением похож на почтовый бланк, человек не выбрасывает его сразу, как часто поступает с рекламным мусором, а начинает изучать. Даже если он затем обнаружит обман и выкинет листок,

можно считать, что первая задача рекламы⁴⁵ — привлечь внимание — достигнута.

Принцип Кооперации

Постулаты речевого общения

Принцип Кооперации принадлежит к наиболее известным достижениям лингвистической прагматики. Его автор Г. П. Грайс указывал на то, что, вступая в общение, люди всегда преследуют какие-то цели (передача и получение информации, оказание влияния на других, подчинение себя чьему-то влиянию и т. д.) и заинтересованы в достижении взаимопонимания. Ср.:

Обычно диалог представляет собой, в той или иной степени, особого рода совместную деятельность участников, каждый из которых в какой-то мере признает общую для них обоих цель (цели) или хотя бы «направление» диалога. Такого рода цель или направление могут быть заданы с самого начала (например, когда предмет обсуждения назван эксплицитно) или же выявляются в процессе общения; цель может быть четко определена, но иногда она бывает настолько смутной, что у собеседников остается широкая «свобода слова» (как при случайном разговоре о том о сем). В любом случае на каждом шагу диалога некоторые реплики исключаются как коммуникативно неуместные [Грайс 1985: 221–222].

Сам Принцип Кооперации звучит следующим образом: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» [Там же: 222]. Он включает в себя набор более конкретных коммуникативных постулатов, распределенных по четырем группам, которые автор под влиянием философской теории

⁴⁵ Последовательность задач рекламной кампании обычно описывается формулой *aida: attention, interest, desire, action*. Реклама должна привлечь внимание, пробудить интерес, вызвать желание (купить) и побудить к соответствующим действиям.

И. Канта связал с категориями Количества, Качества, Отношения и Способа [Грайс 1985: 222–223].

Постулаты количества касаются объема передаваемой информации, ср.:

- «Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей диалога)»;
- «Твое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется».

Постулаты качества побуждают придерживаться истины, ср.:

- «Не говори того, что ты считаешь ложным»;
- «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований».

Постулат отношения, или релевантности, связан с когеренцией:

- «Не отклоняйся от темы».

Постулаты способа касаются не содержания, а формы, ср.:

- «Избегай непонятных выражений»;
- «Избегай неоднозначности»;
- «Будь краток (избегай ненужного многословия)»;
- «Будь организован».

С точки зрения Грайса, аналоги указанным постулатам можно найти и в невербальных действиях. Он приводит следующие примеры: если вы помогаете мне чинить машину и в какой-то момент мне понадобятся четыре гайки, я рассчитываю получить от вас именно четыре, а не две или шесть (категория Количества). Если вы помогаете мне готовить торт и мне нужен сахар, я не ожидаю, что вы подадите мне соль под видом сахара, т. е. я ожидаю, что ваш вклад будет искренним, а не фальшивым (категория Качества). Когда я замешиваю тесто, я не ожидаю, что вы подадите мне инте-

ресную книгу, так как вклад партнера должен быть уместным по отношению к непосредственным целям данного шага (категория Отношения). Мне также естественно ожидать, что партнер даст мне понять, в чем состоит его вклад, и что он выполнит свои действия с нужной скоростью (категория Способа).

По мнению Грайса, Принцип Кооперации в совокупности всех своих постулатов отражает стандартный канон речевого общения, и в большинстве случаев люди ему следуют. Соблюдать легче, чем нарушать: так, сказать правду проще, чем придумать ложь. Нарушение различных постулатов оценивается в обществе неравнозначно: к примеру, многословного человека осуждают менее строго, чем того, кто сообщил ложь под видом истины.

Критика Принципа Кооперации

Воодушевление, с которым лингвисты стали использовать предложенные Грайсом постулаты при описании речевого общения, вскоре сменилось скепсисом⁴⁶. Критика была в первую очередь связана с неопределенностью ключевых понятий. Сколько нужно говорить, чтобы было не больше и не меньше? Что есть правда / истина? Что значит «быть релевантным»? Что значит выражаться ясно? Все эти понятия по сути своей относительны, причем мнения говорящего и адресата часто не совпадают. В принципе, постулаты речевого общения ориентированы на говорящего, направлены на регуляцию именно его поведения. Но то, что говорящий считает информативным, истинным, ясным и логичным, адресату может показаться недостаточным или избыточным, неверным или необоснованным, непонятым, не относящимся к делу и пр.

В более глубоком смысле, сама мысль о том, что любой диалог наполнен атмосферой сотрудничества, кажется наивной идеализацией [Pinker 2007]. Как отмечает представитель критического анализа дискурса Н. Фэйрклаф [Fairclough 1989: 10], лингвистическая прагматика дает утопическую картину речевого общения —

⁴⁶ Справедливости ради следует заметить, что сам исследователь отнюдь не считал их догмами — скорее, первыми пробными шагами в изучении внутренних регуляторов общения.

дискурс как он мог бы быть в лучшем мире, а не дискурс как он есть. Это происходит прежде всего потому, что за образец берется общение между равными в духе взаимопонимания; на самом деле объем такого общения весьма ограничен. Часто диалог ведется между людьми, состоящими друг с другом в натянутых, если не враждебных, отношениях, так что их цели могут быть прямо противоположны. Даже в беседе друзей или родственников цели коммуникантов редко полностью совпадают.

Замечено, что постулаты чаще соблюдаются в речи письменной, а также в устной публичной [Земская 1988а: 37]. В повседневных разговорах они нарушаются на каждом шагу, и дело здесь не в злом умысле — просто люди не всегда говорят с определенной и единственной целью и для достижения конкретного результата.

Помимо этого, есть случаи сознательного отказа от поведения в духе сотрудничества. Т. М. Николаева даже употребляет выражение «Принцип некооперации» для характеристики своеобразного коммуникативного саботажа, проявляющегося в навязывании коммуниканту своего мнения, отказе дать ожидаемый ответ на вопрос, стремлении уйти от обмена информацией, желании обидеть собеседника. Ср. следующие примеры:

- 1) Музей редкой книги в Библиотеке им. В. И. Ленина. Читатель здесь впервые.

Читатель: *Где можно взять требования?*

Библиограф: *А там нет?*

Читатель: *А где это «там»?*

Библиограф: *А где лежали. В ящике у каталога были.*

- 2) Химчистка. Звонит телефон.

Х: *Это химчистка?*

Сотрудница: *Обед!*

- 3) Магазин «Гастроном».

Х: *Спички по две копейки коробок?*

Продавщица: *А когда это было?*

[Николаева 1990: 226–227]

Из критических замечаний, адресованных теории Грайса, упомянем также сомнения этнологов по поводу универсальности коммуникативных постулатов (см., напр., [Вахтин, Головки 2004: 247–251]). Впрочем, по мнению Дж. Лича, как Принцип Кооперации, так и Принцип Вежливости (см. ниже) представляют собой не что иное, как общие регулирующие каноны коммуникативного поведения, направленные на исключение коммуникативных неудач (недоразумений, конфликтов, тупиков и пр.). Само собой разумеется, что эти каноны по-разному «работают» не только в разных культурах, но и в разных социальных группах, а также в различных ситуациях [Leech 1983: 10, 17]. Анализом таких межкультурных различий должна заниматься дисциплина, которую автор называет социопрагматикой [Ibid.: 80].

Справедливости ради следует также сказать, что сам Грайс не был склонен приписывать своим построениям статус незыблемых догм. Современный критик подчеркивает, что постулаты не претендуют на роль социологических обобщений или моральных предписаний относительно того, что и как следует говорить: скорее будет правильным рассматривать их в качестве неких презумпций, используемых говорящим и слушающим в процессе общения [Bach 2006: 24]. Впоследствии идеи Грайса были восприняты в качестве базиса для построения новых теорий, которые, что показательно, стали называться *неограйсианскими*.

Импликатура

Подход Грайса основан на понятии рациональности: коммуниканты — разумные существа, и в своей речевой деятельности они исходят из того, что собеседник соблюдает Принцип Кооперации [Van Dijk (ed.) 1997b: 59]. Если происходит нарушение того или иного постулата, они стремятся понять причину и выявить так называемую импликатуру — скрытый смысл, который говорящий вложил в высказывание. Наличие скрытого смысла дает разрешение нарушить отдельный постулат при сохранении верности Принципу Кооперации в целом.

Вообще, неуклонное соблюдение всех коммуникативных постулатов делает речь буквальной, банальной и скучной [Bruner 1986: 26].

Но, как говорится, на то они и существуют, чтобы их можно было нарушить: ведь в высказывание можно вложить больше или меньше смысла, чем выражено словами, или вообще вложить иной смысл. Для объяснения случаев умышленного нарушения постулатов речевого общения и было введено понятие коммуникативной импликатуры.

Импликатура — это подтекст высказывания, то, что говорящий подразумевал, но намеренно не выразил вербально, ожидая, что адресат сможет его сам «расшифровать». Это компоненты содержания высказывания, которые не входят в собственно его смысл, но «вычитываются» адресатом⁴⁷. «Вычисление коммуникативных импликатур — это вычисление тех компонентов смысла, существование которых следует предположить, чтобы сохранить презумпцию Принципа Кооперации» [Грайс 1985: 237]. Адресат выводит импликатуры, принимая во внимание не только само содержание высказывания, но и то, что говорящий вообще произнес это высказывание в данной ситуации, а также то обстоятельство, что говорящий произнес именно это, а не другое высказывание.

Важно подчеркнуть, что источником импликатуры всегда является говорящий: у предложения как такового импликатуры нет. Именно для того, чтобы избежать путаницы, Грайс намеренно отказался от более привычного термина *импликация* (*implication*) и ввел совершенно новый термин *импликатура* [Bach 2006: 22–23].

Вот некоторые примеры нарушений постулатов и связанных с ними импликатур:

(1) нарушение второго постулата количества:

— Ты вымыл посуду и поставил все на место?

— Я вымыл посуду (импликатура ‘не поставил все на место’, так как иначе было бы просто сказано *Да*).

(2) нарушения постулата качества: разнообразные фигуры речи (метафора, метонимия, гипербола, литота и пр.):

⁴⁷ См. также другие определения импликатуры в монографии, специально посвященной этой теме [Zufferey et al. 2019].

Смотри, какая шляпа идет; Маргарет Тэтчер — железная леди; Мой дом — моя крепость; Какая сегодня прекрасная погода! (ирон.: когда за окном ненастная погода).

(3) нарушения постулата отношения:

- *Пойдем в кино.*
- *У меня завтра экзамен* (импликатура ‘не могу пойти в кино’).
- *Ты считаешь ее красивой?*
- *Она хорошо одевается* (импликатура ‘не считаю’).
- *Вы довольны своей аспиранткой?*
- *У нее маленький ребенок, который все время болеет* (импликатура ‘не доволен’).

(4) нарушения третьего постулата способа: вежливые просьбы (*Не могли бы Вы...*); выражение пожеланий в сослагательном наклонении (*Было бы замечательно, если бы Вы...*). Подобные импликатуры обусловлены требованиями вежливости.

Любопытный класс высказываний представляют собой тавтологические утверждения типа *Закон есть закон; Женщина есть женщина; Обман — всегда обман; На войне как на войне*, которые с формальной точки зрения абсолютно неинформативны, иными словами, в них грубо нарушен первый постулат количества [Грайс 1985: 229]. Исходя из презумпции соблюдения говорящим Принципа Кооперации, адресат вынужден искать скрытый смысл в ассоциациях, связанных с понятиями закона, женщины и т. д.; отсюда импликатуры: ‘Закон надо выполнять’, ‘Женщине свойственны многочисленные недостатки’ и т. д. Другое дело, что не вполне ясно, почему синтаксически схожие высказывания несут в себе импликатуры разного содержания⁴⁸ [Levinson 1983: 111].

Раскрытие содержания тавтологичных афоризмов не всегда может быть успешным, если они вырваны из исторического

⁴⁸ О двух интерпретациях русских биноминативных тавтологий см. [Булыгина, Шмелёв 1990: 101–102].

и этнокультурного контекста. В качестве примера В. В. Богданов [1990: 16] приводит приписываемый Конфуцию следующий тезис об управлении государством: *Правление есть там, где государь есть государь, министр — министр, отец — отец и сын — сын*. Этим, внешне неинформативным, высказыванием Конфуций стремился выразить следующую мысль: о правлении можно говорить лишь в том случае, если государь по-настоящему правит государством, министр обладает всеми качествами, необходимыми для выполнения соответствующих обязанностей, если отец остается подлинным главой семьи, а сын с должной почтительностью относится к родителям. Однако для выявления этого содержания нелишне будет знать, кто такой Конфуций, когда и где он жил и каковы основные принципы его учения.

Правильное вычисление импликатур в разной степени обусловлено ситуативным контекстом. Во всех вышеприведенных примерах скрытые смыслы достаточно легко поддаются расшифровке. Но так бывает не всегда, ср. следующий диалог:

- Ну что, все в порядке?
- Завтра она приезжает.

[Шабес 1989: 8]

Здесь нарушен постулат отношения и возможна любая из трех импликатур: 'все в порядке', 'все плохо' и 'Оценка ситуации может быть дана только после ее приезда'. То, какая из них будет передана в конкретном случае, определяется внешней ситуацией и фоновыми знаниями участников.

Каковы причины обращения говорящих к импликатурам? Почему та или иная часть информации передается не прямо, а намеком? Очевидным фактором является стремление к экономии за счет удаления «компонентов общекоммуникативного происхождения» [Падучева 1982: 85]. Так, в ответ на предложение пойти в кино (см. пример выше) собеседник не произносит длинную фразу вроде *Нет, спасибо, я не пойду в кино, потому что у меня завтра экзамен*, а ограничивается утверждением, содержащимся в придаточном предложении. Информация, заключенная в главном предложении,

успешно выводится благодаря привычности подобной редукции в аналогичных речевых обменах.

В качестве другой причины можно указать на бóльшую престижность такого вида вербальной коммуникации: ведь для понимания скрытых смыслов адресат должен обладать соответствующим уровнем интеллектуального развития. Импликатура дает возможность говорящему выглядеть в глазах адресата умным, нестандартно мыслящим и разбирающимся в тонкостях речевого общения, что повышает его статус. Статус адресата при этом также поднимается, так как, сообщая адресату некоторую информацию при помощи импликатуры, говорящий дает понять, что доверяет его способности правильно расшифровать подтекст. Разумеется, подобная коммуникация включает в себе элемент риска: всегда есть вероятность того, что адресат не поймет импликатуру или выведет совсем не тот скрытый смысл, который вкладывался говорящим, причем такая ошибка в интерпретации может долго оставаться невыявленной.

Выбор в пользу импликатурной передачи смысла может быть также обусловлен нормами приличия, вежливости и этикета, принятыми в той или иной культуре. Есть ситуации, в которых некоторые темы являются табуированными, и, если их все-таки приходится затрагивать, коммуниканты прибегают к импликурам.

Грайс делал различие между коммуникативными (*conversational*) и конвенциональными (*conventional*) импликурами. Все приведенные выше примеры иллюстрируют первую разновидность, связанную с нарушением постулатов Принципа Кооперации. Они широко встречаются в различных языках и культурах, причем и в разговорной речи, и в художественной литературе. Что касается конвенциональных импликатур, они не выводятся из общих принципов коммуникации, а привязаны к значению некоторых лексических единиц. Так, предложение *Jill is English and therefore brave* несет в себе импликатуру, заключенную в значении слова *therefore* и связывающую смелость Джилл с ее национальной принадлежностью, ср.: *Jill's being brave follows from her being English*. Сравнительные исследования двух видов импликатур с точки зрения их логических свойств (отделимости, устранимости и пр.), а также

анализ языковых средств, способных передавать конвенциональные импликатуры, со временем образовали достаточно самостоятельную область в рамках формальной прагматики.

Основополагающей идеей Грайса было провести четкую границу между тем, что произнесено, и тем, что передано (дополнительно или вместо того, что было произнесено). Сама мысль о том, что это не одно и то же, способствовала пересмотру представлений о характере протекания коммуникации и привела к возникновению инференционной модели (от англ. *inference* — умозаключение). Принципиальная несимметричность данной модели (см. выше) обусловлена как раз потенциальными импликатурами, которые адресат может вообще не уловить или неправильно понять.

Другие виды скрытых смыслов дискурса

Импликатура — это лишь один из видов скрытых смыслов. Из прочих, наиболее известных, упомянем логические следствия (*Иван женат на Марии* → *Иван женат*), семантические пресуппозиции (*Иван знает, что столица США — Вашингтон* → *Столица США — Вашингтон*), прагматические пресуппозиции (допущения о том, что собеседник склонен знать или принять на веру), дедуктивный вывод (*Все люди смертны. Сократ человек. Следовательно, Сократ смертен*) и вероятностные умозаключения (инференции) (см., напр., [Brown, Yule 1983: 28–35; Cap, Dynel 2017])⁴⁹. Предпринимались попытки создания всеобъемлющей классификации скрытых смыслов (см., напр., [Масленникова 1999; Муханов 1999а; 1999б]), но в целом они выглядят довольно искусственно.

Логические следствия и семантические пресуппозиции не представляют особого интереса для дискурсивных исследований — в отличие от прагматических пресуппозиций и вероятностных умозаключений. Они будут рассмотрены более подробно.

В литературе представлены различные интерпретации понятия прагматической пресуппозиции (ср. [Макаров 2003: 135–137]). Для анализа дискурса наиболее подходящим кажется определение

⁴⁹ О принципах разграничения импликатуры и прочих скрытых смыслов см. содержательную статью [Bach 2006].

прагматической пресуппозиции как ряда предположений, допускаемых говорящим относительно того, что адресат склонен принять на веру, т. е. без возражений [Brown, Yule 1983: 29]. Прагматические пресуппозиции отнюдь не должны быть истинными, но считаются таковыми [Stalnaker 1972: 389].

Если с позиций данного определения рассмотреть различные виды дискурса, можно заметить интересные различия. Так, прагматические пресуппозиции, как правило, весьма обширны и «надежны» в научной и профессиональной коммуникации, а в других типах дискурса их объем и статус сильно колеблется в зависимости от участников коммуникации. В повседневном общении это связано с уровнем знакомства и характером отношений между коммуникантами. Если же говорить о дискурсе массмедиа, то прагматические пресуппозиции журналистов могут оказаться оправданными для одной аудитории, но не «сработать» у другой, не склонной принимать соответствующие утверждения на веру. То же верно и в целом для дискурса воздействия, прежде всего политического и рекламного.

Любопытный случай в этом отношении представляет собой художественная литература. На первый взгляд может показаться, что понятие прагматической пресуппозиции, в том виде, как оно определено выше, здесь совершенно нерелевантно. Казалось бы, какой смысл задаваться вопросами, действительно ли персонаж носит то или иное имя (Анна Каренина, Евгений Онегин и пр.), имеет описанные черты, совершил какой-то поступок и т. д. — ведь речь идет о вымышленном мире. Однако есть произведения, где авторы полагаются на доверие читателя, с тем чтобы его запутать и добиться необходимого художественного эффекта. Сюда относятся прежде всего случаи так называемого ненадежного рассказчика, представленные, к примеру, «Драмой на охоте» Чехова и рядом детективных произведений. Нарушение ожиданий рождает у читателя недоумение и даже возмущение (можно вспомнить скандал вокруг романа А. Кристи «Убийство Роджера Экройда»). А все дело в том, что, погружаясь в мир художественной литературы, человек «теряет бдительность» (в отличие, скажем, от новостных сообщений, публицистики, бытовых слухов и сплетен и пр.) и полностью доверяет

рассказчику. И автор, зная, что читатели склонны принимать на веру исходящую от него (а не от персонажей) информацию, злоупотребляет их доверием (более подробно см. [Марусенко, Скребцова 2019]). Представляется, что это один из приемов, на которых также строится литература абсурда.

Что касается инференций, их роль в дискурсе достаточно подробно описана еще в книге [Шенк 1980], посвященной автоматическому анализу текста. Р. Шенк с коллегами попытались использовать достижения когнитивной психологии для собственных разработок в области искусственного интеллекта. В частности, они отталкивались от мысли о том, что по мере восприятия текста человек неосознанно порождает некие предсказания (ожидания), касающиеся его вероятного продолжения: «... человек все время делает предсказания относительно предложений языка и частей отдельного предложения, которые ему должны сообщить. Предсказания иногда могут быть неверными, но они составляют важное звено процесса понимания» [Там же: 21]. Это и есть инференции (в цитируемой переводной книге они названы умозаключениями). Основное их назначение — соединять старую и новую информацию, восполняя эллипсисы, которые делает говорящий, полагаясь на способность слушающего восстановить требуемую информацию из контекста.

Инференции могут быть неверными, но именно случаи обманутого ожидания доказывают сам факт их существования. Пример такого рода приводит Ф. Джонсон-Лэрд [Johnson-Laird 1983: 127], предлагая представить себе следующее начало информационного сообщения: *Произошел сбой в системе связи. Авиакатастрофа привела к гибели 10 пассажиров...* По прочтении этого отрывка мы наверняка сделаем вывод, что пассажиры погибли в результате авиакатастрофы. Действительно, хотя текст не содержит такого утверждения, это представляется весьма вероятным, исходя из имеющихся у нас фоновых знаний. Однако далее может быть сказано: *...которые были арестованы вскоре после падения самолета и расстреляны как шпионы.*

Таким образом, порождение инференций — процесс непроизвольный, неосознанный и не всегда ведущий к получению правильной (истинной) информации. Он играет ключевую роль в обе-

спечении смысловой связанности практически любого дискурса, так как высказывание редко бывает эксплицитным на все сто процентов. По мере увеличения объема дискурса (вне зависимости от того, устный он или письменный, монолог или диалог и т. д.) полная эксплицитность становится все менее вероятной. Фундаментальная разница между инференциями и импликатурами состоит в их асимметричности: импликатуры закладываются говорящим, а инференции выводятся слушающим.

Теория релевантности

Одно из наиболее значимых достижений, связанных с развитием идей Грайса, — теория релевантности, которая была впервые заявлена в книге [Sperber, Wilson 1986]⁵⁰, а затем получила дальнейшее развитие в работах как самих авторов, так и других исследователей (см., напр., [Wilson, Sperber 2012; Clark 2013]). Релевантность напрямую связана с постулатом отношения Принципа Кооперации Грайса, который, по мнению М. Л. Макарова [2003: 131], оказался менее эксплицированным, чем прочие постулаты. Интуитивно за ним угадывается идея локальной когеренции, семантической связи между соседними высказываниями. Коммуникативные и когнитивные аспекты этой связи и стали предметом внимательного рассмотрения в теории Шпербера и Уилсон.

Авторы утверждают, что предложенный ими Принцип Релевантности способен заместить собой все постулаты Грайса. Релевантность высказывания понимается широко — как коммуникативная эффективность — и считается «мягкой» производной от следующих двух параметров [Там же: 132]:

- контекстуальных эффектов (умозаключений, возникающих при взаимодействии старой и новой информации): чем их больше, тем выше релевантность;
- когнитивных усилий, необходимых для его обработки: чем они ниже, тем выше релевантность.

⁵⁰ См. также русский перевод 3-й главы данной книги (с купюрами) в [Шпербер, Уилсон 1988].

Стратегия порождения релевантного высказывания предполагает, что говорящий все время производит колоссальную работу, мысленно анализируя альтернативные потенциальные высказывания с точки зрения объема контекстуальной поддержки и когнитивных затрат, с тем чтобы в итоге выбрать вариант, который характеризуется наибольшим перевесом контекстуальных эффектов над когнитивными усилиями. Этот вариант будет отвечать принципу максимальной релевантности.

Вышеприведенная формулировка релевантности, разумеется, ставит вопрос о том, каким образом следует подсчитывать контекстуальные эффекты (которых практически у любого высказывания может быть сколь угодно много) или измерять когнитивные усилия. Отсутствие внятного ответа представляет собой серьезную проблему для теории релевантности. Стремясь ее обойти, авторы иногда заменяют идею максимальной релевантности понятием оптимальной релевантности, не предполагающей количественных оценок (см. [Шпербер, Уилсон 1988: 233]). Но и это не проясняет того, каким образом говорящий осуществляет выбор конкретного высказывания из целого спектра возможных. В конечном счете все упирается в эффективность как единственный критерий, а это кажется весьма спорным.

По словам авторов, «индивид автоматически стремится к достижению максимальной релевантности, и именно представление о максимальной релевантности оказывает влияние на его когнитивную деятельность» [Там же: 228]. Столь сильное, не допускающее исключений обобщение о когнитивных принципах человеческой коммуникации не может не настораживать. В связи с этим М. Л. Макаров справедливо замечает, что хотя

...с точки зрения когнитивно-психологического обоснования динамики дискурса теория релевантности предпочтительнее логической прагматики Г. П. Грайса, но все-таки и она страдает от механицизма «картезианского человека», простиупающего в обосновании исключительной роли формально-дедуктивных инференций в речевой коммуникации [Макаров 2003: 132].

Продолжая тему сравнения Принципа Кооперации и теории релевантности, следует подчеркнуть, что они существенно разли-

чаются: в формулировках Грайса отсутствует идея максимизации каких бы то ни было параметров, а максимальная релевантность, в свою очередь, никоим образом не гарантирует соблюдения грайсовских постулатов. В то же время у них общие недостатки. Теория релевантности, также как и Принцип Кооперации, приходит в противоречие с Принципом Вежливости и оказывается не в состоянии объяснить случаи, когда выбор речевого акта продиктован не степенью информативности или объемом когнитивных затрат, а, скажем, стилистическими соображениями [Relevance Theory].

Дальнейшее развитие идей Грайса

Наиболее известные попытки реформировать постулаты Грайса связаны с именами Л. Хорна и С. Левинсона и совокупно описываются термином *неограйсианство*.

Хорн предложил заменить постулаты количества, отношения и способа двумя взаимосвязанными принципами, ср. [Horn 2004]:

- Принцип Q: Говори столько, сколько можешь.
- Принцип R: Говори не больше, чем должен.

Принцип Q, по мнению Хорна, включает в себя первый постулат количества и первые два постулата способа, в то время как Принцип R охватывает второй постулат количества, постулат отношения и последние два постулата способа. Их можно рассматривать как противоположные силы

Согласно Хорну, предложение *He broke a finger* заключает в себе импликатуру 'он сломал **свой** палец', в соответствии с Принципом R: нет необходимости делать более сильное утверждение (т. е. говорить больше), если соответствующая часть информации может быть получена путем импликации. В то же время предложение *He entered a house* несет в себе импликатуру 'он вошел в **чужой** дом', в соответствии с Принципом Q: если говорящий не передал дополнительную информацию, значит, она неверна.

Эти заявления, однако, не позволяют понять, почему в первом случае работает один принцип, а во втором — другой, и, соответственно, предсказать это для других высказываний. Хорн идет далее, высказывая идею разделения прагматического труда и формулируя Принцип M, связанный с употреблением маркированных

выражений для обозначения нетипичной ситуации. Его рассуждения подхватывает С. Левинсон [Levinson 2000], который пытается установить иерархию между указанными принципами в виде $Q > M > R$. Однако в полной мере объяснить возникновение тех или иных импликатур у конкретных высказываний у него тоже не вполне получается. Постулирование Принципа Оптимальности в работах Р. Блутнера знаменует усиление формального аппарата, но также не снимает всех вопросов. Мы не считаем нужным подробно останавливаться на этих исследованиях, поскольку они имеют весьма опосредованное отношение к анализу дискурса.

Принцип Вежливости

Постулаты вежливости

Выделение Принципа Кооперации стимулировало интерес к факторам, регулирующим речевое общение. Возможно, самое известное развитие этой темы связано с изучением категории вежливости в различных языках и культурах⁵¹ и сформулированным Дж. Личем еще одним коммуникативным принципом — Принципом Вежливости.

Отталкиваясь от постулатов Грайса, Лич выдвигает новый принцип, который, по его мнению, не только составляет необходимое дополнение к Принципу Кооперации, но и приоритетен по отношению к нему. Он действует на более общем (базовом) уровне межличностной риторики, обеспечивая социальное равновесие и хорошие отношения между людьми, что является необходимой платформой для сотрудничества в духе грайсовских постулатов [Leech 1983: 82]. Заметим, что сказанное вполне объясняет случаи «некооперации», о которых речь шла выше.

Вежливость тесно связана с понятием косвенности. Пропозициональное содержание некоторых речевых актов (прежде всего, директивов) невыгодно для адресата, и говорящий стремится мини-

⁵¹ Стимулом к исследованию этой темы послужила известная статья [Brown, Gilman 1960], посвященная проблеме выбора форм обращения *ты* и *Вы* в европейских языках в зависимости от соотношения факторов власти и солидарности (на материале европейских языков).

мизировать этот негативный эффект, удлиняя путь между своей коммуникативной целью и способом ее достижения, т. е. типом речевого акта. Таким образом, можно говорить о шкале косвенности [Leech 1983: 123]. Ср., к примеру, следующий ряд примеров, упорядоченных по нарастанию косвенности [Ibid.: 108]:

Answer the phone;
I want you to answer the phone;
Will you answer the phone?
Can you answer the phone?
Would you mind answering the phone?
Could you possibly answer the phone?
etc.

Другая шкала, которая имеет непосредственное отношение к понятию вежливости, описывается Личем через соотношение понятий «затрат» (*costs*) и «выгод» (*benefits*). Дело в том, что вежливость, как правило, асимметрична: то, что выгодно для говорящего, невыгодно для слушающего и наоборот. Соответственно, речевые акты, влекущие затраты для слушающего, будут невежливыми по отношению к нему (зато выгодны для говорящего), ср. *Почисти картошку; Передай мне газету*. Напротив, вежливые речевые акты типа *Съешь еще пирожное* связаны с затратами для говорящего [Ibid.: 107]. В целом соотношение затрат и выгод отражает баланс отношений между говорящим и слушающим, причем некоторые типы речевых актов (благодарность, извинение) специально направлены на восстановление ранее утраченного равновесия или хотя бы его частичную компенсацию [Ibid.: 125].

Принцип Вежливости Лича находит свое выражение в шести постулатах: такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия и симпатии, — причем каждый состоит из положительного утверждения (что следует делать) и отрицательного (чего делать не следует). Отрицательное считается важнее положительного: акцент сделан на предотвращение разногласий, а не на достижение согласия [Ibid.: 133].

Формулировки постулатов Принципа Вежливости выглядят следующим образом [Ibid.: 132–139]:

1. **Постулат такта:** «своди к минимуму затраты (*cost*) для адресата» и «доводи до максимума выгоды (*benefit*) для адресата». Например: *Не могли бы Вы мне помочь?; Будьте добры, скажите, пожалуйста, когда отправляется последний автобус?*
2. **Постулат великодушия:** «своди к минимуму выгоды (*benefit*) для себя» и «доводи до максимума собственные затраты (*cost*)». Например: *Заходи поужинать с нами; Хочешь, я одолжу тебе денег?*
3. **Постулат одобрения:** «своди к минимуму неодобрение по отношению к адресату» и «доводи до максимума одобрение по отношению к адресату». Например: *Как замечательно ты сегодня играл!; Как ты вкусно готовишь!*
4. **Постулат скромности:** «своди к минимуму похвалу себе» и «доводи до максимума неодобрение в свой адрес». Он часто проявляется в ответных репликах на похвалу кому-либо. Например: *Как Вы прекрасно выглядите! — Ну что Вы, это просто у меня новое платье!; Какая замечательная лужайка у Вас перед домом! — Ой, ну что Вы говорите, она так запущена, давно пора косить траву и пропалывать клумбы.*
5. **Постулат согласия:** «своди к минимуму несогласие между собой и адресатом» и «доводи до максимума согласие между собой и адресатом». В случае частичного несогласия ответная реплика строится по формуле «да, но...», ср.: *Английский язык очень сложный. — Да, но грамматика там простая.*
6. **Постулат симпатии:** «своди к минимуму антипатию между собой и адресатом» и «доводи до максимума симпатию между собой и адресатом». Специализированные речевые акты — это поздравления и соболезнования, причем передаваемая соответствующими глаголами иллокутивная сила позволяет опускать пропозициональное содержание высказывания (как правило, оно легко восстанавливается из внешнего контекста), ср.: *Я тебя поздравляю; Я тебе очень сочувствую.*

Совокупно смысл всех этих постулатов можно сформулировать следующим образом: если хочешь выглядеть вежливым, будь в своих высказываниях тактичен, великодушен и скромнен, не выказывай неодобрения и антипатии по отношению к адресату и по возможности соглашайся с ним.

Нетрудно заметить, что первые четыре постулата распадаются на две пары, построенные соответственно вокруг понятий выгод / затрат и одобрения / неодобрения. При этом первый постулат важнее второго, а третий важнее четвертого, поскольку вежливость по своей сути ориентирована больше на другого человека, чем на самого себя [Leech 1983: 133].

Исследования в области контрастивной прагматики показали, что существуют межкультурные различия в сравнительной значимости постулатов для разных регионов. Так, в Средиземноморье, на Кавказе и на Крайнем Севере главным признаком вежливости считается великодушие. В странах Юго-Восточной Азии выше всего ценятся скромность и согласие. Для европейцев приоритетным является постулат такта [Богданов 1993: 19–20].

Отдельные постулаты Принципа Вежливости могут вступать в противоречие друг с другом: к примеру, чрезмерное великодушие может выглядеть как хвастовство, что несовместимо со скромностью. Вторая часть постулата скромности, связанная с неодобрением в свой адрес, идет вразрез с постулатом согласия.

Помимо этого, возможен конфликт с постулатами Принципа Кооперации. Так, комплимент, представляющий собой реализацию постулата одобрения Принципа Вежливости, может нарушать первый постулат качества Принципа Кооперации. К его нарушению также может приводить соблюдение постулатов скромности и согласия. Иными словами, вежливость нередко требует отказа от правды, и культуры различаются между собой в том, что ценится выше [Там же: 20–21]. Постулат такта, реализующийся в косвенных речевых актах просьбы типа *Не могли бы Вы...*, *Не будете ли Вы столь любезны...*, нарушает третий постулат способа Принципа Кооперации, касающийся краткости выражения.

В более поздних работах Лича речь идет уже не о Принципе Вежливости, включающем шесть вышеперечисленных постулатов,

а об «общей стратегии вежливости» (*Grand Strategy of Politeness*). Ее общий смысл сводится к тому, что говорящий должен придавать больше внимания тому, что относится к адресату, и меньше внимания тому, что касается его самого [Leech 2014: 87–97]. Выделяются понятия абсолютной и относительной вежливости, где первая характеризует высказывания как таковые вне зависимости от контекста, а вторая связана с их оценкой в конкретных коммуникативных ситуациях [Ibid.: 147–176].

Помимо Принципа Вежливости, Лич кратко упоминает и о других принципах так называемой межличностной риторики, а именно Принципе Иронии, Принципе Подшучивания, Принципе Поллианны и Принципе Интереса. Принцип Иронии предписывает выражать свое возмущение не напрямую, а косвенно, с соблюдением норм вежливости, чтобы адресат смог его понять через вычисление имплицатуры, ср.: *Джефф только что взял твою машину. — Мне нравится его поведение!* Очевидное нарушение Принципа Кооперации заставляет адресата искать скрытый смысл и провоцирует примерно следующую цепочку рассуждений: «то, что говорящий сказал, очевидно вежливо по отношению к Джеффу, но неверно, следовательно, то, что он имел в виду, наоборот, невежливо по отношению к Джеффу, но верно» [Leech 1983: 82–83].

Принцип Подшучивания по своей сути противоположен Принципу Иронии: если последний является формой «псевдовежливости» (*mock-politeness*) — внешне любезным способом говорить обидные вещи, то первый, наоборот, можно назвать «псевдоневежливостью» (*mock-impoliteness*) — внешне агрессивным способом проявлять дружественные чувства. Например, в шахматах один игрок может сказать сопернику, характеризуя его ход: *Какой низкий поступок!* Ход мыслей адресата здесь такой: «То, что сказал говорящий, невежливо и очевидно неверно. Следовательно, то, что он имел в виду, вежливо и верно». Как и ирония, подшучивание должно легко распознаваться, иначе речевой акт окажется неуспешным и может спровоцировать коммуникативную неудачу [Ibid.: 144].

Принцип Поллианны связан с предпочтительным выбором приятных тем для разговора и стремлением избежать неприятных.

Последнее проявляется в эвфемизмах, литотах и в целом в стратегии смягчения категоричности негативных утверждений (*understatement*), ср.: *На собрание пришло не очень много людей; Ей немного рано заниматься этой работой*. Позитивные суждения, напротив, усиливаются и акцентируются [Leech 1983: 147–149]. Что касается Принципа Интереса, автор фактически не рассматривает его на страницах книги, ограничившись кратким комментарием [Ibid.: 151].

Позитивная и негативная вежливость

Важный вклад в исследование категории вежливости внесла книга П. Браун и С. Левинсона «Вежливость: Некоторые универсалии языкового употребления» [Brown, Levinson 1987]. Опорной категорией в ней служит понятие «социальное лицо» в значении ‘публичный имидж своей персоны’⁵², которое было введено в научный оборот социологом Э. Гофманом (его памяти, кстати, и посвящена рассматриваемая книга).

Браун и Левинсон исходят из того, что сохранение лица является существенным фактором, регулирующим общение людей. Развивая идеи Гофмана, они различают понятия «позитивное лицо» (*positive face*) и «негативное лицо» (*negative face*). Позитивное лицо отражает стремление индивида создать себе положительный имидж, который будет одобрительно воспринят партнером по коммуникации. Негативное лицо связано со стремлением человека сохранить свою свободу, самостоятельность, независимость, право оставаться самим собой, не испытывать давления и не принимать на себя неприятных обязательств [Ibid.: 61].

Понятие лица, по мнению авторов, задействуется в любом общении, причем многие речевые акты несут в себе угрозу для позитивного или негативного лица либо собеседника, либо самого говорящего. Рассмотрим подробнее все эти четыре варианта [Ibid.: 65–68].

⁵² Ср. русские выражения *потерять лицо, сохранить лицо*.

Разумный человек⁵³ стремится не испортить отношений с собеседником и потому сознательно старается минимизировать для него возможные риски потери лица. Очевидно, что целый ряд речевых актов — приказы, просьбы, советы, напоминания, угрозы, предупреждения — напрямую угрожают **негативному лицу адресата**. Есть и более косвенные источники угрозы, в частности, предложения и обещания со стороны говорящего в отношении собеседника, поскольку они требуют от последнего реакции — принять или отклонить — и в итоге, возможно, оказаться в долгу. Опосредованную угрозу негативному лицу собеседника несут также комплименты, высказывание восхищения, зависти и выражение сильных отрицательных эмоций в его адрес (гнева, ненависти и пр.): может возникнуть подозрение, что говорящий хочет навредить ему⁵⁴ или завладеть его «благами» (англ. *goods*, т. е. в широком смысле — то, чем он обладает, будь то материальное или идеальное).

Угрозу **позитивному лицу собеседника** несут, прежде всего, те акты, в которых говорящий высказывает негативные оценки в его адрес: это может быть неодобрение, критика, презрение, насмешка, жалоба, упрек, обвинение, оскорбление, а также возражение, несогласие, вызов. Посредством таких высказываний говорящий дает ясно понять, что ему не нравится что-то связанное с адресатом (его слова, поступки, качества, оценки, «блага»). В менее явной форме к этой же категории относятся высказывания, демонстрирующие безразличие говорящего к позитивному лицу адресата: выражение бурных негативных эмоций, неуважения, введение потенциально конфликтных тем разговора, сообщение плохих для адресата новостей и, напротив, хороших новостей о самом говорящем (хвостов-

⁵³ Понятие рациональности лежит в основе теории Браун и Левинсона (как, впрочем, и рассмотренных выше Принципов Кооперации и Вежливости). Авторы моделируют идеального говорящего, которому, помимо владения родным языком, приписываются два качества: «лицо» и рациональность, где последняя понимается как способность адекватно выбирать средства для осуществления цели [Brown, Levinson 1987: 58–59].

⁵⁴ Ср. специфичное для русской языковой картины мира понятие «сглазить».

ство), нарушение нормального течения разговора (перебывание, демонстративное молчание и т. д.).

Речевые акты, угрожающие лицу собеседника, могут также нести угрозу для лица самого говорящего. Достаточно очевидно, что **негативному лицу говорящего** угрожают благодарности и извинения в адрес собеседника, принятие на себя обещаний и предложений. Что касается принятия благодарностей, извинений или предложений, эти действия несут угрозу для обеих сторон, поскольку ущемляется независимость и того, кто осуществляет соответствующие речевые акты (см. выше), и того, кто, реагируя на них, стремится минимизировать потерю лица собеседника (ср. *Не стоит благодарности; Ну что Вы, пустяки, не стоит даже говорить об этом* и т. д.). Любопытный случай представляют собой допущенные собеседником промахи (оплошности, неверные шаги — франц. *faux pas*): давая понять, что он их заметил, говорящий рискует нанести ущерб лицу адресата, а игнорируя — самому оказаться в неудобном положении.

Наконец, **позитивному лицу говорящего** угрожают принятие похвалы в свой адрес (приходится либо принизить достоинства объекта комплимента, либо сделать встречный комплимент), самоуничтожение, признание своей вины или ответственности, неконтролируемые вспышки эмоций. Интересно, что извинения угрожают как негативному, так и позитивному лицу говорящего: признание своей вины несет ущерб и для имиджа, и для независимости.

Позитивное и негативное лицо каждого коммуниканта должны находиться в равновесии. Если растет стремление к положительной оценке со стороны окружающих, возникает риск потерять независимость; с другой стороны, рост независимости ослабляет социальные контакты и негативно сказывается на имидже. Что касается успешного социального взаимодействия, то для него требуется достижение некоторого баланса между стремлением к сохранению собственного позитивного и негативного лица с аналогичными стремлениями других людей. Именно этому, с точки зрения Браун и Левинсона, и служит вежливость, понимаемая как осознанное стратегическое поведение человека, направленное на поддержку своего лица и лица собеседника.

Вежливость бывает позитивная и негативная. Позитивная вежливость служит для поддержки позитивного лица собеседника. Говорящий демонстрирует, что он учитывает (принимает) по крайней мере часть притязаний собеседника и уважает его желание иметь собственное позитивное лицо. Стратегии позитивной вежливости включают выражения доброжелательности, дружеских чувств, уважения, согласия, солидарности, оптимизма [Brown, Levinson 1987: 101–129].

Стратегии негативной вежливости учитывают стремление собеседника к независимости и направлены на то, чтобы подчеркнуть отсутствие давления на собеседника. Говорящий подчеркивает свое отстраненное, сдержанно-уважительное отношение к собеседнику [Ibid.: 129–211].

Оба вида стратегий имеют характерные средства реализации. Основной коммуникативной тактикой, призванной минимизировать угрозу для лица собеседника, является косвенный речевой акт. Из языковых инструментов авторы упоминают гонорифики, безличные предложения, отдельные лексемы, некоторые фонетические и просодические средства. Сюда же, вероятно, следует отнести широкую категорию способов смягчения категоричности высказывания, совокупно именуемую по-английски *hedges* [Ibid.: 262–280].

Дальнейшие исследования категории лица и вежливости у разных народов⁵⁵ выявили существенные различия, которые, по-видимому, восходят к соотношению ценностей индивидуализма и коллективизма в той или иной культуре. В работах по межкультурной коммуникации утверждается, что славянские, кавказские, средиземноморские, а также латиноамериканские и африканские культуры характеризуются преобладанием позитивной вежливости, выражающейся в коллективизме, равнодушии, сердечности, гостеприимстве. В таких культурах коллективные ценности преобладают над индивидуальными (эгоцентричными). Стратегии негативной вежливости используются в отношении

⁵⁵ Подробнее о попытках применения теории Браун и Левинсона к другим культурам и сомнениях в ее универсальности см. [Руднева 2018: 37–42].

«чужих», а в отношении «своих» вежливость вообще может не использоваться: члены группы не считают нужным извиняться друг перед другом или благодарить за оказанную услугу, просьбы и пожелания выражаются открыто, и прямо не воспринимается как невоспитанность. Напротив, в Великобритании и странах Северной Европы доминируют стратегии негативной вежливости, что связано с той высокой ролью, которую индивидуализм играет в западной концепции личности. Принято благодарить и извиняться даже за самые незначительные одолжения: это считается нормальным даже в среде близких людей.

Разумеется, в реальной коммуникации этнокультурная принадлежность является лишь одним из факторов, влияющим на выбор стратегии вежливости и способов ее реализации. Рассматривать его изолированно мешает тесное взаимодействие различных параметров коммуникативной ситуации (в числе которых следует прежде всего назвать возраст, пол, статусные отношения, степень близости между собеседниками, степень официальности общения и пр.). Обобщения наподобие тех, что приведены выше, становятся возможны только при рассмотрении большого объема материала. Это сфера ведения межкультурной прагматики.

Другое направление в развитии данной темы связано с более глубоким анализом понятия вежливости применительно к дискурсивным практикам⁵⁶. Критики обращают внимание на то, что в интерпретации Браун и Левинсона вежливость фактически сводится к избеганию речевых актов, угрожающих лицу собеседника. Между тем в реальной коммуникации происходят гораздо более сложные процессы, связанные с задачей поддержания отношений (англ. *relational work, rapport management*) и допускающие и вежливое, и просто приемлемое, и даже откровенно невежливое (грубое) поведение (см., напр., [Locher, Watts 2005; Spencer-Oatey 2005]). Соответственно происходит расширение исходного предмета анализа: в сфере внимания оказывается также понятие невежливости (она же — антивежливость, или грубость, — см. обзор [Dynei 2015]). К настоящему времени изучение вежливости и антивежливости

⁵⁶ См. обзор этой «второй волны исследований» в [Руднева 2018: 52–59].

выделилось в самостоятельную область лингвистической прагматики. В последние годы подобные исследования стали проводиться и в нашей стране, ср. [Вежливость... 2018].

Коммуникативные стратегии и тактики

Исследования категории вежливости являются одним из аспектов изучения широкого класса коммуникативных, или речевых, стратегий. Понятие стратегии, заимствованное из военной области, применительно к вербальному общению также связано с выбором способа достижения цели. Ср.: «В естественной коммуникации трудно представить ситуацию, когда поставленную цель можно достичь с помощью одного-единственного обращения к партнеру. Это скорее исключение, чем правило. Речевое поведение вариативно — в том смысле, что решение коммуникативной задачи допускает несколько способов...» [Иссерс 2003: 52]. Стремясь к достижению своей коммуникативной цели, человек выстраивает определенную линию поведения, которая, с точки зрения М. Л. Макарова [2003: 194], и является в широком смысле его коммуникативной стратегией.

Более конкретную интерпретацию данного понятия находим у Иссерс [2003: 100–101], ср.: «Стратегия — это некоторая последовательность действий (в данном случае — речевых), организованных в зависимости от цели взаимодействия».

На вопрос о том, возможно ли речевое общение нестратегического характера, разные ученые отвечают по-разному. Так, существует широкое понимание речевой стратегии, согласно которому выразиться нейтрально в принципе невозможно и любая коммуникация носит стратегический характер. Противоположную позицию занимают те, кто усматривает стратегии лишь тогда, когда возникают какие-либо коммуникативные проблемы (ср. [Kasper, Kellerman 1997: 2–3]).

Нам представляется разумной промежуточная точка зрения, в соответствии с которой стратегия отсутствует там, где имеет место информирование «в чистом виде». Стратегия возникает там, где имеется установка говорящего на интерпретацию его выска-

звания. В этом смысле извещения о прибытии и отправлении транспортных средств, режиме работы, графике отпусков, проведении каких-либо мероприятий лишены стратегии, так как не предполагают конкретного индивида, с его желаниями и волей (ср. [Иссерс 2003: 103–104]).

Если стратегия выделяется с точки зрения цели речевой коммуникации, то тактика характеризует способы ее достижения⁵⁷. Стратегический замысел определяет выбор средств и приемов его реализации. Предположительно, стратегии как сверхзадачи обычно универсальны, в то время как тактики производны от национальных культур, традиции которых могут налагать запрет на некоторые из них [Там же: 112–113]. Так, на Востоке не принято открыто говорить *нет* (это считается невежливым) — вместо этого отказ оформляется уклончивыми фразами типа *Надо подумать, Посмотрим* и т. п.

Соотношение стратегии и тактик можно показать на примере способов избегания ответа на «неудобные» вопросы в научном диалогическом дискурсе (например, при защите диссертации). Цель (стратегия) здесь заключается в уклонении от ответа. Для ее реализации могут использоваться такие тактики, как игнорирование вопроса, эксплицитный отказ отвечать, неполный ответ, критика вопроса, переадресация вопроса, переключение темы и нек. др. [Задворная 2006].

Тактики, в свою очередь, состоят из отдельных приемов, которые можно назвать коммуникативными (речевыми) ходами, ср.: «Мы рассматриваем коммуникативный ход как прием, выступающий в качестве инструмента реализации той или иной речевой тактики» [Иссерс 2003: 117]. Описанную триаду понятий можно проиллюстрировать следующим примером: стратегия подчинения — тактики уговоров, просьбы, убеждения — коммуникативные ходы [Там же: 141–156]:

⁵⁷ Речевые, или коммуникативные, тактики не следует смешивать с речевыми актами. Речевая тактика может включать в себя как один, так и несколько речевых актов.

- «апелляция к чувствам, отношениям» (*Ты же меня любишь; Сделай это ради меня; Мы же друзья; Если бы ты меня любил...; Я к тебе со всей душой, а ты...*);
- «апелляция к качествам партнера» (*Тебе же это сделать — раз плюнуть; Мы без тебя как без рук; Ну ты не мужик, что ли?!; Тебе что, рубля жалко?*);
- «апелляция к разуму» (*Ну ты сам подумай; Тебе ли не знать; Тебе видней, но, по-моему, это глупо*);
- «апелляция к авторитету» (*Все делают так, а ты что — лучше?; Мешочки для ведра — весь мир знает, как это удобно; Даже N считает, что так лучше*).

Коммуникативные ходы отличаются большим разнообразием, и их характеристика определяется исходя из функциональной нагрузки в решении тактической и стратегической задач.

В когнитивном плане речевые стратегии направлены на коррекцию модели мира адресата [Иссерс 2003: 109]. Если целью коммуниканта является достижение долговременных результатов, стратегия речевого поведения охватывает планирование в соответствии с конкретными условиями общения и личностью собеседника, а затем реализацию выработанного плана.

Как человек выбирает стратегию и тактику? Важнейшим критерием является эффективность, оцениваемая по достижению максимального числа целей или наиболее важных из них. Разумеется, никогда невозможно гарантировать, что те или иные речевые действия принесут успех, но можно прогнозировать это с достаточно высокой долей вероятности. Планируя свое речевое поведение, коммуникант должен учитывать ситуационные параметры общения: уместность конкретной тактики зависит от статуса и личности адресата, официальной или неформальной обстановки и пр. Так, комплимент можно сделать знакомой, подруге, даже случайной попутчице в поезде, но вряд ли он допустим на экзамене в отношении преподавателя [Там же: 95].

Достоверность прогноза обусловлена объемом знаний об адресате и коммуникативной ситуации, в которой будет происходить общение, хотя эта зависимость неодинакова для различных тактик:

в целом ритуализованные речевые тактики (соблезнование, благодарность) менее зависимы, чем неритуализованные (к примеру, отказ, просьба, признание).

Когнитивный аспект деятельности говорящего связан со стратегическим выбором значимых единиц разных уровней, а также способов их организации. Слушающий интерпретирует речевые действия говорящего, исходя из собственного стратегического замысла. При этом, естественно, возможны всякого рода недопонимания: искренний комплимент может быть принят за лесть, сообщение воспринято в качестве косвенной просьбы и т. п. Для того чтобы избежать подобных проблем и обозначить свои речевые действия в плане коммуникативных намерений, говорящий может заранее прибегать к речевым формулам типа *не считайте за комплимент, не воспринимайте это как отказ, я ни в коем мере не хочу вас обидеть* и т. п. В случае, если неверная интерпретация уже произошла, говорящий использует так называемые корректирующие коммуникативные ходы [Иссерс 2003: 97].

Случается, что говорящий одновременно преследует несколько целей, которые могут конкурировать и даже противоречить друг другу. Их сочетание требует развитых коммуникативных навыков и гибкости поведения. Интересный случай такого рода описан Т. А. ван Дейком [Дейк 1989б: 268–304] на материале бытовых рассказов про представителей этнических меньшинств. По мнению автора, в этих рассказах проявляются как стратегия негативного изображения цветных меньшинств, так и стратегия позитивной самопрезентации (обусловленная соображениями политкорректности). Первая реализуется при помощи таких коммуникативных ходов, как «обобщение» (*И так всегда; С этим сталкиваешься на каждом шагу*), «усиление» (гиперболизация посредством слов *все, всегда, везде* и т. п.), «пресуппозиция» (*Я не понимаю, почему они злоупотребляют нашим соцобеспечением*), «импликация» (*Они всегда прекрасно одеты, Я видел свой велосипед у него*). Характерными проявлениями второй служат ходы «уступка» (*Среди них попадаются и хорошие люди, Не стоит обобщать*) и «уклонение от ответа» (*Не знаю, Я с ними не общаюсь, Мне все равно, У меня нет времени*).

Исследователь утверждает, что фактор положительной самопрезентации оказывается сильнее у лиц с высоким уровнем образования и социальным положением. Для смягчения негативных суждений в адрес этнических меньшинств они часто используют характерные ходы «псевдоотрицания» (*Я человек без предрассудков / я не расист / ничего против них не имею, но...*), «псевдоуступки» и «псевдосочувствия» [Van Dijk (ed.) 1997b: 170, 173].

Мена коммуникативных ролей

Мена коммуникативных ролей, или взятие репликового шага (англ. *turn-taking*), — неотъемлемый атрибут общения⁵⁸. В нормально протекающем общении мы обычно не замечаем, как слово переходит от одного участника к другому. Лишь отклонения от привычных норм привлекают внимание к этому феномену, тем самым показывая, что он существует. Различают следующие виды мены коммуникативных ролей [Макаров 2003: 191]:

- 1) мена коммуникативных ролей с наложением реплик или перебиванием;
- 2) «гладкая» мена коммуникативных ролей (*latching*);
- 3) мена коммуникативных ролей после паузы.

Мена коммуникативных ролей, хотя и выглядит на первый взгляд хаотичной, все же подчиняется некоторым закономерностям, описанным впервые представителями школы конверсационного анализа (см. Приложение 1 к главе 2). Прежде всего, следует различать мена коммуникативных ролей по инициативе говорящего и по инициативе слушающего. Последняя обычно выражается в перебивании, и по этому вопросу существует обширная литература (см. также Приложения 1 и 2 к настоящей главе). Если же инициатива мены принадлежит говорящему, она может осуществляться следующими способами [Там же: 190–191]:

⁵⁸ Обзор различных концепций и моделей мены коммуникативных ролей см. в [Аристов 2001].

- следующий участник общения, которому дается слово, явным образом назначается, причем от него ожидается вполне определенный ход (это характерно для институционального дискурса, особенно в условиях жесткого регламента);
- первый ход в обмене типа «вопрос — ответ» определяет следующий ход, но говорящий не назначается, хотя часто подразумевается;
- нередко встречается и так называемая нулевая регуляция, когда сами участники общения должны решить, кто из них продолжит разговор и каким образом; если никто не захотел взять слово, говорящий продолжает свою речь (характерна для общения давно и хорошо знакомых людей).

Стилистика взятия репликового шага различается: наряду с нейтральным, можно выделить конфронтативный и аффилятивный стили [Аристов 2001]. Нейтральный стиль воплощает представления об идеальной, гладкой мене ролей, проходящей с минимальными паузами и наложениями реплик. Основная сфера его реализации — это институциональная коммуникация, предполагающая соблюдение определенных конвенций и норм, но он может также встречаться в ситуациях непродолжительного общения незнакомцев. Конфронтативный стиль включает многократные перебивания собеседника, направленные на захват коммуникативной инициативы, и характеризуется высоким темпом речи. Аффилятивный стиль, служащий укреплению социального контакта, типичен для неформального речевого взаимодействия. Для него характерны синхронные речевые ходы, сигнализирующие поддержку и одобрение, а также перебивания и перехваты, осуществляемые на кооперативной основе и направленные, в частности, на экономию времени (нет необходимости дослушивать собеседника, когда основное содержание его реплики уже понятно).

Существуют особые сигналы мены коммуникативных ролей, к числу которых относится интонация высказывания и другие компоненты фонации, паралингвистические средства, грамматические (в особенности синтаксические) показатели. Организации диалогического взаимодействия служат также специальные

коммуникативные ходы типа *Знаете (ли)...*, *Так ведь?*, *Правда?*, так называемые разделительные вопросы (*tag questions*) в английском языке, компоненты высказывания *oder?*, *nicht wahr?* в немецком языке и т. п. [Макаров 2003: 191–192].

Мена ролей — один из тех феноменов, которые обычно осуществляются подсознательно, автоматически, и потому она долгое время не привлекала внимания исследователей. В то же время она является важным параметром при описании дискурса, одним из центральных критериев для построения его типологии: ведь именно меной коммуникативных ролей обыкновенная непринужденная беседа отличается от институциональных форм коммуникации [Там же: 192].

Коммуникативная инициатива

Речевое общение нередко характеризуется неравноправием: кто-то из участников начинает общение и своими коммуникативными ходами навязывает остальным определенные пути развития дискурса. О таком участнике можно сказать, что он безраздельно владеет коммуникативной инициативой, ср.: «Под инициативой мы понимаем ведущую роль в коммуникативной деятельности на определенном этапе диалога» [Иссерс 2003: 213].

Понятие коммуникативной инициативы легко понять на фоне «нормального», естественного порядка мены ролей в диалоге, когда коммуниканты правильно прогнозируют реакции друг друга и, с одной стороны, не перебивают друг друга, а с другой — не «сваливают» заботу о поддержании разговора на партнера. В каждый момент один из собеседников оказывается в роли ведущего, а другой — в роли ведомого; участники регулярно меняются ролями, что равносильно переходу инициативы.

Однако далеко не в любом общении мена ролей и перераспределение инициативы происходит гладко и естественно. Взятие коммуникативного шага иногда достигается специальными усилиями одного из коммуникантов вопреки воле другого, в острой конкурентной борьбе. Подобные сознательные усилия, направленные на завладение коммуникативным шагом, можно квалифицировать

как захват коммуникативной инициативы; они демонстрируют отклонение от описанной выше нормы.

Необходимо различать и не смешивать между собой категории коммуникативного и психологического лидерства. А. А. Романов [2009] в связи с этим отмечает, что роль диалогического лидера остается до начала общения, точнее говоря, до завершения фазы установки контакта практически вакантной, несмотря на то что любой из партнеров может делать заявки (претендовать) на эту роль. Важно также, что авторитет того или иного участника в других сферах деятельности не является необходимым и достаточным признаком лидера в диалоге.

Все, о чем шла речь выше, касается ситуации неформального диалога между равными участниками. В институциональном общении инициатива в подавляющем большинстве случаев принадлежит участнику с более высоким статусом. Он остается ведущим на протяжении всего разговора. Ведомый, хотя и участвует в разговоре, не оказывает существенного влияния на его ход.

Обладание коммуникативной инициативой проявляется в ряде признаков, ни один из которых, впрочем, не является ни необходимым, ни достаточным. Взятые в совокупности, однако, они позволяют судить, кому в разговоре принадлежит инициатива (ср. [Макаров 2003: 218–221]):

- 1) на уровне индивидуальных коммуникативных ходов: преобладание предписывающих ходов (вопросов, приказов, просьб и т. д.). Сам по себе это довольно слабый признак, в особенности в том, что касается вопросов: одно дело — вопрос, открывающий обмен в вопросно-ответном единстве, и совсем другое — переспрос по ходу чужого рассказа;
- 2) на уровне элементарных последовательностей речевых ходов: умышленное нарушение хода общения (ответ вопросом на вопрос, молчание в качестве протеста). Поступая так, участник демонстрирует свое право нарушать плавное течение разговора и делает заявку на более высокий статус;
- 3) с точки зрения мены коммуникативных ролей:

- перебивание;
 - агрессивное взятие шага вместо кого-то другого (даже если тот был назначен говорящим);
 - подхват, завершающий чужой коммуникативный ход, который тем самым «присваивается» новым говорящим;
- 4) с точки зрения способов и путей развития темы разговора: стремление участника к развертыванию важных, интересных и приятных для него самого тем и свертыванию тех, что, возможно, имеют значение для собеседника. Признаком коммуникативной инициативы является введение, защита и сохранение своей темы, что обычно связано с отказом принять или развивать чужую тему;
- 5) в аспекте норм общения: участник, владеющий коммуникативной инициативой, устанавливает и регулирует тональность и стиль общения, сокращая, сохраняя или увеличивая социально-психологическую дистанцию. Кроме того, он контролирует распределение ролей, очередность ходов и стиль общения других участников (ср.: *Не все сразу!; Ты не должен так разговаривать с бабушкой!* и т. п.).

Коммуникативная инициатива является одним из средств воздействия на собеседника, ведения межличностной борьбы и осуществления стратегических замыслов. С функциональной точки зрения, некоторые ходы и даже целые речевые стратегии направлены на удержание или овладение коммуникативной инициативой. В книге [Иссерс 2003: 215–216] предложена стройная типология способов перераспределения и сохранения инициативы.

Итак, перераспределение инициативы может происходить:

- 1) по воле говорящего. Возможные варианты:
 - «передача инициативы» (происходит не вопреки намерению партнера),
 - «навязывание инициативы» (происходит вопреки намерению партнера);
- 2) за счет усилий второго коммуниканта. Возможные варианты:
 - «взятие инициативы» (передача инициативы осуществляется с согласия первого коммуниканта),

- «перехват инициативы» (происходит вопреки намерению партнера и может различаться по степени активности (вежливости) коммуниканта).

Сохранение инициативы в руках одного коммуниканта может обеспечиваться:

1) его собственными усилиями. Возможные варианты:

- «сохранение инициативы» (если партнер не против),
- «удержание инициативы» (более жесткий тип речевого поведения);

2) усилиями партнера. Возможные варианты:

- «поощрение инициативы» (более вежливая форма),
- «уклонение от инициативы» (принуждение первого коммуниканта сохранять инициативу).

Можно заметить, что различие между перечисленными вариантами сводится к действию ограниченного набора факторов, а именно: усилий собеседников (первого или второго), позиции (намерению) партнера, степени активности (или вежливости) того, кто осуществляет перераспределение инициативы, а также (в некоторых случаях) праву выбора, которое может быть или не быть предоставлено партнеру.

Приложение 1. Исследования этнокультурного аспекта устного дискурса (интеракциональная социолингвистика)

Межкультурные различия в дискурсе и их изучение

Интерес к национально-культурной специфике коммуникации, возникший после Второй мировой войны на фоне крушения колониализма и обретения независимости странами Африки, Азии и Латинской Америки, в последующие десятилетия только возрастал. Этому способствовали падение «железного занавеса» и окончание холодной войны, массовые миграционные процессы и, как результат, этническая неоднородность населения в промышленно развитых странах, возникновение транснациональных корпораций, бурное развитие новых информационных технологий. Несмотря на современные глобализационные процессы, приводящие к стиранию различий в образе жизни в разных странах, культурная специфика сохраняется и продолжает определять особенности мышления и поведения различных народов.

Острые для современного мира проблемы межнационального общения вызвали к жизни такие сравнительно новые направления исследований, как межкультурная коммуникация и лингвокультурология. В их рамках изучается, в частности, коммуникативное поведение разных народов, ср. серию построенных по единой модели описаний, созданных воронежскими лингвистами под руководством И. А. Стернина (см., напр., [Прохоров, Стернин 2002]).

Межкультурные различия проявляются как на вербальном, так и на невербальном уровне коммуникации. В дискурсивном анализе основное внимание уделяется вербально проявляющимся различиям. Семиотика жестов в разных культурах, несомненно, представляет большой интерес, но является самостоятельным предметом изучения, ср. [Крейдлин 2002].

Для успешного речевого общения человеку требуются следующие три вида знаний [Богданов 1990: 10–11]:

- лингвистические, относящиеся к языку и его устройству (ср. понятие языковой компетенции у Н. Хомского);

- энциклопедические, характеризующие устройство мира;
- интерактивные, отражающие принятые в обществе формы и конвенции речевого поведения (ср. понятие коммуникативной компетенции, введенное Д. Хаймсом).

Последний вид знаний стал изучаться сравнительно недавно, хотя для понимания межкультурного аспекта общения он чрезвычайно важен. Интерактивные знания отражают конвенции речевого взаимодействия в той или иной культуре и включают нормы речевого этикета в стандартных речеповеденческих ситуациях — при общении с незнакомыми людьми на улице, с друзьями, соседями, в семье, в гостях, в официальном учреждении, с начальником, коллегами, в разговоре между мужчиной и женщиной, при письменной коммуникации и пр. Они включают также принятые в определенных ситуациях этикетные формулы, стандартные темы, сценарий и продолжительность общения, частоту и приоритеты общения в различных группах людей, статусно-ролевые ограничения коммуникативного поведения (связанные с полом, возрастом, служебным положением) и т. д.

Интерактивные знания необходимы для адекватного построения различных типов речевых актов: приветствия, просьбы, благодарности, соболезнования, комплимента, выражения недовольства, демонстрации дружелюбия (или враждебности), запрета (или позволения), приглашения, совета и пр. Этот вид знаний включает также особенности реализации принципов речевого общения в разных культурах (см. выше).

Исследования различий в порождении и понимании дискурса, обусловленные разной этнокультурной принадлежностью коммуникантов, относятся к области социолингвистики, поскольку речь в них идет о вариативности, обусловленной социологической переменной (принадлежностью к той или иной культуре). Спектр подобных работ весьма широк. Они могут фокусироваться на разных компонентах речевой ситуации: говорящем (что, кому и как он говорит в условиях межкультурного общения), слушающем (как и почему он интерпретирует сказанное тем или иным образом), содержании сообщения (какие темы являются допустимыми, а какие — напротив, нежелательными или даже табуированными

в разных культурах), особенностях вербального выражения (виды коммуникативных стратегий, феномен перебивания, переключение кодов (*code-switching*) в зависимости от темы и слушателя и др.). Но поскольку изолированно рассматривать их невозможно, в анализ неизбежно вовлекается вся коммуникативная ситуация в целом, вне зависимости от того, какой параметр берется за основу.

Интеракциональная социолингвистика

В 1970-е гг. под влиянием этнографии коммуникации Д. Хаймса в США сложилось новое направление — интеракциональная социолингвистика, которая сосредоточила свое внимание на культурно обусловленных различиях в дискурсе. Возглавляемое лингвистом Джоном Гамперцом, это направление стремилось интегрировать достижения культурной антропологии, социологии и лингвистики и разработать интерпретативный социолингвистический подход к проблемам межличностного общения, обусловленным принадлежностью коммуникантов к разным культурам (подробнее см., напр., [Schiffrin 1994: 93–136; Jaspers 2012]). Оно наиболее наглядно воплощает в себе идеи, лежащие в основе интеракционной модели коммуникации (см. главу 3).

В центре внимания интеракциональной социолингвистики находились межкультурные различия в способах выражения коммуникативного намерения и интерпретации высказывания. Учитывался широкий спектр как вербальных, так и невербальных компонентов речевого общения, а также внешний контекст. Основное место занимал анализ коммуникативных неудач (случаи непонимания, недоразумений, обманутых ожиданий и пр.). В качестве материала использовались записи разговоров в малых группах (как правило, два и более человек), где по крайней мере один из участников не принадлежал к доминирующей культуре белых американцев (был выходцем из Юго-Восточной Азии или афроамериканцем). В поле зрения попадали не только (и не столько) неудачи, обусловленные тем, что не для всех участников английский был родным языком, но и неудачи, связанные с разной культурной принадлежностью и, следовательно, различными представлениями об использовании языка в тех или иных ситуациях.

Записи разговоров прослушивались не только исследователем, но и информантами — носителями соответствующих культур. Информантов просили прокомментировать отдельные реплики на предмет коммуникативного намерения говорящего, особенностей языкового оформления высказывания и пр.: им задавали вопросы типа *Что, по-Вашему, хотел сказать говорящий?*; *Почему Вы так считаете?* и т. п. Привлечение информантов было призвано повысить обоснованность анализа и надежность выводов.

Теоретической предпосылкой исследований служил тезис о том, что значение высказывания обладает высокой контекстной зависимостью, гибкостью и лабильностью, а потому не может быть выведено из каких бы то ни было общеизвестных, закрепленных, контекстно-свободных знаний (правил⁵⁹). Нередко одно и то же высказывание может быть истолковано по-разному в зависимости от конкретных говорящих, слушающего и контекста, причем в каждом случае коммуникативное намерение говорящего может расходиться с тем, как его воспринимает слушающий. В отношении интерпретации уместен лишь вероятностный подход: можно говорить о большей или меньшей вероятности того, что высказывание будет понято определенным образом.

Как же сами участники коммуникации интерпретируют реплики друг друга? Считается, что они делают это на основе определенных ожиданий и с учетом того, что Гамперц назвал *контекстуализирующими сигналами* (англ. *contextualization cues*). Контекстуализирующие сигналы (которые могут быть вербальными или невербальными) играют роль своеобразных намеков или подсказок, позволяющих людям быстро ориентироваться по ходу разговора. В каждой культуре существует свой набор конвенциональных сигналов, сложившийся благодаря постоянной практике общения членов одного языкового сообщества между собой. Умение их «считывать» позволяет слушающему делать ситуативные выводы (англ. *situated inferences*) относительно того, что хотел сказать говорящий. Если коммуни-

⁵⁹ В интеракционной социолингвистике слово *правило* практически не употреблялось — вместо этого речь шла о стратегиях и принципах речевого поведения.

кант не знает этих сигналов или не сумел их вовремя распознать, он не сможет вывести смысл реплики собеседника и понять его коммуникативное намерение. Подобные неудачи часто случаются в межкультурном общении.

Во главу угла интеракциональная социолингвистика, таким образом, поставила не языковые структуры, а категорию ситуативно обусловленного смысла. Соответственно, огромное значение придавалось контексту. Постулировалась взаимная обусловленность языка и контекста: язык создает контекст и в то же время зависит от контекста. Исследователи стремились выявлять различные виды контекстов, соотносить их со значением и функциями высказываний и анализировать, каким образом человек извлекает смысл из реплик собеседника. Понятие контекста в интеракциональной социолингвистике охватывает как внешний контекст, так и внутренний (когнитивный). Утверждается, что контекст по своей сути социален, наполнен социальными смыслами. Даже внутренний контекст имеет социальную природу, так как включает знание человека о социальных ситуациях и ожидание от собеседника определенного общественного поведения.

Во вступительной статье к вышедшей под редакцией Гамперца коллективной монографии «Language and Social Identity» (1982) высказывается предположение, что набор коммуникативных задач, с которыми повседневно и повсеместно сталкиваются люди во всем мире, практически универсален и может быть представлен в виде списка, включающего, к примеру, повествование, объяснение, наставление, возражение и др. Но способ реализации этих коммуникативных задач варьируется, и вариативность эта объясняется в том числе этнокультурным фактором [Gumperz, Cook-Gumperz 1982: 11–12]. Ниже рассматриваются отдельные примеры исследований, выполненных в рамках интеракциональной социолингвистики и опубликованных в вышеупомянутой монографии. Каждое из них акцентирует тот или иной аспект межкультурных различий в устном дискурсе⁶⁰.

⁶⁰ В наши дни подобные исследования обычно относят к области межкультурной прагматики, ср. [Tannen 2005].

Прямые vs. косвенные коммуникативные стратегии

Дебора Таннен, известная своими исследованиями гендерных различий в дискурсе (см. ниже), является также автором статьи, посвященной этнокультурной специфике речевого поведения [Tan-
nen 1982]. Для обозначения комплекса социально обусловленных особенностей речи она пользуется термином *коммуникативный стиль* (англ. *conversational style*). Коммуникативный стиль может с равным успехом считаться как следствием, так и показателем принадлежности коммуниканта к определенной социальной группе [Ibid.: 230].

По мнению автора, стиль прежде всего подразумевает определенные речевые стратегии. Он усваивается человеком в раннем возрасте и часто оказывается более устойчивым, чем сам язык: обычно уже третье поколение эмигрантов утрачивает язык, а речевые стратегии могут сохраняться и дольше [Ibid.].

Коммуникативный стиль проявляется и в том, как человек подходит к решению коммуникативных задач, и в его восприятии речевого поведения других людей. Хорошим примером может служить феномен перебивания. Так, у еврейских иммигрантов в Нью-Йорке принято говорить практически одновременно, перекрывая реплики друг друга: такое поведение воспринимается как нормальное явление, свидетельствующее о равнодушии, сопричастности собеседника, а вовсе не о его агрессивности. Однако такое восприятие совсем не характерно, например, для выходцев с американского Среднего Запада. И тем более невероятным оно выглядит в культуре аляскинских атабасков, презирающих пустую болтовню и выше всего ценящих молчание [Таннен 1996: 284–286].

Предметом анализа в рассматриваемой статье является другой аспект коммуникативного стиля — параметр «прямота / косвенность», т. е. использование участниками прямых или косвенных коммуникативных стратегий для достижения своих целей. Материал составили диалоги между супругами, живущими в США, но принадлежащими к разным этническим группам: «коренным» американцам, не имеющим предков-греков в обозримом прошлом, первому поколению греков-иммигрантов (родившихся в Греции)

и последующим поколениям греков-иммигрантов (родившихся уже в США). Все записи были сделаны в Нью-Йорке и Калифорнии.

Таннен исходит из того, что само по себе использование косвенных стратегий не мешает взаимопониманию людей, если они принадлежат к одной культуре. Так, греки, которым присущи такие стратегии, испытывают не больше проблем в общении, чем коренные американцы, использующие прямой стиль. В подтверждение она ссылается на рассказ гречанки 65 лет о том, как до замужества она всякий раз должна была спрашивать отца, можно ли ей куда-то пойти. Отец никогда прямо ничего ей не запрещал (напротив, формально как бы разрешал), но по его ответу она всегда могла безошибочно вычислить его мнение. Если он говорил *An thes, pas* (*Если хочешь, можешь идти*), это означало отказ, а если *Ne. Na pas* (*Да, конечно, сходи*) — согласие. Важную роль при этом также играл интонационный контур высказывания [Tannen 1982: 219].

Как отмечает Таннен, общение при помощи косвенных стратегий на первый взгляд кажется довольно сложным, но оно имеет свои преимущества. Во-первых, косвенные стратегии позволяют быть понятным и достичь цели, не прибегая к прямым объяснениям и просьбам, что сопряжено с угрозой для собственного позитивного лица (см. выше). Во-вторых, в случае несогласия партнера или его нежелания пойти навстречу всегда можно дать обратный ход, заявив что-то типа *Я этого не говорил* или *Я вовсе не это имел в виду* [Ibid.: 218].

В случае смешанных браков коммуникативные неудачи (иной раз приводящие к конфликтам) нередко возникают из-за того, что муж и жена в силу своей разной этнокультурной принадлежности привыкли к разным коммуникативным стилям. Однако это различие не осознается и не принимается во внимание. Так, муж машинально исходит из предположения, что жена при интерпретации его слов и построении ответной реплики пользуется той же стратегией, что и он сам. Аналогично и тоже не сознавая этого, поступает жена. В результате каждый неверно вычисляет коммуникативное намерение партнера, а затем пытается реагировать, закладывая в свои слова ожидания, которые, в свою очередь, неправильно воспринимаются, и так может продолжаться

довольно долго, пока собеседники вдруг не поймут, что говорят о разных вещах. По наблюдению Таннен, по прошествии многих лет супруги не всегда научаются лучше понимать стили друг друга. Ранние эмоциональные впечатления, что партнер упрям, неразумен и т. п., не будучи истолкованы с позиций коммуникативного стиля, впоследствии укрепляются и превращаются в стойкие убеждения [Tannen 1982: 220].

Обратимся к примеру из собранного Таннен материала [Ibid.]. Участники диалога следующие: жена — еврейка, родилась в Нью-Йорке, ей свойственна прямота; муж — грек, ему свойственна косвенность.

Жена: *John's having a party/ Wanna go?*

Муж: ОК.

(позднее)

Жена: *Are you sure you want to go to the party?*

Муж: ОК, *let's not go/ I'm tired anyway.*

В итоге супруги не пошли на вечеринку, хотя (как выяснилось позднее) оба хотели сходить. Каждый при этом считал, что так произошло из-за нежелания партнера, и потому остался недоволен и обижен.

В соответствии с принятой в интеракциональной социолингвистике методологией, коммуникантов просили шаг за шагом прокомментировать то, как они интерпретировали реплики собеседника и какой смысл вкладывали в собственные слова. Жена говорила, что в вопросе об участии в вечеринке была готова подчиниться решению мужа и потому захотела позднее еще раз уточнить, точно ли он хочет идти. Она считала, что тем самым проявляет заботливость и внимание, и была удивлена, что он так быстро изменил свое намерение. В соответствии с привычными для себя прямыми речевыми стратегиями, она ожидала, что супруг будет напрямую сообщать ей о своих желаниях. Муж же интерпретировал ее речевое поведение иначе, согласно характерному для него косвенному стилю. Когда жена в первый раз спросила о вечеринке, он решил, что она хочет на нее пойти, и потому согласился. Когда

же она вновь подняла эту тему какое-то время спустя, он счел, что она, должно быть, передумала и теперь ему об этом намекает. Он опять пошел ей навстречу — даже придумал причину, чтобы не ходить: со своей стороны, он тоже изо всех сил старался быть внимательным. Но получилось, что каждый неверно интерпретировал коммуникативное намерение партнера.

Далее Таннен предложила информантам из указанных выше групп сделать выбор в пользу прямой или косвенной интерпретации реплик на материале этого и подобных диалогов, а затем провела статистический анализ ответов, соотнося их с этнокультурной принадлежностью информантов. В целом греки-иммигранты первого поколения выбирали преимущественно косвенную интерпретацию, американцы, не имеющие предков-греков, высказывались в пользу прямой интерпретации, а родившиеся в США потомки греков располагались между ними, несколько ближе к грекам.

В анкетах также было два открытых вопроса, а именно: а) что в репликах жены и мужа заставляет вас понимать их слова именно так? и б) как они должны были выразиться, чтобы вы выбрали другую интерпретацию? Полученные результаты в общем подтвердили описанную выше тенденцию к широкому использованию косвенных стратегий в греческой культуре.

Как заключает Таннен, человек, причастный двум культурам, подобен билингову, в том смысле что он способен учитывать обе речевые стратегии и соответствующим образом переключаться. Но это требует постоянного контроля за своими словами и мыслями, а бытовое общение обычно происходит автоматически, неосознанно. Поэтому едва ли владение различными речевыми стратегиями способно избавить от коммуникативных неудач [Tannen 1982: 228–229].

Конвенции речевого жанра и контекстуализирующие сигналы

Несколько работ в вышеупомянутом сборнике посвящены такому жанру институционального дискурса, как собеседование при приеме на работу. Этот речевой жанр представляет интерес в ряде аспектов.

Во-первых, собеседование, в отличие от бытового разговора, обладает хорошо выраженной структурной организацией. Участники имеют четкую коммуникативную цель (соискатель хочет получить работу, работодатель стремится выбрать наиболее достойного кандидата), настроены на ее достижение, и все общение этому подчинено. Собеседование обычно строится по определенной схеме, ср. [Jurr et al. 1982: 251].

Во-вторых, будучи жанром институционального дискурса, собеседование характеризуется неравноправием коммуникантов. Работодатель находится в привилегированном положении: он контролирует ситуацию и владеет коммуникативной инициативой. В его власти начинать и заканчивать разговор, затрагивать те или иные темы, перебивать собеседника, запрашивать у него информацию. От претендента ожидают, что он будет отвечать на все вопросы, объяснять, предоставлять сведения, послушно становиться предметом чужой оценки. Он не должен выступать с какими бы то ни было вопросами или инициативами, разве что может попросить разъяснений по поводу работы, но его реплики могут быть оставлены без внимания. Работодатель определяет не только тематику и ход диалога, но и его стилистику: именно он зачастую инициирует переход к менее формальному стилю, начиная обращаться к собеседнику по имени. Неравноправие проявляется и в разном доступе к информации. В то время как работодатель знаком с резюме кандидата и считает себя вправе запрашивать любые дополнительные сведения, последний часто даже не знает фамилии своего собеседника. Все это обуславливает интерес к жанру собеседования со стороны приверженцев критического анализа дискурса.

Для интеракционной социолингвистики интервью представляет интерес в силу того, что этот жанр предполагает общение в малой группе. Материал исследований составляют те случаи, где изначальное неравноправие сторон усугубляется разной этнокультурной принадлежностью работодателя (как правило, представителя белого большинства) и соискателя (афроамериканца, индуса и пр.). Поскольку конвенции речевого общения в разных социальных группах различны, в выгодном положении

оказываются те соискатели, которые принадлежат к одной группе с работодателем. У них больше шансов распознать коммуникативные намерения интервьюера, правильно интерпретировать его слова, извлечь скрытый смысл, адекватно (с точки зрения стилистики, просодики, лексики, грамматики) сформулировать собственные ответы и т. д. Все это повышает вероятность успешного прохождения собеседования. Иначе обстоит дело у представителей этнических меньшинств, где несовпадение конвенций речевого общения провоцирует коммуникативные неудачи и в итоге мешает получить работу.

Обратимся к рассмотрению двух диалогов, в которых соискателем (A — *applicant*) выступает индус, претендующий на место библиотекаря в колледже. Поскольку у него есть диплом о профильном образовании, представляющие работодателя члены комиссии (I — *interviewer*) заинтересованы в том, чтобы принять его на работу. Несмотря на эти благоприятные условия, претендент проваливает собеседование, будучи, по-видимому, незнаком с особенностями жанра и оказавшись неспособным распознать контекстуализирующие сигналы. Ср. [Jupp et al. 1982: 252]:

I: *One last question, Mr. Sandhu, why are you applying for this particular type of job in a college — a librarian's job in a college?*

A: *Well, in fact, I have, up till now — um — previous to my — this job which I'm at present doing, I did send about 150 applications and my present job that was the only interview I got and I was accepted there and I was given that job doing and that is a temporary job as you know. Job is going to finish next December — so I desperately need another job — I've already sent about 50 applications but this is my second interview.*

I: *I see, thanks very much.*

Из ответа соискателя очевидно, что он интерпретировал вопрос члена комиссии буквально и в ответ стал объяснять, почему он нуждается в работе. Между тем подобного рода вопросы при собеседовании на работу содержат скрытый смысл, связанный с ожиданием услышать от кандидата уверения в собственной подготовленности и горячем желании занять предлагаемое место. Соискатель, вероятно, этого не знал.

Комиссия сочла ответ неуместным, однако воздержалась от прямых комментариев, не выразила неудовольствия (что могло бы помочь претенденту). Поскольку изначально она была заинтересована в том, чтобы взять данного кандидата на работу, собеседование продолжилось. Другой член комиссии фактически повторил тот же вопрос, слегка его перифразировав, ср. [Jupp et al. 1982: 253]:

I: *What attracts you to this particular librarian job and, in particular, why do you want to come to Middleton college?*

A: *Well, as I have said, I have already applied for 50 other jobs, you know, sent 50 applications and — er — this is my second interview. I'm not particularly interested in this particular job. I'm interested in a job maybe in an academic library maybe in a public library — any job in this field, you know — I'm qualified for this and I desperately need one.*

I: *Um — well, we, I think, perhaps might be looking for someone who's really committed to working for the college for the next at least three or four years.*

Соискатель снова не понял скрытого смысла и предельно ясно сформулировал свой прямой ответ на вопрос. В итоге собеседование было сочтено неудовлетворительным обеими сторонами. Соискатель обиделся, что его профессиональные навыки и опыт остались без внимания, а члены комиссии были недовольны отсутствием у претендента настойчивости занять предлагаемую должность. По их представлениям, он должен был проявить активность, стремиться рассказать о себе, доказать свою пригодность и т. п.

Причины случившегося, по мнению авторов исследования, связаны как с индивидуальными, так и этнокультурными особенностями соискателя. Во-первых, ему была то ли незнакома, то ли неприятна сама практика собеседования, где кандидаты стараются «продать» себя работодателю. Во-вторых, он не имел представления о широком использовании косвенных стратегий при собеседовании и потому интерпретировал все вопросы буквально, «в лоб». В-третьих, в своих ответах претендент подавал информацию в соответствии с «восточной» традицией, а именно, помещал главное в конец сообщения (см. также ниже). Это шло вразрез с привычными ожиданиями членов комиссии, сбивая их

с толку. Наконец, будучи носителем иной разновидности английского языка, соискатель не смог воспользоваться просодической подсказкой — повышением тона голоса и акцентным выделением слова *college* в вопросах комиссии, использованными для подчеркивания существенной разницы между работой в библиотеке колледжа и работой в любой другой библиотеке.

Как отмечают в итоге авторы исследования, если бы на месте данного кандидата оказался человек, знакомый с конвенциями данного речевого жанра, то он, скорее всего, успешно прошел бы это собеседование.

Другое исследование [Akinaso, Seabrook Ajiroutu 1982] посвящено особенностям выполнения характерного для собеседования задания. Соискателей просят рассказать об эпизоде на прошлой работе, в котором нужно было проявить инициативу и самостоятельно справиться с непредвиденной ситуацией. В таких случаях ожидается, что рассказ пойдет о таком событии, в котором человек проявил себя с наилучшей стороны, сумел реализовать свои деловые качества и навыки. Для работодателя смысл этого задания заключается в том, чтобы, во-первых, дать претенденту возможность представить себя в выгодном свете, а во-вторых, извлечь из его рассказа дополнительные сведения о его характере, опыте работы и пр.

Работодателя интересует и то, *что* говорится, и то, *как* говорится. При этом этнические меньшинства оказываются в заведомо проигрышном положении. Их речевые особенности, а также построение рассказа заметно отличаются от речи представителей белого большинства, что непроизвольно вызывает негативную реакцию работодателя, также принадлежащего доминантной группе.

Материал исследования составили рассказы двух афроамериканских соискательниц, претендующих на пост библиотекаря. Одна — мать-одиночка, 20 лет, живет на пособие, никогда раньше не участвовала в собеседовании. Вторая вдвое старше (около 40 лет), тоже мать-одиночка, знакома с формальными процедурами и бюрократическим языком, обладает навыками общения и убеждения (работала торговым представителем) и опытом участия в собеседовании.

Сравнение того, как афроамериканки выполнили это задание [Akinnaso, Seabrook Ajirofutu 1982: 134], показывает, что вторая претендентка правильно поняла его скрытый смысл. Благодаря своему прошлому опыту, она знала, что все вопросы и задания на собеседовании подчинены глобальной цели, а именно проверке пригодности кандидата. В связи с этим она постаралась всячески акцентировать наличие у нее нужных навыков и чувства ответственности. Рассказ был заключен в обобщающую рамку из высказываний, где данная мысль выражалась прямо и четко. В самом рассказе внимание было уделено не столько подробностям произошедшего, сколько предпринятым действиям, что также было призвано подчеркнуть способность соискательницы справиться с трудной ситуацией. Первая же претендентка была незнакома с жанром собеседования и не поняла скрытый смысл задания. Рассказ эпизода стал для нее самоцелью, она сосредоточилась на деталях и никак не отразила собственных заслуг в разрешении сложной ситуации.

Стратегии подачи информации: Запад vs. Восток

Зарубежные исследователи нередко отмечают различия в структурной организации дискурса, наблюдающиеся при сравнении «западных» (европейских) и «восточных» культур (Южной и Юго-Восточной Азии). Собственно говоря, речь идет о противоположных способах подачи информации, которые в самом общем виде могут быть описаны при помощи оппозиций «тема — рема» или «старое — новое», распространенных с уровня отдельного предложения на более крупные фрагменты дискурса.

В формализованном виде эти способы структурной организации выглядят следующим образом [Scollon, Scollon 2001: 1–2]:

- на Западе:
X (рема/новое — основное утверждение, вопрос или предложение)
потому что / так как / поскольку
Y (тема/старое — фоновая информация, причины, предыстория)
на Востоке:
поскольку
Y (тема/старое — фоновая информация, причины, предыстория)
X (рема/новое — основное утверждение, вопрос или предложение).

В статье [Young 1982] данные культурные различия объясняются разницей в грамматическом строении предложения. Автор утверждает, что в китайском языке и в других языках Юго-Восточной Азии предпочтительный вариант актуального членения предложения связан с вынесением вперед темы. Так, в китайских сложноподчиненных предложениях придаточные предложения причины, уступки, условия стоят в начале (поэтому когда китайцы говорят по-английски, многие предложения у них начинаются с союза *because*). А нейтральный порядок слов в английском предложении предполагает размещение подлежащего перед сказуемым. При этом свойственный китайскому языку порядок «тема — рема» не всегда оказывается в соответствии с порядком «подлежащее — сказуемое», ср. [Ibid.: 74]:

- Предложение на английском языке: *A giant squid ate the blue surfboard.*
- Преобразованная структура данного предложения в китайском языке: *Blue surfboard, giant squid ate.*

Автор рассматриваемой статьи считает, что специфическое строение китайского дискурса является следствием проекции структурной организации предложения на дискурс. Известно, что китайцы сначала долго и подробно сообщают разнообразную фоновую информацию, касающуюся обстановки, участников, условий, причин того или иного положения дел, а выводы, заявления, ответы на вопросы и т. п. относят на конец. Так, формулировке просьбы всегда предшествует подробное изложение текущей ситуации, объяснение причин и пр. Получается, что структура дискурса по существу повторяет организацию информации в отдельном высказывании по принципу «тема — рема».

«Западный» дискурс организован ровно противоположным образом. Поэтому для носителя английского языка строение китайского дискурса выглядит непривычно, у него возникают трудности с пониманием того, что хочет сказать собеседник, и складывается ощущение обманутого ожидания. Начало реплики китайца обычно не содержит для «западного» слушателя никаких ориентиров относительно того, в каком направлении речь будет развиваться,

что будет обсуждаться и с каких позиций. На него обрушивается поток частных подробностей, на первый взгляд никак между собой не связанных, и, тщетно пытаясь следить за мыслью и уловить коммуникативное намерение говорящего, он постепенно теряет терпение. К тому моменту, когда китаец наконец формулирует основное содержание своего сообщения (просьба, ответ и пр.), его «западный» собеседник уже не в состоянии ничего воспринять, так как прочно «погребен» под грудой подробностей и основательно раздражен. Ср. следующие фрагменты научного и делового общения между белыми американцами и китайцами (курсивом выделена рема, заглавными буквами — тема) [Young 1982: 76–77]:

- Из беседы американских и китайских ученых

American: How does the Nutritional Institute decide what topics to study? How do you decide what topic to do research on?

Chinese: BECAUSE, NOW, PERIOD GET CHANGE. IT'S DIFFERENT FROM PAST TIME. IN PAST TIME, WE EMPHASIZE HOW TO SOLVE PRACTICAL PROBLEMS. NUTRITION MUST KNOW HOW TO SOLVE SOME DEFICIENCY DISEASES. IN OUR COUNTRY, WE HAVE SOME NUTRITIONAL DISEASES, SUCH AS X, Y, Z. BUT, NOW IT IS IMPORTANT THAT WE MUST DO SOME BASIC RESEARCH. *So, we must take into account fundamental problems. We must concentrate our research to study some fundamental research.*

- Высказывание предложения китайским деловым партнером

Chinese: One thing I would like to ask. BECAUSE MOST OF OUR RAW MATERIALS ARE COMING FROM JAPAN AND () THIS YEAR IS GOING UP AND UP AND UH IT'S NOT REALLY I THINK AN INCREASE IN PRICE BUT UH WE LOSE A LOT IN EXCHANGE RATE AND SECONDLY I UNDERSTAND WE'VE SPENT A LOT OF MONEY IN TV AD LAST YEAR. *So, in that case I would like to suggest here: chop half of the budget in TV ads and spend a little money on Mad magazine.*

Столкновение противоположных моделей подачи информации приводит к тому, что у «западных» людей складываются негативные стереотипы о китайском языке и о самих китайцах, которым приписываются такие качества, как хитрость и бестолковость.

Сами китайцы объясняют свое языковое поведение важностью сохранения гармонии во взаимоотношениях. Она диктует, что не следует высказываться слишком прямо и однозначно: прежде всего, необходимо создать общий со слушателем контекст. Когда не знаешь, как настроен твой собеседник, лучше сначала тщательно обрисовать все частные подробности и соображения, которые хоть и не обязательно имеют непосредственное отношение к делу, но могут впоследствии поддержать основной тезис или просьбу и нейтрализовать возможные возражения собеседника. Дополнительный плюс этой стратегии заключается в том, что она помогает сохранить лицо. Таким образом, то, что на первый взгляд кажется неумением связно выразить свои мысли, на поверку может оказаться проявлением уважения к собеседнику или даже тонким расчетом.

Строение «западного» дискурса кажется китайцам слишком грубым, нескромным и неразумным, чреватым потерей уважения окружающих. Разница в строении китайского и английского дискурса сказывается и в том, что китайским студентам с трудом даются занятия по английской риторике. Сталкиваясь с «западной» манерой изложения, они признаются, что китайский стиль кажется им более открытым, менее предубежденным и навязчивым. В самом строении китайского дискурса заложено внимание к собеседнику и стремление к достижению согласия. «Западный» же стиль сразу навязывает партнеру жесткие рамки и потому, по их мнению, неэффективен [Young 1982: 80–83].

Получается, что «восточные» люди склонны приписывать большее значение тому, что говорится в конце общения, а «западные» люди — наоборот. Противоположные способы подачи информации нередко оказываются причиной коммуникативных неудач в межкультурном общении, поскольку каждая сторона не только привычным для себя образом строит собственные реплики, но и произвольно ожидает от партнера схожей подачи. Впечатления от «неправильной» организации дискурса интерпретируются в социокультурных терминах и создают почву для этнических стереотипов [Ibid.: 83–84].

Приложение 2. Гендерный аспект дискурса

Гендерные исследования в языкознании

Категория «гендер» была введена в понятийный аппарат науки в конце 1960-х — начале 1970-х гг. и использовалась сначала в истории, социологии и психологии, а затем была воспринята и в лингвистике⁶¹. Под гендером принято понимать так называемый социальный пол (англ. *cultural sex*) — в противоположность биологическому. Термин *гендер* используется для описания социальных, культурных, психологических аспектов того, что значит быть женщиной или мужчиной в том или ином обществе, т. е. в определенном временном, этническом, социальном, религиозном контексте. Понятие гендера, таким образом, можно рассматривать в историческом и этнографическом аспектах и говорить о понятиях «женственности» («феминности», или «феминности») и «мужественности» («маскулинности») в разные эпохи и у разных народов.

Гендерные исследования (гендерология) зародились в западной гуманитарной науке под непосредственным влиянием идеологии феминизма и на начальном этапе преимущественно ограничивались «женскими исследованиями» (англ. *women's studies*). В 1980-е гг. появляется более сбалансированное понимание гендера как проблемы, требующей всестороннего анализа женственности и мужественности и связанных с ними социальных и культурных ожиданий. В 1990-е гг. возникло направление, специально посвященное изучению мужественности (англ. *men's studies*).

Отправная точка любых гендерных исследований — неприятие дихотомического, бинарного подхода к полу. Термин *гендер* призван исключить биологический детерминизм, приписывающий все социокультурные различия, связанные с полом (разделение ролей, культурные традиции, отношения власти), универсальным

⁶¹ Подробнее о гендере и гендерных исследованиях в лингвистике см. [Кирилина 1999; 2004].

природным факторам, и подчеркнуть значимость общественных отношений в формировании понятий мужественности и женственности.

В то же время вопрос о соотношении биологических и культурных факторов в формировании гендера остается дискуссионным. Социодетерминисты, к которым относятся в первую очередь представители феминистской лингвистики, настаивают на доминирующем воздействии общества и культуры. Они утверждают, что характеристики и роли, приписываемые обществом мужскому или женскому полу, задаются не природой, а обществом и, следовательно, могут быть изменены. По их мнению, гендер поддерживается и воспроизводится социальной практикой, в том числе языковой. Язык не только отражает существующие асимметрии в гендерных ролях, но и создает их.

Что касается биодетерминистов, то они исходят из наличия у мужчин и женщин врожденных биологических различий, в том числе касающихся языковой способности. Поскольку в настоящее время существуют достаточно обоснованные доказательства влияния как биологических, так и социокультурных факторов на поведенческие и речевые различия между полами, невозможно отдать явного предпочтения ни первым, ни вторым.

Изучение гендера неизбежно носит междисциплинарный характер, потому что гендерный фактор как таковой не поддается отделению от прочих социокультурных переменных (возраст, профессия, уровень образования, этническая и социальная принадлежность). Гендер можно рассматривать как измерение, параметр исследования во многих общественных науках, в том числе и в языкознании. Лингвистический аспект гендерологии заключается в изучении связи языка и пола. Поскольку гендерные отношения фиксируются в языке, содержание гендера в значительной мере может быть раскрыто путем анализа языковых структур.

Начальный этап в лингвистическом изучении гендера отмечен работами У. Лабова и П. Традгилла, посвященными изучению фонетической специфики мужской и женской речи. Собранные от информантов записи речи неизменно свидетельствовали о том, что женщины более, чем мужчины, склонны употреблять престижные

варианты произношения. Так, в работе П. Традгилла [Trudgill 1974] исследовались фонетические варианты, используемые мужчинами и женщинами в г. Норидж (Великобритания). По его данным, при произнесении слов с суффиксом *-ing* женщины чаще употребляли более престижное носовое [ŋ], а мужчины — стигматизированное [n]. Речь женщин оказывалась гораздо ближе к кодифицированной норме, чем речь мужчин и чем можно было ожидать, исходя из социальной принадлежности этих женщин. В сущности, она была близка к речи представителей среднего класса, и этот факт нуждался в объяснении.

В связи с этим выдвигались различные догадки (см. [Downes 1998: 204–208]). К примеру, утверждалось, что «женский» язык более консервативен и сопротивляется новым веяниям. Другая идея заключалась в том, что подчиненное положение женщин в обществе ведет к повышенной восприимчивости признаков социального статуса, среди которых — кодифицированные варианты произношения. Еще одна гипотеза строилась на связи понятия мужественности с местным диалектом и образом жизни рабочего класса, с одной стороны, и понятия женственности с категориями мягкости, вежливости, цивилизованности — с другой. Согласно этой гипотезе, в мужских коллективах действует принцип «гиперкоррекции наоборот»: мужчины старательно избегают любых проявлений изнеженности и претенциозности.

Объяснение может быть связано и с различиями в социальных ожиданиях. Мужчины больше, чем женщины, вовлечены в общественную жизнь своего класса и испытывают сильное давление норм, касающихся языка и образа жизни. Женщины, напротив, имеют широкий круг контактов за пределами своего класса, так как типично женские профессии (учительница, парикмахер, медсестра) предполагают взаимодействие с разными социальными группами. Сталкиваясь с разными вариантами языка и поведения, женщины инстинктивно стремятся подражать тем, которые в их глазах связаны с более высоким социальным статусом [Ibid.: 209–210].

Дальнейшему расширению гендерных исследований языка немало способствовала феминистская лингвистика, или феминистская критика языка. Идеологи феминизма утверждают, что язык

фиксирует картину мира с мужской точки зрения, т. е. имеет место языковой сексизм. Он проявляется в ряде признаков, а именно: во многих языках отождествляются понятия «человек» и «мужчина» (англ. *man*, нем. *Mann*, франц. *homme*, укр. *чоловік*); одушевленные существительные женского рода являются, как правило, производными от мужских; одушевленные существительные мужского рода (но не женского!) могут употребляться для обозначения лиц любого пола; согласование на синтаксическом уровне происходит по форме грамматического рода соответствующего слова, а не по реальному полу референта и нек. др. Свою цель феминистская лингвистика видит в выявлении дискриминирующих структур языка, демонстрации его сексистского характера и разработке мер по изменению языковых норм. По своей сути она близка критическому анализу дискурса, с той лишь разницей, что последний нацелен на разоблачение социальной дискриминации по любому признаку (не обязательно связанному с полом) и более широкую программу действий в том, что касается реформы языкового употребления (создание так называемого политкорректного языка).

Критики феминизма прежде всего опровергают исходный тезис о том, что пол является определяющим фактором личностной самоидентификации. Пол, говорят они, — не более чем одна из социологических переменных, наряду с возрастом, этнической и социальной принадлежностью, уровнем образования, профессией и др. Все эти параметры тесно переплетены. Было установлено, к примеру, что корректный и нацеленный на сотрудничество стиль общения присущ не только женщинам, но и лицам, обладающим высоким социальным статусом. Вообще, из всех речевых особенностей, которые приписываются женщинам, надежно подтверждается только стабильность интонационного рисунка: мужчины стремятся избегать выраженной эмфазы, так как в западно-европейской культуре она считается признаком женственности и экзальтированности. Другие черты носят вероятностный характер и зависят от ситуации общения [Кирилина 1999: 45].

Кроме того, сомнения в обоснованности феминистского подхода вызывает то, что на сегодняшний день основная масса исследований проведена на материале европейских языков, в первую

очередь английского, немецкого и французского. Можно ли экстраполировать полученные результаты на другие языки? Здесь мы опять вынуждены считаться с тем, что гендер тесно связан с другими социологическими параметрами и испытывает влияние с их стороны. Культурная составляющая не может не влиять на формирование понятий «женственности» и «мужественности» и на их отражение в языке.

В СССР работы по изучению специфики мужской и женской речи были обусловлены потребностями автороведческой криминалистической экспертизы. Задача состояла в том, чтобы выделить набор идентификационных признаков, позволяющих распознать имитацию речи лица противоположного пола. В результате был выявлен комплекс поверхностных и глубинных признаков мужской и женской речи. К поверхностным относится компетентное описание фрагментов действительности, где традиционно главенствуют женщины (приготовление пищи, вопросы моды, воспитания, домашнего хозяйства) или, наоборот, мужчины (ремонт техники, домашний труд при помощи слесарных и пр. инструментов, знание спортивных команд и т. п.). В качестве глубинных признаков упоминается ряд характеристик мужской и женской речи (см. таблицу в [Кирилина 1999: 59]), многие из которых также отмечались зарубежными авторами (см. ниже).

Другая традиционная область гендерных исследований в отечественной лингвистике — это изучение наименований лиц женского и мужского пола, соответствующей фразеологии, грамматической категории рода и связанных с ней проблем референции. Подобных работ было много даже в советском языкознании, однако они были свободны от идеологии феминизма.

В последние несколько десятилетий в нашей стране наблюдается растущий интерес к гендерным исследованиям и формирование самостоятельного научного направления, в центре которого находятся гендерные аспекты языка и коммуникации. Появляются в том числе исследования в духе феминистской лингвистики, заметно подражающие зарубежным аналогам. Как правило, такие работы носят отчетливо полемический характер и посвящены разоблачению «дискриминирующих структур» русского языка, анализу

закрепленных в нем «патриархальных стереотипов». Возможно, со временем на повестку дня встанут и вопросы реформирования русского языка в целях преодоления «языкового сексизма».

Все гендерные исследования в лингвистике можно в самом общем виде разделить на две группы:

- изучающие проявления гендера в языковой системе, а именно отражение пола в лексике языка, его фразеологии, синтаксисе, категории рода;
- исследующие гендер как фактор речевой деятельности, влияющий на коммуникативное поведение мужчин и женщин, их типичные стратегии и тактики, гендерные предпочтения при выборе лексических единиц, синтаксических конструкций и т. д., иными словами, анализирующие специфику мужского и женского говорения.

Другое основание для деления связано с теоретическими предпосылками исследования: анализ с нейтральной, сугубо академической точки зрения, с одной стороны, и критический анализ — с другой. Суммируя с предыдущей оппозицией, мы в принципе имеем четыре возможных направления исследования. Дальнейшее изложение посвящено одному из них — тому, который связан с изучением гендерных различий в речи (т. е. в дискурсе) с нейтральной, академической позиции.

Гипотеза гендерных субкультур

Для объяснения гендерных различий в поведении, в том числе коммуникативном, в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в зарубежной науке была выдвинута гипотеза гендерных субкультур. Согласно этой гипотезе, различия в речевых практиках, принятых в мужской и женской среде, обусловлены опытом социализации: учась говорить, дети одновременно усваивают культурные ожидания, связанные с их полом (социальные психологи называют этот процесс «обретением гендерной идентичности») [Coates 1986: 121–134; Таннен 1996].

Предполагается, что человек начинает репетировать свою гендерную роль уже в раннем детстве. На это влияет несколько факто-

ров. Во-первых, наблюдая за поведением родителей, дети замечают, что речь матерей, как правило, отличается большей мягкостью и любезностью, чем речь отцов. Они также видят, что отцы чаще, чем матери, прерывают собеседника, дают указания в жесткой форме, стремятся контролировать тему разговора. Мать и отец демонстрируют разные модели речевого поведения, и это не ускользает от внимания детей, которые неосознанно выбирают ту или иную и начинают ей подражать. Позднее наступает время, когда мальчики намеренно строят свою манеру общения как отличную от манеры девочек (и наоборот), причем соответствующие различия преувеличиваются, так что получаются крайние, утрированные версии поведения взрослых.

Во-вторых, усвоение гендерно-обусловленных речевых практик у детей происходит под влиянием родительского воспитания. Результаты исследований показывают, что родители чаще перебивают девочек, чем мальчиков. Тема общения также контролируется строже при общении с дочерьми, чем с сыновьями. Девочку учат быть «леди»: воспитанной, мягкой, незащищенной.

В-третьих, утверждается, что дети и подростки общаются преимущественно в гендерно однородных группах, и именно там они усваивают соответствующие гендерные конвенции, речевой этикет, коммуникативные стратегии и тактики. Группы девочек и группы мальчиков разительно отличаются по манере общения. Группы мальчиков имеют иерархическую организацию, где лидер отдает распоряжения и заставляет других их выполнять; ему также разрешено хвалить, высмеивать, угрожать, присваивать клички и т. д. Остальные члены группы вынуждены довольствоваться подчиненным положением. Мальчики часто хвастаются своими умениями и спорят, кто что лучше умеет делать. Они активно участвуют в общении со взрослыми, например учителями в школе: задают вопросы, выкрикивают ответы, высказывают догадки, стремятся привлечь к себе внимание. В играх мальчиков всегда есть победитель и проигравший. Конфликты в группе мальчиков протекают открыто и бурно, часто сопровождаются угрозами физического воздействия. Мальчики любят высмеивать девочек, но не наоборот.

Девочки же играют небольшими группами или парами. Отношения внутри группы регулируются степенью близости между ее членами. В беседах друг с другом девочки обсуждают себя и других, делятся желаниями и мечтами. Дружба девочек основана на общих секретах, и поэтому для них важнее всего доверительный разговор с подругой. Девочки не отдают приказаний, вместо этого они высказывают предложения по дальнейшей деятельности всей группы (*давайте, мы собираемся, мы будем, мы должны, может быть...*), что усиливает ее сплоченность. Стремление стать «главной» и командовать, равно как и демонстрация своего превосходства в том или ином деле, не приветствуется и считается зазнайством. Девочки не привыкли прямо соперничать друг с другом, бороться за свой статус, они больше озабочены тем, чтобы нравиться всем членам группы. Если случается конфликт, девочки обычно идут на компромиссы и уступки ради сохранения гармонии отношений. Сторонний наблюдатель может его вовсе не заметить, поскольку в нашем представлении конфликт ассоциируется с открытым соперничеством и враждой (т. е. мужской моделью поведения). В общении со взрослыми девочки более настроены на пассивное восприятие и ведут себя тихо. В играх девочек обычно нет победителей и побежденных, а в некоторых из них (скакалка, игра в классы) все играют по очереди.

В смешанных группах как девочки, так и мальчики адаптируют свое поведение к новым условиям, но считается, что чаще девочки подстраиваются под манеру общения мальчиков, чем наоборот.

Гипотеза гендерных субкультур не всеми принимается безоговорочно. Возражение вызывает прежде всего идея об общении преимущественно в гендерно однородных группах сверстников: ведь мальчики и девочки живут в семье, где может быть несколько детей разного пола, вместе учатся в школе и т. д. [Van Dijk (ed.) 1997b: 131]. Что же касается особенностей воспитания девочек и мальчиков, а также влияния родительских моделей поведения, то здесь заметную роль играет фактор социально-культурной принадлежности.

«Независимость» vs. «близость»

Мальчики и девочки вырастают, но заложенные в детстве модели социального взаимодействия сохраняются во взрослой жизни и определяют выбор приоритетных ценностей: для мужчин обычно ключевой оказывается независимость, а для женщин — близость [Таннен 1996].

Мужчина видит себя как отдельного индивида, располагающегося на некоторой ступеньке лестницы общественных отношений. Жизнь для него — это противостояние другим людям и обстоятельствам, соперничество, борьба за право сохранить независимость и избежать неудач. Женщины воспринимают себя на фоне своих связей с другими людьми. Главное для них — это сохранить близкие отношения и избежать одиночества. Этой цели служит общение, помогающее поддерживать старые знакомства и завести новые, достигать большей доверительности во взаимоотношениях, оказывать и получать моральную поддержку.

Конечно, нельзя отрицать, что многие женщины также стремятся достичь более высокого социального положения, но, как правило, это не является для них главным. Аналогичным образом, мужчины тоже хотят иметь близких и избежать одиночества, но обычно не делают это своей основной целью. Речь идет о том, какая ценность ставится во главу угла, и в этом смысле «вертикальные» отношения у мужчин противопоставлены «горизонтальным» отношениям у женщин.

Общение для большинства мужчин является средством укрепления самостоятельности и поддержания своего положения в общественной иерархии. Поэтому мужчины чувствуют себя комфортно во время публичных выступлений, в больших группах незнакомых людей. Женщины, напротив, предпочитают частные беседы в кругу семьи или с близкими друзьями. В них они обсуждают свои проблемы, делятся опытом, советуют и ободряют. Когда женщину спрашивают о лучшей подруге, она обычно упоминает ту, с кем чаще всего общается и сплетничает. Когда подобный вопрос задают мужчине, он начинает перечислять приятелей, с которыми

вместе занимается спортом, или внезапно вспоминает о позабытых школьных друзьях.

Тематика историй, которые рассказывают мужчины и женщины, сильно различается. Мужчины говорят преимущественно о работе и активном отдыхе. Они любят рассказать о том, как были героями: участвовали в каком-то испытании и оказались на высоте. В мужских рассказах часто речь идет о состязаниях (драках, соревнованиях, охоте, рыбной ловле), а в женских — о людях (своей семье, друзьях и просто незнакомцах, встреченных на работе или на улице). Женские истории затрагивают более личные темы. Женщины нередко рассказывают о ситуациях, в которых они оказались беззащитны, выглядели глупо и смешно; для мужчин же признание собственной уязвимости несовместимо с их гендерной идентичностью. Даже если в том или ином эпизоде мужчину постигла неудача, он предпочитает подать себя в роли философа или мудреца. Женщинам свойственно жаловаться на других людей и обстоятельства, но они же часто рассказывают о полученной со стороны помощи или полезном совете, что в целом нетипично для мужских историй.

Коммуникативные стили мужчин и женщин

Исследования, проводившиеся на протяжении последних пяти-шести десятилетий, свидетельствуют о существовании характерных речевых особенностей, присущих женщинам и мужчинам. Они могут относиться к разным уровням языковой структуры (артикуляция, интонационный рисунок, лексика, синтаксис), а также проявляться в различных аспектах речевого поведения (коммуникативных стратегиях и тактиках, типах аргументации, невербальных компонентах и пр.). Для обозначения наборов устойчивых признаков мужской и женской речи в свое время был даже введен специальный термин *гендерлект* (ср. *диалект*).

Однако впоследствии правомерность такого обобщения была поставлена под сомнение. Различия между мужской и женской речью не столь значительны и не проявляют себя облигаторно в любом речевом акте. Скорее, можно говорить об отдельных чертах мужской и женской речи, при этом имея в виду, что они носят

вероятностный характер и зависят от ситуации общения, а также от личности собеседников (их психического склада, характера, профессии и пр.). Поэтому более адекватным кажется предложенный Д. Таннен термин *коммуникативный стиль* (англ. *conversational style*), который она употребляет не только по отношению к гендерным, но и этнокультурным особенностям дискурса (см. выше).

Отход на более слабую позицию (от гендерлекта к коммуникативному стилю) был обусловлен ходом научного исследования: если первоначально внимание исследователей было сосредоточено на выявлении различий (чем больше, тем лучше!) и создании соответствующего инвентаря, то позже наступил этап интерпретации. И тут обнаружилось, что большинство различий не имеют однозначной трактовки. Они могут иметь разный смысл (вплоть до противоположного) в зависимости от контекста общения, личности конкретных собеседников и специфики их речевого взаимодействия. Кроме того, обсуждение конкретного списка различий спровоцировало поиск контрпримеров, что в итоге породило сомнения в их универсальности. Это неудивительно, учитывая, что гендер является не более чем одним из множества социологических параметров, влияющих на коммуникативное поведение, и, следовательно, любые попытки списать ту или иную черту на гендерный фактор будут вызывать вопросы.

Ниже приводятся основные различия между мужским и женским коммуникативным поведением, нашедшие отражение в литературе (см., напр., [Coates 1986; Земская и др. 1993; Tannen 1994; Таннен 1996]). Заметим, что внимательное изучение связи гендера с коммуникативным поведением опровергло некоторые бытующие представления (например, о женской болтливости — см. ниже): они оказались не более чем культурными стереотипами.

Физическое расположение собеседниц-женщин по отношению друг к другу и собеседников-мужчин различно. Женщины обычно сидят спокойно, на близком расстоянии, вполоборота друг к другу, обратив взгляд на собеседницу и время от времени касаясь ее рукой в знак солидарности и поддержки. Мужчины ведут себя более беспокойно и подвижно, держатся отдельно, не смо-

трят на говорящего и не касаются его рукой. Такое отсутствие внешних признаков внимания к собеседнику и тому, что он говорит, может создать впечатление, что мужчины индифферентны, не умеют слушать собеседника и сопереживать ему. Но это вовсе не значит, что они не вовлечены в разговор, просто у них такая манера. (Возможно, эти различия восходят опять-таки к детскому опыту общения: для девочек сидеть тесным кружком более привычно, чем для мальчиков, предпочитающим движение и активные игры на свежем воздухе.)

Женщины без труда находят **тему** для обсуждения и довольно строго ее придерживаются. В женских группах одна тема может обсуждаться по полчаса и дольше, а затем плавно сменяется другой. Мужчинам труднее найти тему, они часто и резко перескакивают с одного предмета на другой, всячески стараясь показать свою осведомленность в текущих событиях, спорте и разнообразных практических вопросах. В смешанных группах мужчины разными способами (в том числе с помощью перебивания) стремятся контролировать обсуждение старых тем и переход к новым. Женщины, в отличие от мужчин, охотно говорят о себе, своих чувствах и отношениях с другими людьми. Практически обязательный компонент женских разговоров — сообщение новостей о себе и своих близких. В мужской компании, наоборот, обсуждать личные дела не принято: если это и случается, такое поведение не вызывает ответных откровений, а воспринимается как просьба о помощи. Собеседник тогда напускает на себя вид знающего и опытного человека и начинает «учить жить».

При общении женщины и мужчины это различие может стать причиной недоразумений. Рассказывая о своих проблемах, женщина ждет симпатии, понимания и сочувствия. Ответная реплика мужчины типа «Тебе надо было сделать то-то и то-то» (реализующая роль компетентного специалиста, умеющего решать любые вопросы) может быть воспринята ею болезненно, и она скорее всего откажется от дальнейшего обсуждения. Повторная попытка заговорить на ту же тему вызовет раздражение: мужчина делает вывод, что ей не понравилось предложенное им решение. Встречается и обратная ситуация: мужчина хочет обсудить с женщиной

свои проблемы, посоветоваться, как лучше поступить. Он ждет конструктивного обсуждения, а она в ответ начинает выражать сочувствие и рассказывать о собственных трудностях. Ситуации такого рода служат укреплению мифа о женской bestолковости.

Ход разговора в мужских и женских компаниях различается. Для мужчины разговор — вид соревнования, где нужно стремиться брать слово как можно чаще и говорить как можно дольше. В мужских компаниях это вскоре приводит к установлению довольно стабильной иерархии, при которой одни контролируют разговор, а другие говорят совсем мало. Характерная черта мужских компаний — шумный и агрессивный спор, чаще всего по пустякам. Мужчины охотно провоцируют ситуацию спора и вызова, потому что она помогает им завоевывать и укреплять свой авторитет. Кроме того, они вообще любят «работать на публику» (шутки, анекдоты, брань).

Женщины, напротив, внимательно следят за тем, чтобы все равным образом участвовали в беседе, и извиняются, когда им кажется, что они слишком долго занимали внимание других. Они дают возможность собеседнику закончить высказывание и не оставляют без внимания его суждения и оценки — в отличие от мужчин. Женщины чаще используют личные местоимения *ты/вы* и *мы*, подчеркивающие присутствие собеседника. Для выражения сочувствия и единодушия они охотно рассказывают о схожем опыте и аналогичных случаях. Характерной чертой женских бесед являются повторы (на уровне слов, словосочетаний, предложений), служащие для выражения солидарности с собеседником.

Мужчины часто обращаются ко всей группе сразу, в то время как женщины предпочитают доверительный стиль разговоров один на один. У женщин высоко ценится умение слушать другого — но не у мужчин. В целом речевое поведение женщин характеризуется как «более гуманное». В нем больше интереса и внимания к собеседнику, а доминирование отсутствует. Даже если женщина хорошо разбирается в каком-либо вопросе, она стремится умалить свои знания и опыт, чтобы не увеличивать социальную дистанцию.

Женский разговор строится на солидарности, а мужской — на состязании. В смешанных группах из-за этого могут возникать

недоразумения. Мужчинам кажется, что женский стиль общения свидетельствует о неспособности отстоять свое право на участие в разговоре, поэтому мужчины игнорируют и подавляют реплики женщин. Женщин же обижает то, что мужчины не слушают их и не дают им говорить. Действительно, исследования показывают, что в смешанных группах женщины участвуют в разговоре существенно меньше мужчин. К тому же на долю женщин выпадает организационная работа по поддержанию разговора, смягчению неудобных и потенциально конфликтных моментов, обеспечению прав всех участников и пр.

Преобладающий **способ аргументации** у женщин связан с опорой на конкретные случаи из личного опыта или жизни друзей и близких. Эту особенность легко понять, зная пристрастие женщин к частным беседам. Однако она раздражает мужчин, склонных рассуждать отвлеченно и вести дискуссию постепенно, шаг за шагом (в то время как женщины постоянно меняют курс и перекакивают от одного тезиса или довода к другому).

Женщины стремятся связать свою реплику с тем, что говорилось до нее, и делают это явным образом (эксплицитно). Поэтому женские разговоры характеризуются высокой степенью **связанности** (как формально-грамматической, так и содержательной). Мужчины, будучи склонны к самоутверждению, зачастую игнорируют то, что было сказано ранее, и полностью сосредоточиваются на своих рассуждениях. Общение в смешанных группах нередко приводит к коммуникативным неудачам: женщины обижаются на невнимание мужчин к их словам, а мужчины упускают много важного из обсуждения и комментариев.

В наивной картине мира присутствует миф о женской **болтливости**, однако научные исследования его систематически опровергают. По многочисленным наблюдениям, в смешанных группах мужчины чаще, чем женщины, пользуются возможностью начать беседу и много говорят, фактически вынуждая женщин молчать. Причина мифа кроется, судя по всему, в общественных установках, касающихся участия мужчин и женщин в разговоре: за мужчинами признается право говорить, в то время как от женщин ожидается молчание. На этом фоне любое женское участие в разговоре расце-

нивается как пустословие. Показательно, что слово *болтливость*, сочетающее в своем значении два семантических признака: 'многословие' и 'банальность', — применяется почти исключительно в отношении женщин. Мужчины считают, что женщины говорят о тривиальных вещах (семье, воспитании детей, личных взаимоотношениях); собственные темы (спорт, политика, автомобили), напротив, кажутся им серьезными. Такая разная оценка «мужских» и «женских» тем является отражением общественных ценностей: все то, что делают мужчины, имеет первостепенное значение, а то, что делают женщины, гораздо менее существенно.

Агрессивное речевое поведение является отличительной особенностью мужского разговора; для женских бесед, наоборот, характерно стремление избежать открытого несогласия, раздражения и конфронтации. При этом чувство враждебности, очевидно, могут испытывать и мужчины, и женщины, однако свое явное выражение в форме конфликта оно находит в основном у мужчин. Это связано с разным отношением мужчин и женщин к жесткому и агрессивному стилю речевого поведения: в то время как первые еще с детства привыкли к этой специфической черте мужского общения, вторые воспринимают ее как нечто остро негативное, разрушительное и направленное лично против них. Женщины стараются избегать открытой конфронтации и стремятся сохранить общение даже при наличии разногласий. С точки зрения коммуникативных стратегий и тактик, такое поведение отличается большей сложностью, поскольку связано с искусным владением широким арсеналом языковых средств, а также аргументативных и риторических приемов. Соответствующие навыки высоко ценятся, поскольку позволяют проявлять власть при внешнем соблюдении гендерных норм.

Известно, что женский стиль речи отличается большей уклончивостью. Женщины гораздо чаще, чем мужчины, пользуются **косвенными коммуникативными стратегиями и тактиками**. Вопрос в том, как этот факт интерпретировать. Феминистская лингвистика утверждает, что в этом проявляется более низкий общественный статус женщин: опасаясь напрямую просить или требовать, они вынуждены прибегать к более сложным приемам. Однако следует

заметить, что сама по себе косвенность не является стратегией слабых: ср. распоряжения прислуге в форме *Что-то стало прохладно* или *Пора ужинать*. Высшее проявление косвенности — вообще ничего не говорить (позвонить в колокольчик; демонстративно встать в дверях, чтобы дети перестали шуметь, и т. д.). Таким образом, способность воздействовать на собеседника, не высказывая свои требования в явном виде, можно расценивать как проявление не слабости, а, наоборот, силы. Косвенные стратегии, кроме того, могут преследовать цель предварительно «прощупать почву», с тем чтобы не нарушить контакт и избежать конфликта (см. также Приложение 1 к настоящей главе).

При общении женщины и мужчины различия в стратегиях по параметру «прямота / косвенность» нередко приводят к коммуникативным неудачам. Ср. следующий пример из [Scollon, Scollon 2001: 243 ff.]:

Он: *Что тебе подарить на день рождения?*

Она: *Да все равно, неважно.*

Он: *Нет, правда, чего бы тебе хотелось? Мне хочется сделать тебе хороший подарок.*

Она: *Да не надо мне ничего, да и денег у нас сейчас нет.*

Он: *Ну тогда как насчет того, чтобы поужинать в ресторане?*

Она: *Да, это было бы замечательно. Мне действительно ничего конкретно не хочется. Ты и так всегда покупаешь все, что я захочу.*

Из содержания диалога хорошо видно, что «Он» — носитель прямых стратегий. Его раздражает, что на свой прямой и конкретный вопрос он не получает ясного ответа и вообще не видит ни малейшей заинтересованности с ее стороны. А ведь он действовал из лучших побуждений: хотел сделать ей приятное и, чтобы не ошибиться с подарком, начал весь этот разговор.

«Она» тоже недовольна. Его подарок должен был стать знаком тех особенных отношений, что существуют между ними, и выбрать его он должен был сам, руководствуясь знанием ее вкусов и предпочтений. Она специально не стала говорить ему о своих желаниях и даже симулировала равнодушие по поводу подарка, хотя на самом деле ей очень хотелось его получить. А то, что он

спросил о подарке напрямую, «в лоб», означает, что он невнимателен, неспособен или не хочет ее понять, а может быть, и вовсе равнодушен. Его вопрос — это попытка притвориться внимательным, а предложение сходить в ресторан — удачная находка, способ легко отделаться. Таким образом, разговор завершился коммуникативной неудачей для обеих сторон.

Важно подчеркнуть, что при исследовании параметра косвенности обязательно должен приниматься во внимание этнокультурный фактор. Американская тенденция связывать его с «женским стилем» отнюдь не универсальна: более традиционные культуры функционируют на тщательно разработанной системе условностей.

Другой аспект речевого поведения, где гендерный фактор тесно переплетен с этнокультурным, — это феномен **перебивания**. Перебивание формально определяется как начало реплики собеседника до того, как текущий говорящий закончил свою реплику (не ранее чем через 2 слога после ее начала и не позднее чем за 2 слога до конца). При изучении этого аспекта важно не столько то, кто кого чаще перебивает, сколько с какой целью это делается. В соответствии с традиционным взглядом, считалось, что перебивание ущемляет права говорящего. Поскольку было обнаружено, что в смешанных группах, как правило, мужчины перебивают женщин, а не наоборот, и это приводит к нарушению очередности реплик в диалоге и сбоям в общении в целом, перебивание первоначально рассматривали сугубо негативно — как проявление мужской доминантности.

Позднее исследователи обратили внимание на то, что перебивания отнюдь не всегда имеют целью отобрать слово у собеседника, завладеть коммуникативной инициативой. Они характерны также для ситуаций неформального общения между равными, где вмешательство в разговор часто производится для того, чтобы выразить понимание, интерес, поддержку и солидарность с говорящим. Именно женщинам свойственно перебивание в духе сотрудничества: вставление замечаний, эмоциональных комментариев и пр. Характерно также заканчивание своей реплики союзом *и...* с восходящей интонацией, которое служит сигналом для других участников подхватить реплику и избежать паузы. Такое совмест-

ное участие в построении реплики символизирует единодушие, солидарность собеседников.

Таким образом, если в мужских группах перебивание обычно преследует цель перехватить реплику, самому вступить в разговор и контролировать его тему, у женщин оно часто означает проявление внимания к собеседнику. В целом при интерпретации феномена перебивания надо исходить из представления о сбалансированном, симметричном общении. Так, если оба участника разговора избегают перебиваний или, напротив, оба часто вмешиваются в чужую реплику, речь не идет о проявлении силы. Но если перебивания регулярно наблюдаются со стороны только одного собеседника, а второй лишь пассивно подчиняется и уступает «вербальному напору», коммуникация асимметрична: один из участников доминирует, а права второго ущемлены.

Мужской и женский коммуникативные стили заметно различаются по использованию **подтверждающих сигналов** (типа *мм-м, угу, да, нда (мда), ну-у, да-да, нет-нет*): женщины используют их гораздо чаще, чем мужчины. Женщины произносят такие междометия по ходу речи собеседника, тем самым показывая внимание и интерес к его словам. Мужчины же обычно используют их только тогда, когда полностью согласны с собеседником. Дело в том, что мужчины сосредоточены на информационном уровне разговора, а женщины — на взаимоотношениях. Таким образом, более высокая частотность подтверждающих сигналов у женщин объясняется тем фактом, что женщины чаще слушают собеседника, чем мужчины чувствуют согласие.

В смешанных группах это нередко служит причиной недоразумений, связанных с нарушением ожиданий. Мужчина предполагает, что собеседник даст ему спокойно высказаться, а женщина, напротив, ждет, что ее партнер будет активно проявлять интерес, демонстрировать внимание и солидарность. Когда мужчина говорит, а женщина постоянно произносит подтверждающие сигналы, он заключает, что она с ним полностью согласна. Впоследствии может обнаружиться, что это не так, и тогда он обвинит ее в непоследовательности или лицемерии. Если же говорит женщина, а мужчина при этом молчит и не произносит подтверждающих сигналов, она

может решить, что он ее не слушает. Отсюда две типичные жалобы: мужчины возмущаются, что женщину невозможно понять (вроде была со всем согласна, а в конце оказалась против), а женщины переживают, что мужчины их не слушают.

Если проанализировать речь мужчин и женщин с точки зрения типов речевых актов, обращает на себя внимание тот факт, что в смешанных группах женщины задают много **вопросов**, причем чаще всего адресуют их мужчинам, так как именно мужской пол ассоциируется у них с понятием компетентности. Однако вопросительные предложения, помимо своего прямого назначения — запроса информации, — зачастую являются косвенными речевыми актами, обслуживающими широкий спектр задач, связанных с построением и укреплением атмосферы солидарности. Женщины прибегают к вопросам для того, чтобы вовлечь собеседника в разговор, поддержать беседу, проверить согласие собеседника, побудить его рассказать свою историю, мягко ввести другую точку зрения и т. д. Риторические вопросы как особая разновидность служат для выражения банальных истин, подтверждающих и закрепляющих мнение группы. Таким образом, вопросы, как в своей прямой, так и косвенной функции, вполне согласуются с традиционной ролью, которая отводится женщинам в коммуникации. Мужчины же склонны интерпретировать вопросы как запрос информации, не более того.

Что касается **директивных речевых актов**, мужчины обычно используют более жесткий вариант (распоряжение, указание, команда), а женщины — смягченную императивную форму со словом *давайте* (подразумевающую участие самого говорящего в предлагаемом действии), а также высказывания с модальными словами *возможно, может быть, мы могли бы* и пр.

Отсутствие уверенности в себе проявляется в женской речи через различные **вводные и модальные слова** (*по-моему, может быть, по-видимому*), **слова-паразиты** (*ну, знаете, вообще-то, как бы*), **выражения вежливости** (*Не могли бы Вы..., Я была бы очень признательна..., Вы так любезны*), **короткие вопросы** типа *да?, хорошо?* (ср. разделительные вопросы в английском языке), **приблизительные дескрипции** (*около семи книг, где-то на столе*),

вопросительную интонацию в утвердительных предложениях. Все эти приемы используются для того, чтобы снизить категоричность высказывания, сократить социальную дистанцию, не выглядеть слишком компетентной и не обидеть собеседника.

К типичным чертам женской речи также обычно относят гиперболизированную **экспрессивность** (*жутко обидно, колоссальная труппа, масса ассистентов*), большое количество **десеман-тизированных прилагательных** (*милый, славный, прикольный*), частое использование **междометий** типа *ой!* (*Ой! Кого я сейчас встретила!*; *Ой! Что я тебе расскажу!*), **уменьшительных суффиксов, ласковых слов**, а также **интонационную эмфазу**. Считается, что высокая концентрация **оценочной лексики** в женской речи служит для усиления прежде всего положительной оценки, а в мужской речи чаще выражена отрицательная оценка, за счет использования стилистически **сниженной, инвективной лексики** и намеренного огрубления речи в целом.

Перечисленные черты мужской и женской речи позволяют сделать вывод о том, что дискурс мужчин основан на власти, а женщин — на солидарности и поддержке. Если все участники общения придерживаются женского коммуникативного стиля, их взаимодействие приближается к идеалу дискурса сотрудничества [Coates 1986: 115].

Как неоднократно подчеркивалось выше, выделение гендерного аспекта в значительной мере условно, так как на коммуникативное поведение влияют и прочие социологические переменные. В этом смысле материал бытового общения предпочтителен по сравнению с официальным дискурсом, поскольку в последнем важную роль играет статусно-ролевая иерархия. Взаимодействие этих двух параметров в институциональном общении столь многообразно, что с трудом поддается систематизации. Дополнительная сложность связана с различиями в конвенциях официального общения, принятых в разных сферах — политике, бизнесе, науке и т. д. Все это в совокупности делает невозможным сколь бы то ни было репрезентативный обзор по гендерному фактору в официальной коммуникации.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Альтюссер Л. 42
Аристов С. А. 236, 237
Арутюнова Н. Д. 13, 200
Афанасьев А. Н. 175
Ахманова О. С. 58
Аш С. 62
- Баранов А. Г. 31
Баранов А. Н. 74, 75, 120, 121, 189,
195, 196, 198, 199
Барт Р. 39, 155, 173
Бахтин М. М. 12, 28, 29, 31, 59, 154
Бенвенист Э. 50
Блутнер Р. 222
Богданов В. В. 11, 17, 18, 27, 50, 64,
205, 214, 225, 242
Богомолова Н. Н. 127
Богородицкий В. А. 119
Богранд Р., де 36, 69, 111, 156, 157
Бодуэн де Куртенэ И. А. 202
Браун Дж. 10, 13, 44, 47, 56, 65-67,
69, 86, 131-133, 135, 137, 145,
201, 216, 217
Браун П. 227-231
Брейзил Д. 89
Бремон К. 39, 107
Бринкер К. 205
Булаховский Л. А. 58
Булыгина Т. В. 200, 213
Бюлер К. 21
- Вандервекен Д. 205, 206
Васильев А. Д. 154
Васильева Т. С. 129
Ватсон Тодд Р. 137
Вахтин Н. Б. 211
Веселовский А. Н. 174
Виноградов В. В. 15, 74, 75
Винокур Г. О. 15
Винокур Т. Г. 31
Водак Р. 12, 43, 120, 140
- Гаазе-Рапопорт М. Г. 177, 178
Гальперин И. Р. 58, 64, 65
Гамперц Дж. Дж. 38, 85, 244-246
Гарфинкель Г. 39, 78
Гаспаров М. Л. 178-182
Гивон Т. 68
Гирц К. 130
Головко Е. В. 211
Гольдин В. В. 31
Горошко Е. И. 34
Гофман Э. 78, 227
Грайс Г. П. 37, 75, 114, 201, 207-209,
211-213, 215, 216, 219-222
Греймас А. Ж. 6, 39, 65, 106, 107, 173
Гудков Д. Б. 148, 153
- Данеш Ф. 131
Дейк Т. А., ван 12, 13, 19, 37, 43, 47,
48, 54, 61, 67, 68, 110, 120, 124,
-

- 136, 137, 144, 200, 206, 211, 235,
236, 266
- Дементьев В. В. 29–32, 206
- Дённингхаус С. 31
- Деррида Ж. 155
- Джефферсон Г. 39, 59, 78, 83, 87
- Джонсон М. 189, 196
- Джонсон-Лэрд Ф. Н. 124, 218
- Долинин К. А. 118
- Доценко Е. Л. 120
- Дресслер В. У. 69, 156, 157
- Дубровская О. Н. 32
- Есперсен О. 8
- Жигалина Е. А. 34
- Задворная Е. Г. 233
- Земская Е. А. 18, 23, 33, 134, 143,
210, 269
- Ильин И. П. 106, 107
- Иссерс О. С. 118, 120, 121, 232–235,
238, 240
- Исупова О. Г. 78
- Казакевич Е. Г. 198
- Кант И. 208
- Кара-Мурза С. Г. 120
- Карасик В. И. 25
- Караулов Ю. Н. 149
- Кибрик А. А. 8, 13, 14, 21, 58
- Кибрик А. Е. 7
- Кинч В. 124
- Кирилина А. В. 259, 262, 263
- Китайгородская М. В. 33
- Кобозева И. М. 7, 116, 202
- Копнина Г. А. 120
- Корбин Дж. 129, 130
- Корбут А. М. 78
- Косиков Г. К. 107, 108
- Красных В. В. 148, 149, 152
- Крейдлин Г. Е. 242
- Кристева Ю. 39, 154
- Кубрякова Е. С. 14, 37, 47, 117
- Култхард М. 41, 49, 89, 93–95, 98
- Купина Н. А. 142, 152
- Курте Ж. 6
- Лабов У. 35, 36, 38, 60, 64, 108–110,
260
- Лакан Ж. 42, 155
- Лакофф Дж. 118, 119, 189–196
- Лакофф Р. 75
- Лангакер Р. В. 119, 120
- Ландтсхер К., де 189, 195, 196, 198
- Лассвелл Г. Д. 9, 19, 126, 158, 159,
161, 163–171, 178, 199
- Левинсон С. 59, 75, 76, 78, 86, 200,
213, 221, 222, 227–231
- Леви-Стросс К., см. Леви-Стросс К.
- Леви-Стросс К. 39, 105, 173, 174
- Левшина Н. Г. 26
- Леонтьев А. А. 59
- Линк Ю. 42
- Литневская Е. И. 66
- Литневская О. А. 66
- Лич Дж. 37, 201, 211, 222, 223, 225–
227
- Лонгейкр Р. 65, 74
- Лотман М. Ю. 114
- Маас У. 42
- Майринг Ф. 131
- Макаров М. Л. 10, 44, 53, 57, 60, 67,
72, 112, 139, 142, 189, 216, 219,
220, 232, 236, 238, 239
- Манн У. 58, 68

- Марти А. 201
Марусенко Н. М. 218
Масленникова А. А. 216
Мелетинский Е. М. 173, 174
Миллер Дж. 124
Минц А. 171
Моретти Ф. 126
Моррис Ч. 201
Москальская О. И. 58, 64
Мурзин Л. Н. 64
Муханов И. Л. 216
- Нечаева О. А. 27, 103
Николаева Т. М. 69, 210
- Остин Дж. Л. 37, 201, 203
Откупщикова М. И. 50
- Падучева Е. В. 19, 200, 214
Пайк К. 70
Паршин П. Б. 120, 121
Пешё М. 51
Пешковский А. М. 58
Плунгян В. А. 13, 14, 58
Поспелов Н. С. 58
Пропп В. Я. 39, 54, 104–107, 173–178, 182
Прохоров Ю. Е. 242
- Рейнах А. 201
Рид Т. 201
Робен Р. 35
Розанова Н. Н. 33
Романов А. А. 239
Руднева Е. А. 230, 231
- Сакс Г. 39, 59, 78, 79, 81–83, 88, 146
Санников В. З. 63
Седов К. Ф. 26, 32
- Серио П. 120, 128
Сёрль Дж. Р. 37, 52, 201, 203, 205, 206
Синклер Дж. 41, 89, 93–95, 98
Скребцова Т. Г. 76, 104, 120, 122, 218
Солганик Г. Я. 58
Соссюр Ф., де 6, 14, 35, 117
Стаббз М. 10, 13, 41, 43, 44, 52–55, 66, 72, 74, 93, 94, 118, 206
Степанов Ю. С. 14–16
Стернин И. А. 242
Страусс А. 129, 130
Стефаненко Н. Г. 127
- Талми Л. 119
Таннен Д. 46, 130, 246–250, 264, 267, 269
Таршис Е. Я. 128, 174, 178
Теньер Л. 106
Тодоров Ц. 39, 111, 173
Томашевский Б. В. 103
Томпсон С. 58, 68
Традгилл П. 38, 260, 261
Тынянов Ю. Н. 103
- Уивер У. 112
Уилсон Д. 113, 219, 220
- Федосюк М. Ю. 32
Федотова Л. Н. 126
Фигуровский И. А. 58
Филиппов К. А. 56, 65, 131, 157
Фуко М. 155
Фэйрклаф Н. 43, 87, 209
- Хабермас Ю. 42, 43
Хаймс Д. Х. 19, 38, 57, 243, 244
Харвег Р. 70–72
Харрис З. 6, 11, 46, 49
Хейсан Р. 58, 66, 67

- Хорн Л. С. 221
Хэллидей М. А. К. 58, 66, 67, 89
Хомский Н. 36, 50, 57, 106, 117, 242
- Цымбургский В. Л. 106
- Чернявская В. Е. 8, 42, 62, 70, 156
- Шабес В. Я. 214
Шейгал Е. И. 191
Шеннон К. 112
Шенк Р. 124, 218
Шифрин Д. 10, 37, 40, 41, 44, 59,
74, 75, 109, 112, 125, 126, 140,
200, 206, 244
Шкловский В. Б. 103, 104
Шмелёв А. Д. 111, 125, 142, 183–185,
188, 213
Шмелёва Е. Я. 111, 125, 142, 183–
185, 188
Шмелёва Т. В. 32, 33
Шпербер Д. 113, 219, 220
Штерн А. С. 64
Шютц А. 78
- Щеглов Э. А. 39, 59, 78, 80, 83
Щеглов Ю. К. 104
Щерба Л. В. 123
- Эйхенбаум Б. М. 103
Эко У. 16, 103
Эрлих В. 103
- Юл Дж. 10, 13, 44, 47, 56, 65–67, 69,
86, 131, 132, 134, 135, 137, 145,
201, 216
- Якобсон Р. 19–21, 50, 62, 63, 113, 119
Якобсон С. 158, 161, 163–171
- Якубинский Л. П. 15
Ярхо Б. И. 126
- Akinaso F. N. 54, 254, 255
Angermuller J. 44
Asch S. E., см. Аш С.
- Bach K. 211, 212, 216
Bednarek M. 54
Bell A. 54
Brinker K., см. Бринкер К.
Britton B. K. 124
Brown G., см. Браун Дж.
Brown P., см. Браун П.
Brown R. 222
Bruner J. 211
- Campagna S. 34
Cap P. 216
Caple H. 54
Charaudeau P. 6, 44
Chomsky N., см. Хомский Н.
Clark B. 219
Clayman S. E. 78
Clift R. 88
Coates J. 264, 269, 278
Cook-Gumperz J. 246
Cortazzi M. 110
Coulthard M., см. Култхард М.
- Dal Martello M. F. 87
De Beaugrande R.-A., см. Богранд Р.,
де
De Landtsheer C., см. Ландтсхер К.,
де
Degand E. 76
Downes W. 261
Dressler W. U., см. Дресслер В. У.
Dyrel M. 216, 231

- Edmondson W. 41
- Fairclough N., *см.* Фэйрклаф Н.
- Farina M. 88
- Fauconnier G. 120, 124
- Fedriani C. 76
- Frank S. L. 124
- Garzone G. 34
- Gee J. P. 44
- Gernsbacher M. A. 124
- Gill V. T. 78
- Gilman A. 129
- Givón T., *см.* Гивон Т.
- Goldman S. R. 124
- Goldthorpe J. H. 87
- Goutsos D. 131, 132
- Graesser A. C. 124
- Grimes J. E. 132
- Gumperz J. J., *см.* Гамперц Дж. Дж.
- Halliday M. A. K., *см.* Хэллидей М. А. К.
- Handford M. 44
- Harris Z., *см.* Харрис З.
- Harweg R., *см.* Харвер Р.
- Hasan R., *см.* Хейсан Р.
- Horn L. R., *см.* Хорн Л. С.
- Hsieh H.-F. 130
- Hylland K. 44
- Hymes D. H., *см.* Хаймс Д. Х.
- Jaspers J. 244
- Jefferson G., *см.* Джефферсон Г.
- Johnson M., *см.* Джонсон М.
- Johnson-Laird P. N., *см.* Джонсон-Лэрд Ф. Н.
- Johnstone B. 44
- Jupp T. C. 54, 251–253
- Kasper G. 232
- Keenan E. O. 136
- Kellerman E. 232
- Kintsch W., *см.* Кинч В.
- Labov W., *см.* Лабов У.
- Lakoff G., *см.* Лакофф Дж.
- Langacker R. W., *см.* Лангакер Р. В.
- Lasswell H. D., *см.* Лассвелл Г. Д.
- Leech G. N., *см.* Лич Дж.
- Levinsohn S. 65
- Levinson S., *см.* Левинсон С.
- Linde C. 64
- Locher M. A. 231
- Longacre R., *см.* Лонгейкр Р.
- Maingueneau D. 6, 44
- Mann W., *см.* Манн У.
- Mayring P., *см.* Майринг Ф.
- Mintz A., *см.* Минц А.
- Moeschler J. 206
- Paltridge B. 44
- Pike K., *см.* Пайк К.
- Pinker S. 209
- Power R. J. D. 87
- Prince G. 111
- Sacks H., *см.* Сакс Г.
- Sansó A. 76
- Schegloff E. A., *см.* Щеглов Э. А.
- Schieffelin B. 136
- Schiffrin D., *см.* Шиффрин Д.
- Scinto L. F. M. 137
- Scollon R. 255, 274
- Scollon S. W. 255, 274
- Seabrook Ajitrotutu C. 54, 254, 255
- Searle J., *см.* Сёрль Дж. Р.
- Shannon S. E. 130

Sidnell J. 88

Sinclair J., *см.* Синклер Дж.

Smith B. 201

Spencer-Oatey H. 231

Sperber D., *см.* Шпербер Д.

Stalnaker R. 217

Stivers T. 88

Stubbs M., *см.* Стаббз М.

Talmy L., *см.* Талми Л.

Tannen D., *см.* Таннен Д.

Taylor S. 44

Thompson S., *см.* Томпсон С.

Trudgill P., *см.* Традгилл П.

Van Dijk T. A., *см.* Дейк Т. А., ван

Van Oostendorp H. 124

Vanderveken D., *см.* Вандервекен Д.

Waletzky J. 108

Watts R. J. 231

Watson Todd R., *см.* Ватсон Тодд Р.

Wilson D., *см.* Уилсон Д.

Wodak R., *см.* Водак Р.

Yakobson S., *см.* Якобсон С.

Young L. W. L. 256–258

Yule G., *см.* Юл Дж.

Zufferey S. 212

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

вежливость 222–232

 негативная 227–232

 позитивная 227–232

гендер 259–264

гендерлект 268, 269

гендерные исследования (гендерология) 259–278

генеративная грамматика 36, 106

гипотеза гендерных субкультур 264–266

диалог 12, 17, 27, 31, 33, 52, 54, 56, 59, 67, 75, 78–98, 122, 137, 154, 206–210,
214, 219, 233, 236–241, 247, 249–252, 274, 275

дискурс:

 аргументативный 27, 121

 бытовой (неофициальный, неформальный, повседневный) 18,
 20, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 39, 42, 53, 54, 55, 60, 61, 64, 78–88,
 93, 95, 108–110, 133, 134, 137, 140, 143, 189, 217, 235, 237,
 239, 250, 251, 275, 278

 институциональный (официальный) 18, 25, 26, 33, 53, 54, 61, 73,
 80, 95, 137, 143, 158, 189, 231, 234, 237–239, 250–255, 278

 нарративный (повествовательный) 27, 29–31, 39, 60, 63, 64, 68,
 103–111, 173–177

 педагогический 20, 25, 89–98

 письменный 12, 17, 18, 22–26, 28, 34, 41, 44, 47, 51, 53, 56, 58, 60,
 70–72, 92, 108, 133, 134, 137, 188, 204, 210, 219, 243

 политический 16, 25, 26, 42, 121, 152, 158–172, 189–199, 205, 217

 рекламный 16, 71, 124, 149, 152, 159, 205–207, 217,

 устный (разговорный) 12, 14, 15, 17, 19, 22–26, 28, 31, 33, 34, 41, 44,
 45, 47, 51, 53, 54, 59, 64, 71, 75, 78–98, 108–110, 114, 123, 125,
 133–135, 137–139, 184, 188, 204, 206, 210, 215, 219, 242–258

- электронный (виртуальный) 17, 18, 24–27, 34, 53, 56, 62, 71, 72, 135, 141
- дискурсивные (прагматические) маркеры (слова, частицы) 74–77
- иконичность 62–64
- иллокутивная сила (функция) 89, 97, 202–206, 224
- импликатура 67, 123, 211–216
- интеракциональная социолингвистика 38, 41, 54, 242–258
- интертекстуальность 12, 154–157, 183, 188
- инференция 216, 218, 219
- когнитивная наука 119
- когнитивная психология 39, 124, 218
- когезия 56, 64–69, 142, 156
- когезивные маркеры 65, 69, 142
- когеренция 64–69, 75, 131, 142, 147, 157, 208, 219
- коммуникативная инициатива 81–83, 86, 93, 135, 236, 238–241, 275
- коммуникативная неудача 38, 183, 211, 244, 248, 250, 252, 258, 272
- коммуникативная (речевая) ситуация 12, 14, 29, 32, 33, 38, 41, 66, 72, 86, 119, 139, 144, 145, 183, 226, 231, 234, 243, 244
- коммуникативная (речевая) стратегия 118, 122, 232–235, 240, 244, 247, 258, 265, 273
- косвенная 247–250, 273
- прямая 247–250
- коммуникативная (речевая) тактика 23, 122, 230, 233–235, 258, 265, 273
- коммуникативная цель (коммуникативное намерение) 23, 26, 34, 38–40, 56, 66, 70, 78, 114, 115, 117, 137, 183, 189, 202, 223, 232, 235, 244–246, 248, 250, 251, 257
- коммуникативное (речевое) поведение 26, 27, 38, 57, 114, 141, 211, 232, 234, 235, 241–243, 245, 247, 249, 258, 264, 265, 268–271, 273, 275, 278
- коммуникативное (речевое) событие 12, 29, 31, 32, 34, 60, 93, 125, 140, 145, 183
- коммуникативные постулаты 75, 76, 114, 207–215, 219, 221–225
- коммуникативный акт 19, 33, 60
- коммуникативный стиль 247–249, 268–278
- коммуникативный (речевой) ход 23, 90, 98, 233–240
- коммуникация
- вербальная (речевая) 16–18, 21, 96, 202, 215, 232, 242, 244, 245
- невербальная 16, 242

- невербальные компоненты коммуникации 17, 18, 22, 38, 81, 86, 90, 113, 121, 123, 134, 143–145, 244, 245
- компетенция:
- коммуникативная 56, 57, 66, 243
 - языковая 56, 57, 123, 242
- конверсационный анализ 39, 41, 59, 60, 78–88, 91, 200, 236
- контекст дискурса 12, 17, 19, 20, 27, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 52, 55, 61, 62, 66, 83, 85, 86, 90, 113–118, 123, 125, 127, 129, 137–147, 203, 214, 218, 220, 224, 226, 244–246, 258, 259, 269
- когнитивные принципы интерпретации контекста 145–147
 - невербальные компоненты контекста 144–145
 - типы контекстов 142–144
- контекстуализирующие сигналы 245, 250, 252
- критический анализ дискурса 12, 43, 47, 120, 196, 209, 251, 264
- лингвистика текста 5–7, 33, 39, 41, 50, 51, 58, 64, 65, 133, 137, 156, 183, 205
- лингвистическая прагматика 37, 40, 41, 59, 114, 115, 122, 200, 201, 205, 207, 209, 216, 220, 225, 231, 246
- лингвокультурология 147
- лингвокультурное сообщество 147, 148, 150, 153, 154, 188
- линейность 60–62, 132
- межкультурная коммуникация 230, 242, 243, 246, 258
- межкультурная (контрастивная) прагматика 225, 231
- межкультурные различия в дискурсе 38, 211, 225, 242, 244, 246
- мена коммуникативных ролей 54, 73, 79, 80, 82, 83, 86, 236–239
- метакоммуникация 72–74
- методы анализа дискурса:
- качественно-количественные 195–199
 - качественные 45, 125, 128–131, 189
 - обоснованная теория 129, 130
 - когнитивный анализ 189–195
 - количественные 45, 125, 126–131, 158
 - контент-анализ 126–128, 130, 158–172, 196
 - структурный 25, 35, 39, 51, 54, 56, 78, 103–111, 173–188
- модели коммуникации:
- интеракционная 112, 115–117, 244
 - инференционная 112, 114, 115, 117, 132, 216
 - информационно-кодовая 112–114, 118

неограйсианство 211, 221

обмен (как единица устного диалога) 51, 52, 72, 90–98, 215, 237, 239

пара смежных реплик 59, 83, 84, 91

перебивание 229, 236, 237, 240, 244, 247, 270, 275, 276

политкорректный язык 43, 121, 262

пресуппозиция 55, 67, 75, 122, 235

 прагматическая 216, 217

 семантическая 216

прецедентные феномены 147–154

принципы речевого общения 37, 122, 123, 243

 Принцип Вежливости 123, 211, 221–226, 228

 Принцип Интереса 226, 227

 Принцип Иронии 226

 Принцип Кооперации 75, 114, 123, 147, 207–212, 215, 219–221, 225, 226, 228

 Принцип Оптимальности 222

 Принцип Подшучивания 226

 Принцип Поллианны 226

 Принцип Релевантности 219

реплика 28, 41, 45, 51, 52, 54–56, 59, 60, 67, 72, 76, 79–87, 90–98, 109, 116, 122, 125, 135, 182, 203, 206, 224, 236, 237, 245–250, 256, 258, 270, 272, 275, 276

речевое воздействие 20, 27, 120, 121, 151, 196–198, 203, 205, 217

речевое общение (взаимодействие) 17–21, 23, 25–27, 28, 31, 34, 37–39, 41, 42, 44, 53, 55, 61, 67, 72, 73, 75, 78, 80, 83, 85, 86, 89, 90, 92–95, 97, 113–115, 122, 133, 135, 143, 146, 202, 207, 209–212, 215, 217, 222, 227, 231, 232, 234, 236–240, 242–246, 248, 250–254, 257, 258, 262, 265–270, 272–276, 278

речевой акт 31, 94, 97, 114, 115, 122, 125, 143, 144, 202–206, 221–231, 233, 268, 277

 косвенный речевой акт 206, 225, 230, 277

 типы речевых актов 87, 203–204, 277

речевой жанр 28–34, 42, 53, 89, 111, 123, 137, 142, 144, 151, 183, 184, 188, 250, 254,

 жанроведение 29

 жанрообразующие признаки 32, 33

речевой этикет 204, 243, 265

- социальное лицо 227–231
 негативное 227–230
 позитивное 227–230
- социолингвистика 37, 38, 41, 54, 110, 200, 242–258
- структурализм 36, 42, 65, 104, 117, 155, 173, 174, 182
- сюжет 103–105, 107, 174–176, 178, 181, 182, 194
- текстуальность 66, 67
 критерии 56, 69, 156, 183
 презумпция 56, 122, 147
- тема дискурса 23, 29, 33, 42, 53, 55, 67, 69, 71, 73, 76, 92, 104, 111, 126, 131–139, 183, 188, 208, 215, 226, 228, 233, 240, 243, 244, 251, 255–257, 265, 268, 270, 273, 276
- тема предложения 24, 67, 131, 255, 256
- теория искусственного интеллекта 47, 123, 218
- теория концептуальной метафоры (когнитивная теория метафоры) 189–199
- теория метафорического воздействия 196–198
- теория релевантности 219–221
- теория речевых актов 31, 37, 40, 41, 201–206
- теория риторической структуры 58, 68, 133
- фабула 103, 104, 111
- феминистская лингвистика 43, 260–263, 273
- функциональный стиль 14–16
- функции языка 19–21, 37, 39, 40, 46
- шкала разрядов 89, 95
- эвфемизм 121, 227
- этнография коммуникации 38, 140, 200, 244
- этнометодология 39, 78

ЛИТЕРАТУРА

- Аристов 2001 — *Аристов С. А.* Прагмалингвистическое моделирование мены коммуникативных ролей: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2001.
- Арутюнова 1990а — *Арутюнова Н. Д.* Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 136–137.
- Арутюнова 1990б — *Арутюнова Н. Д.* Прагматика // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 389–390.
- Арутюнова, Падучева 1985 — *Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В.* Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 1985. С. 3–42.
- Баранов 1997 — *Баранов А. Г.* Когниотипичность текста. К проблеме уровней абстракции текстовой деятельности // Жанры речи. Саратов: Колледж, 1997. Вып. 1. С. 4–12.
- Баранов 2003 — *Баранов А. Н.* Политическая метафорика публицистического текста: возможности лингвистического мониторинга // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учебн. пос. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 134–140.
- Баранов, Казакевич 1991 — *Баранов А. Н., Казакевич Е. Г.* Парламентские дебаты: традиции и новации. М.: Знание, 1991.
- Баранов, Паршин 1986 — *Баранов А. Н., Паршин П. Б.* Языковые механизмы вариативной интерпретации действительности как средство воздействия на сознание // Роль языка в средствах массовой информации: Сб. обзоров. М.: ИНИОН, 1986. С. 100–143.
- Баранов и др. 1993 — *Баранов А. Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В. и др.* Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М.: Помовский и партнеры, 1993.
-

- Баранов 1991 — *Баранов А. Н.* Очерк когнитивной теории метафоры // *Баранов А. Н., Караулов Ю. Н.* Русская политическая метафора (материалы к словарю). М.: Ин-т русск. яз., 1991. С. 184–192.
- Барт 1989 — *Барт Р.* Воображение знака // *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 246–252.
- Бахтин 1986 — *Бахтин М. М.* Проблема речевых жанров // *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 250–296.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
- Богданов 1977 — *Богданов В. В.* Семантико-синтаксическая организация предложения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.
- Богданов 1990 — *Богданов В. В.* Речевое общение: прагматические и семантические аспекты: Учебн. пос. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.
- Богданов 1993 — *Богданов В. В.* Текст и текстовое общение: Учебн. пос. СПб.: СПбГУ, 1993.
- Богомолова, Стефаненко 1992 — *Богомолова Н. Н., Стефаненко Н. Г.* Контент-анализ. М.: Изд-во МГУ, 1992.
- Богородицкий 1964 — *Богородицкий В. А.* Наука о языке и ее положение в кругу историко-культурных наук. Общая характеристика природы языка. Вопросы чистого и прикладного языковедения // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. 3-е изд. М.: Просвещение, 1964. Ч. 1. С. 295–300.
- Бодуэн де Куртенэ 1963 — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Язык и языки // *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 2. С. 81–82.
- Бремон 1972 — *Бремон К.* Логика повествовательных возможностей // Семиотика и искусствометрия. М.: Мир, 1972. С. 108–135.
- Булыгина 1981 — *Булыгина Т. В.* О границах и содержании прагматики // Известия АН СССР. СЛЯ. 1981. Т. 40. № 4. С. 333–343.
- Булыгина, Шмелёв 1990 — *Булыгина Т. В., Шмелёв А. Д.* Аномалии в тексте: проблемы интерпретации // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М.: Наука, 1990. С. 94–106.
- Васильев 2015 — *Васильев А. Д.* Интертекстуальность. Прецедентные феномены: Учебн. пос. М.: Флинта, 2015.
- Васильева 2001 — *Васильева Т. С.* Обоснованная теория в поле качественного исследования // *Страусс А., Корбин Дж.* Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. М.: УРСС, 2001. С. 225–250.

- Вахтин, Головкин 2004 — *Вахтин Н. Б., Головкин Е. В.* Социолингвистика и социология языка: Учебн. пос. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»; Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2004.
- Вежливость... 2018 — Вежливость и антивежливость в языке и коммуникации: Материалы Междунар. науч. конф. (Ин-т лингвистики РГГУ, 23–24 октября 2018 г.). М.: Политическая энциклопедия, 2018.
- Виноградов 1947 — *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л.: Учпедгиз, 1947.
- Виноградов 1980 — *Виноградов В. В.* О задачах стилистики: Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума // *Виноградов В. В.* О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. С. 3–41.
- Винокур 1993 — *Винокур Т. Г.* Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений говорящего и слушающего // Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект. М.: Наука, 1993. С. 5–29.
- Водак 2011 — *Водак Р.* Критическая лингвистика и критический анализ дискурса // Политическая лингвистика. 2011. Вып. 4 (38). С. 286–291.
- Гаазе-Рапопорт и др. 1980 — *Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А., Семенова Е. Т.* Порождение структур волшебных сказок. М.: ВНИТИ, 1980.
- Гальперин 1981 — *Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.
- Гарфинкель 2007 — *Гарфинкель Г.* Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007.
- Гаспаров 2011 — *Гаспаров М. Л.* Басни Эзопа // *Эзоп. Басни / Пер., вступит. ст. и примеч. М. Л. Гаспарова.* М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 5–38.
- Гольдин 1997 — *Гольдин В. В.* Имена речевых событий, поступков и жанры русской речи // *Жанры речи.* Саратов: Колледж, 1997. Вып. 1. С. 23–34.
- Гольдин 1999 — *Гольдин В. В.* Проблемы жанроведения // *Жанры речи.* Саратов: Колледж, 1999. Вып. 2. С. 4–6.
- Горошко, Жигалина 2010 — *Горошко Е. И., Жигалина Е. А.* Виртуальное жанроведение: устоявшееся и спорное // *Вопросы психолингвистики.* 2010. № 2. С. 105–123.
- Грайс 1985 — *Грайс Г. П.* Логика и речевое общение // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. 16: Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 1985. С. 217–237.
- Греймас, Курте 1983 — *Греймас А. Ж., Курте Ж.* Семиотика. Объяснительный словарь // *Семиотика.* М., 1983. С. 483–550.

- Гудков 2003 — *Гудков Д. Б.* Прецедентные феномены в текстах политического дискурса // *Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учебн. пос.* М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 141–160.
- Дейк 1989а — *Дейк Т. А. ван.* Анализ новостей как дискурса // *Дейк Т. А. ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. С. 111–160.
- Дейк 1989б — *Дейк Т. А. ван.* Когнитивные и речевые стратегии выражения этнических предубеждений // *Дейк Т. А. ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. С. 268–304.
- Дейк 1989в — *Дейк Т. А. ван.* Предубеждения в дискурсе. Рассказы об этнических меньшинствах // *Дейк Т. А. ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. С. 190–227.
- Дейк 1989г — *Дейк Т. А. ван.* Структура новостей в прессе // *Дейк Т. А. ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. С. 228–267.
- Дейк 2013 — *Дейк Т. А. ван.* Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Либроком, 2013.
- Дейк, Кинч 1988 — *Дейк Т. А. ван, Кинч В.* Стратегии понимания связанного текста // *Новое в зарубежной лингвистике.* М., 1988. Вып. 23. С. 153–208.
- Дементьев 1997 — *Дементьев В. В.* Фатические и информативные коммуникативные замыслы и коммуникативные интенции: проблемы коммуникативной компетенции и типология речевых жанров // *Жанры речи.* Саратов: Колледж, 1997. Вып. 1. С. 34–44.
- Дементьев 2010 — *Дементьев В. В.* Теория речевых жанров. М.: Знак, 2010.
- Дённингхаус 2002 — *Дённингхаус С.* Теория речевых жанров М. М. Бахтина в тени прагмалингвистики // *Жанры речи.* Саратов: Колледж, 2002. Вып. 3. С. 104–117.
- Дискурс, речь, речевая деятельность 2000 — *Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты.* Предисловие. М.: ИНИОН РАН, 2000.
- Дискурсивные слова... 1998 — *Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания / Под ред. К. Киселевой, Д. Пайара.* М.: Метатекст, 1998.
- Долинин 1985 — *Долинин К. А.* Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1985.
- Доценко 2000 — *Доценко Е. Л.* Психология манипуляции. М.: ЧеРо, 2000.
- Дубровская 1999 — *Дубровская О. Н.* Сложные речевые события и речевые жанры // *Жанры речи.* Вып. 2. Саратов: Колледж, 1999. С. 97–102.

- Есперсен 1958 — *Есперсен О.* Философия грамматики. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1958.
- Задворная 2006 — *Задворная Е. Г.* Коммуникативные тактики уклонения в научном дискурсе // *Respectus Philologicus*. 2006. № 10 (15). С. 61–72.
- Земская 1988а — *Земская Е. А.* Городская устная речь и задачи ее изучения // *Разновидности городской устной речи*. М.: Наука, 1988. С. 5–44.
- Земская 1988б — *Земская Е. А.* Политематичность как характерное свойство непринужденного диалога // *Разновидности городской устной речи*. М.: Наука, 1988. С. 234–240.
- Земская и др. 1993 — *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Розанова Н. Н.* Особенности мужской и женской речи // *Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект*. М.: Наука, 1993. С. 90–135.
- Ильин 2001 — *Ильин И. П.* Функциональная нарративистика А. Ж. Грей-маса // *Постмодернизм. Словарь терминов*. М.: ИНИОН РАН : Intrada, 2001. С. 322–328.
- Иссерс 2003 — *Иссерс О. С.* Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 3-е изд. М.: УРСС, 2003.
- Иссерс 2013 — *Иссерс О. С.* Речевое воздействие: Учебн. пос. 3-е изд., перераб. М.: Флинта : Наука, 2013.
- Исупова 2002 — *Исупова О. Г.* Конверсационный анализ: представление метода // *Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М)*. 2002. № 15. С. 33–52.
- Кара-Мурза 2003 — *Кара-Мурза С. Г.* Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2003.
- Карасик 2000 — *Карасик В. И.* Этнокультурные типы институционального дискурса // *Этнокультурная специфика речевой деятельности*. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 33–58.
- Караулов 1987 — *Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.
- Квадратура смысла... — *Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса* / Под ред. П. Серию. М.: Прогресс, 1999.
- Кибрик 1987 — *Кибрик А. Е.* Лингвистические предпосылки моделирования языковой деятельности // *Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах*. М.: Наука, 1987. С. 33–51.
- Кибрик 2009 — *Кибрик А. А.* Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // *Вопросы языкознания*. 2009. № 2. С. 3–21.

- Кибрик, Плунгян 1997 — *Кибрик А. А., Плунгян В. А.* Функционализм // *Фундаментальные направления современной американской лингвистики*. М.: Изд-во МГУ, 1997. С. 276–339.
- Кирилина 1999 — *Кирилина А. В.* Гендер: лингвистические аспекты. М.: Ин-т социологии РАН, 1999.
- Кирилина 2004 — *Кирилина А. В.* Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации. М.: РОССПЭН, 2004.
- Китайгородская, Розанова 1999 — *Китайгородская М. В., Розанова Н. Н.* Речь москвичей: коммуникативно-культурологический аспект. М.: Русские словари, 1999.
- Кобозева 1986 — *Кобозева И. М.* «Теория речевых актов» как один из вариантов теории речевой деятельности // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 7–21.
- Кобозева 2004 — *Кобозева И. М.* Лингвистическая семантика. 2-е изд. М.: УРСС, 2004.
- Копнина 2010 — *Копнина Г. А.* Речевое манипулирование: Учебн. пос. 3-е изд. М.: Флинта : Наука, 2010.
- Корбут 2015 — *Корбут А. М.* Говорите по очереди: нетехническое введение в конверсационный анализ // *Социологическое обозрение*. 2015. Т. 14. № 1. С. 120–141.
- Косиков 1984 — *Косиков Г. К.* Структурная поэтика сюжетосложения во Франции // *Зарубежное литературоведение 70-х годов: Направления, тенденции, проблемы*. М.: Наука, 1984. С. 155–204.
- Красных 2002 — *Красных В. В.* Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Лекционный курс. М.: Гнозис, 2002.
- Крейдлин 2002 — *Крейдлин Г. Е.* Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
- Кругосвет — *Кругосвет*: Дискурс. Анализ бытового диалога // *Энциклопедия Кругосвет*. (URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html?page=0,5)
- Кубрякова 1995 — *Кубрякова Е. С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // *Язык и наука конца XX в. М.*: РГГУ, 1995. С. 144–238.
- Кубрякова 2000 — *Кубрякова Е. С.* О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // *Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты*. Сб. обзоров. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 7–25.

- Купина 1995 — *Купина Н. А.* Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург; Пермь: Изд-во Урал. ун-та, 1995.
- Лабов 1975 — *Лабов У.* Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. Вып. 7: Социоллингвистика. М.: Прогресс, 1975. С. 96–181.
- Леви-Строс 1983 — *Леви-Строс К.* Структурная антропология / Пер. с франц., под ред. и с примеч. Вяч. Вс. Иванова. М.: Наука, 1983.
- Леви-Стросс 1985 — *Леви-Стросс К.* Структура и форма: Размышления над одной книгой Владимира Проппа // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М.: Наука, 1985. С. 9–34.
- Левшина 2005 — *Левшина Н. Г.* Речевые тактики в предвыборном обращении (анализ двух предвыборных обращений кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга) // Вестник СПбГУ. 2005. Сер. 9. № 1. С. 47–56.
- Леонтьев 1979 — *Леонтьев А. А.* Высказывание как предмет лингвистики, психоллингвистики и теории коммуникации // Синтаксис текста. М.: Наука, 1979. С. 18–36.
- Литневская, Литневская 2015 — *Литневская Е. И., Литневская О. А.* К определению текстообразующих признаков когезии и когерентности // Вестник МГУ. Сер. 9: Филология. 2015. № 6. С. 116–123.
- Лотман 1992 — *Лотман М. Ю.* Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.
- Макаров 2003 — *Макаров М. Л.* Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003.
- Марусенко, Скребцова 2019 — *Марусенко Н. М., Скребцова Т. Г.* Прагматические пресуппозиции в детективном произведении // Структурная и прикладная лингвистика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. Вып. 12. С. 96–108.
- Масленникова 1999 — *Масленникова А. А.* Лингвистическая интерпретация скрытых смыслов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999.
- Мелетинский 1969 — *Мелетинский Е. М.* Структурно-типологическое изучение сказки // *Пропп В. Я.* Морфология сказки. 2-е изд. М.: Наука, 1969. С. 134–166.
- Миллер 1990 — *Миллер Дж.* Образы и модели, уподобления и метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 236–283.
- Моретти 2016 — *Моретти Ф.* Дальнее чтение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016.
- Москальская 1981 — *Москальская О. И.* Грамматика текста. М.: Высшая школа, 1981.

- Мурзин, Штерн 1991 — *Мурзин Л. Н., Штерн А. С.* Текст и его восприятие. Свердловск: Изд-во УГУ, 1991.
- Муханов 1999а — *Муханов И. Л.* ИмPLICITные смыслы как составная часть семантико-прагматического потенциала высказывания // ИмPLICITность в языке и речи. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 81–87.
- Муханов 1999б — *Муханов И. Л.* О текстообразующей функции имPLICITных смыслов высказывания (диалог) // ИмPLICITность в языке и речи. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 88–94.
- Нечаева 1974 — *Нечаева О. А.* Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974.
- НЗЛ-8 — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8: Лингвистика текста. М.: Прогресс, 1978.
- Николаева 1978 — *Николаева Т. М.* Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8: Лингвистика текста. М., 1978. С. 5–39.
- Николаева 1990 — *Николаева Т. М.* О принципе «некооперации» или категориях социолингвистического воздействия // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М.: Наука, 1990. С. 225–235.
- Остин 1986 — *Остин Дж. Л.* Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 22–129.
- Откупщикова 1982 — *Откупщикова М. И.* Синтаксис связного текста: Учебн. пос. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.
- Падучева 1982 — *Падучева Е. В.* Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла // Семиотика и информатика. М.: ВИНТИ, 1982. Вып. 18. С. 76–119.
- Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М.: Языки славянской культуры, 1996.
- Пешё 1999 — *Пешё М.* Контент-анализ и теория дискурса // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999. С. 302–336.
- Пропп 1969 — *Пропп В. Я.* Морфология сказки. М.: Наука, 1969.
- Пропп 2000 — *Пропп В. Я.* Русская сказка. М.: Лабиринт, 2000.

- Прохоров, Стернин 2002 — Прохоров Ю. Е., Стернин И. А. Русское коммуникативное поведение. М.: Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, 2002.
- Рассказы о сновидениях — Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование русского устного дискурса / Под ред. А. А. Кибрика, В. И. Подлесской. М.: Языки славянских культур, 2009.
- Робен 1999 — Робен Р. Анализ дискурса на стыке лингвистики и гуманитарных наук: вечное недоразумение // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999. С. 184–196.
- Романов 2009 — Романов А. А. Коммуникативная инициатива говорящего в диалоге // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. (URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_11790335_90125710.pdf)
- Руднева 2018 — Руднева Е. А. Стратегии лингвистической вежливости в спонтанном речевом взаимодействии: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2018.
- Сакс и др. 2015 — Сакс Х., Щеглофф Э. А., Джефферсон Г. Простейшая систематика организации очередности в разговоре // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. № 1. С. 142–202.
- Санников 1989 — Санников В. З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. М.: Наука, 1989.
- Седов 1999 — Седов К. Ф. Становление дискурсивного мышления языковой личности: психо- и социолингвистические аспекты. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1999.
- Седов 2007 — Седов К. Ф. Человек в жанровом пространстве повседневной коммуникации // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. М.: Лабиринт, 2007. С. 7–38.
- Серио 1999 — Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999. С. 12–53.
- Сёрль 1986а — Сёрль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 170–194.
- Сёрль 1986б — Сёрль Дж. Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 195–222.

- Скребцова 2008 — *Скребцова Т. Г.* Языковая манипуляция в наименованиях трудовых вакансий (жанр газетных объявлений «Требуются...») // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. трудов. Пермь: Пермский гос. ун-т, 2008. Вып. 12. С. 170–174.
- Скребцова 2012 — *Скребцова Т. Г.* Структурный анализ детективного повествования // Структурная и прикладная лингвистика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. Вып. 9. С. 80–94.
- Скребцова 2016 — *Скребцова Т. Г.* Речевое воздействие и манипулирование // Прикладная и компьютерная лингвистика. М.: УРСС, 2016. С. 294–308.
- Скребцова 2020 — *Скребцова Т. Г.* Смотрите и слушайте как маркеры власти и солидарности // Вестник Томского гос. университета. Филология. 2020. № 64. С. 109–119.
- Соссюр 1999 — *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999.
- Степанов 196 — *Степанов Ю. С.* Французская стилистика. М.: Высшая школа, 1965.
- Степанов 1995 — *Степанов Ю. С.* Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца XX века. М.: РГГУ, 1995. С. 35–73.
- Страусс, Корбин 2001 — *Страусс А., Корбин Дж.* Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. М.: УРСС, 2001.
- Таннен 1996 — *Таннен Д.* «Ты меня не понимаешь!» Почему женщины и мужчины не понимают друг друга. М.: Вече, 1996.
- Таршис 2012 — *Таршис Е. Я.* Исторические корни контент-анализа: Два базовых текста по методологии контент-анализа. М.: Книжный дом «Либроком», 2012.
- Тодоров 1978 — *Тодоров Ц.* Грамматика повествовательного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8: Лингвистика текста. М., 1978. С. 450–463.
- Томашевский 1925 — *Томашевский Б. В.* Теория литературы. Поэтика. М.; Л.: Госиздат, 1925.
- Федосюк 1997 — *Федосюк М. Ю.* Исследование средств речевого воздействия и теория жанров речи // Жанры речи. Саратов: Колледж, 1997. Вып. 1. С. 66–87.

- Федотова 1988 — *Федотова Л. Н.* Контент-аналитические исследования средств массовой информации и пропаганды: Учеб.-метод. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1988.
- Филиппов 2003 — *Филиппов К. А.* Лингвистика текста: курс лекций. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.
- Хаймс 1975 — *Хаймс Д. Х.* Этнография речи // Новое в лингвистике. Вып. 7: Социоллингвистика. М.: Прогресс, 1975. С. 42–95.
- Цымбурский 2014 — *Цымбурский В. Л.* Макроструктура повествования и механизмы его социального воздействия // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. М.: ИНИОН РАН, 2014. С. 161–191.
- Чернявская 2006 — *Чернявская В. Е.* Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. пособие. М.: Флинта, 2006.
- Чернявская 2014 — *Чернявская В. Е.* Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М.: Ленанд, 2014.
- Шабес 1989 — *Шабес В. Я.* Событие и текст. М.: Высшая школа, 1989.
- Шейгал 2004 — *Шейгал Е. И.* Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004.
- Шенк 1980 — *Шенк Р.* Обработка концептуальной информации. М.: Энергия, 1980.
- Шкловский 1929 — *Шкловский В.* Новелла тайн // *Шкловский В.* О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 125–142.
- Шмелёва 1990 — *Шмелёва Т. В.* Речевой жанр: возможности описания и использования в преподавании языка // Russistik. Русистика: научный журнал актуальных проблем преподавания русского языка. Berlin, 1990. № 2. С. 20–32.
- Шмелёва 1997 — *Шмелёва Т. В.* Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов: Колледж, 1997. Вып. 1. С. 88–98.
- Шмелёва, Шмелёв 2002 — *Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д.* Русский анекдот. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Шпербер, Уилсон 1988 — *Шпербер Д., Уилсон Д.* Релевантность // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. С. 212–233.
- Щеглов 1996 — *Щеглов Ю. К.* К описанию структуры детективной новеллы // *Жолковский А. К., Щеглов Ю. К.* Работы по поэтике выразительности. Инварианты — Тема — Приемы — Текст: Сб. статей. М.: АО Издат. группа «Прогресс», 1996. С. 95–112.

- Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 24–39.
- Эко 1998 — *Эко У.* Отсутствующая структура: Введение в семиологию. СПб.: Петрополис, 1998.
- Эко 2002 — *Эко У.* Шесть прогулок в литературных лесах. СПб.: Симпозиум, 2002.
- Эрлих 1996 — *Эрлих В.* Русский формализм. СПб.: Академический проект, 1996.
- Якобсон 1965 — *Якобсон Р.* Выступление на 1-м Международном симпозиуме «Знак и система языка» // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. 3-е изд. М.: Просвещение, 1965. Ч. 2. С. 395–402.
- Якобсон 1975 — *Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 193–230.
- Якобсон 1983 — *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 102–117.
- Якобсон, Лассвелл 2007 — *Якобсон С., Лассвелл Г. Д.* Первомайские лозунги в Советской России (1918–1943) // Политическая лингвистика. 2007. Т. 21. № 1. С. 123–142.
- Ярхо 2006 — *Ярхо Б. И.* Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М.: Языки славянской культуры, 2006.
- Advances... 1992 — *Advances in Spoken Discourse Analysis / Ed. by M. Coulthard.* London; New York: Routledge, 1992.
- Akinnaso, Seabrook Ajiroutu 1982 — *Akinnaso F. N., Seabrook Ajiroutu C.* Performance and ethnic style in job interviews // *Language and Social Identity.* Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1982. P. 119–144.
- Angermuller et al. (eds) 2014 — *The Discourse Studies Reader: Main Currents in Theory and Analysis / Ed. by J. Angermuller, D. Maingueneau, R. Wodak.* Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2014.
- Asch 1946 — *Asch S. E.* Forming impressions of personality // *Journal of Abnormal and Social Psychology.* 1946. Vol. 41. No. 3. P. 258–290.
- Bach 2006 — *Bach K.* The top 10 misconceptions about implicature // *Drawing the Boundaries of Meaning: Neo-Gricean studies in pragmatics and*

- semantics in honor of Laurence R. Horn / Ed. by B. J. Birner, G. Ward. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2006. P. 21–30.
- Bednarek, Caple 2012 — *Bednarek M., Caple H.* News Discourse. London; New York: Continuum International, 2012.
- Bell 1998 — *Bell A.* The discourse structure of news stories // Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell Publishers, 1998. P. 64–104.
- Brinker 2001 — *Brinker K.* Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 5 Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2001.
- Britton, Graesser (eds) 2014 — Models of Understanding Text / Ed. by B. K. Britton, A. C. Graesser. New York; London: Psychology Press, 2014.
- Brown, Gilman 1960 — *Brown R., Gilman A.* The pronouns of power and solidarity // Style in Language / Ed. by T. Sebeok. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1960. P. 253–276.
- Brown, Levinson 1987 — *Brown P., Levinson S.* Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Brown, Yule 1983 — *Brown G., Yule G.* Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Bruner 1986 — *Bruner J.* Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- Campagna et al. (eds) 2012 — Evolving Genres in Web-mediated Communication / Ed. by S. Campagna, G. Garzone, C. Ilie, E. Rowley-Jolivet. Frankfurt-am-Main etc.: Peter Lang, 2012.
- Cap, Dynel 2017 — *Cap P., Dynel M.* Implicitness: From Lexis to Discourse. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2017.
- Charaudeau, Maingueneau 2002 — *Charaudeau P., Maingueneau D.* Dictionnaire d'analyse du discours. Paris: Seuil, 2002.
- Chomsky 1965 — *Chomsky N.* Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1965.
- Clark 2013 — *Clark B.* Relevance Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Clayman, Gill 2012 — *Clayman S. E., Gill V. T.* Conversation analysis // The Routledge Handbook of Discourse Analysis / Ed. by J. P. Gee, M. Handford. London: Routledge, 2012. P. 120–134.
- Clift 2016 — *Clift R.* Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

- Coates 1986 — *Coates J.* Women, men and language: A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language. London; NY: Longman, 1986.
- Cortazzi 2002 — *Cortazzi M.* Narrative Analysis. London: Falmer Press: Routledge, 2002.
- Coulthard 1977 — *Coulthard M.* An Introduction to Discourse Analysis. London; New York: Longman, 1977.
- De Beaugrande 1980 — *De Beaugrande R.* Text, Discourse, and Process: Towards a Multidisciplinary Science of Texts. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1980.
- De Beaugrande 1997 — *De Beaugrande R.* New Foundations for a Science of Text and Discourse: Cognition, Communication, and the Freedom of Access to Knowledge and Society. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1997.
- De Beaugrande, Dressler 1981 — *De Beaugrande R.-A., Dressler W. U.* Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1981.
- De Landtsheer 1998 — *De Landtsheer C.* Introduction to the study of the political discourse // Politically Speaking: A Worldwide Examination of Language Used in the Public Sphere / Ed. by O. Feldman, C. De Landtsheer. Westport, CT: Praeger, 1998. P. 1–16.
- De Landtsheer 2010 — *De Landtsheer C.* Crisis style or radical rhetoric? The speech by Diab Abou Jahjah, leader of the Arab European League // Cognitive Linguistics in Critical Discourse Analysis: Application and Theory / Ed. by C. Hart, D. Lukeš. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. P. 57–80.
- Degand et al. (eds) 2013 — Discourse Markers and Modal Particles: Categorization and Description / Ed. by E. Degand, B. Cornillie, P. Pietrandrea. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2013.
- Downes 1998 — *Downes W.* Language and society. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Dynel 2015 — *Dynel M.* The landscape of impoliteness research // Journal of Politeness Research: Language, Behaviour, Culture. 2015. Vol. 11. No. 2. P. 329–354.
- Fairclough 1989 — *Fairclough N.* Language and Power. London: Longman, 1989.
- Farina 2018 — *Farina M.* Facebook and Conversation Analysis: The Structure and Organization of Comment Threads. London: Bloomsbury Publishing, 2018.

- Fauconnier 1994 — *Fauconnier G.* Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Languages. 2nd ed. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1994.
- Fedriani, Sansó (eds) 2017 — Pragmatic Markers, Discourse Markers and Modal Particles: New Perspectives / Ed. by C. Fedriani, A. Sansó. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2017.
- Frank et al. 2007 — *Frank S. L., Koppen M., Noordman L. G. M., Vonk W.* Modeling multiple levels of text representation // Higher Level Language Processes in the Brain: Inferences and Comprehension Processes / Ed. by F. Schmalhofer, C. A. Perfetti. Mahwah, NJ; London: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. P. 133–157.
- Garzone et al. (eds) 2012 — Genre Change in the Contemporary World: Short-term Diachronic Perspectives / Ed. by G. Garzone, P. Catenaccio, C. Degano. Frankfurt-am-Main etc.: Peter Lang, 2012.
- Gee 2014 — *Gee J. P.* How to Do Discourse Analysis: A Toolkit. 2nd ed. London; New York: Routledge, 2014.
- Gee, Handford (eds) 2012 — The Routledge Handbook of Discourse Analysis / Ed. by J. P. Gee, M. Handford. London: Routledge, 2012.
- Gernsbacher 1990 — *Gernsbacher M. A.* Language Comprehension as Structure Building. New York; London: Psychology Press, 1990.
- Givón 1995 — *Givón T.* Functionalism and grammar. Amsterdam: John Benjamins, 1995.
- Goldthorpe 1973 — *Goldthorpe J. H.* Revolution in sociology // *Sociology* 1973. Vol. 7. P. 449–462.
- Goutsos 1997 — *Goutsos D.* Modeling Discourse Topic: Sequential Relations and Strategies in Expository Text. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1997.
- Graesser et al. (eds) 2003 — Handbook of Discourse Processes / Ed. by A. C. Graesser, M. A. Gernsbacher, S. R. Goldman. London: Routledge, 2003.
- Grimes 1981 — *Grimes J. E.* Topics within topics // Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1981. Washington, DC: Georgetown University Press, 1981. P. 164–176.
- Gumperz 1982 — *Gumperz J. J.* Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Gumperz, Cook-Gumperz 1982 — *Gumperz J. J., Cook-Gumperz J.* Introduction // Language and Social Identity. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1982. P. 1–21.

- Halliday 1961 — *Halliday M. A. K. Categories of the theory of grammar // Word. 1961. Vol. 17. No. 3. P. 241–292.*
- Halliday, Hasan 1976 — *Halliday M. A. K., Hasan R. Cohesion in English. London; NY: Longman, 1976.*
- Harris 1952a — *Harris Z. Discourse analysis // Language. 1952. Vol. 28. No. 1. P. 1–30.*
- Harris 1952b — *Harris Z. Discourse analysis: A sample text // Language. 1952. Vol. 28. No. 4. P. 474–494.*
- Harweg 1988 — *Harweg R. Sentence sequences and cotextual connexity // Text and Discourse Constitution: Empirical Aspects, Theoretical Approaches. Berlin; NY: Walter de Gruyter, 1988. P. 26–53.*
- Horn 2004 — *Horn L. R. Implicature // The Handbook of Pragmatics / Ed. by L. R. Horn, G. Ward. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. P. 3–28.*
- Hsieh, Shannon 2005 — *Hsieh H.-F., Shannon S. E. Three approaches to qualitative content analysis // Qualitative Health Research. 2005. Vol. 15. No. 9. P. 1277–1288.*
- Hyland, Paltridge (eds) 2011 — *Continuum Companion to Discourse Analysis / Ed. by K. Hyland, B. Paltridge. London; New York: Continuum, 2011.*
- Hymes 1966 — *Hymes D. Two types of linguistic relativity // Sociolinguistics / Ed. by W. Bright. The Hague: Mouton, 1966. P. 114–167.*
- Jaspers 2012 — *Jaspers J. Interactional sociolinguistics and discourse analysis // The Routledge Handbook of Discourse Analysis / Ed. by J. P. Gee, M. Handford. London: Routledge, 2012. P. 135–146.*
- Jefferson 1972 — *Jefferson G. Side sequences // Studies in Social Interaction / Ed. by D. N. Sudnow. New York: The Free Press, 1972. P. 294–338.*
- Johnson-Laird 1983 — *Johnson-Laird P. N. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.*
- Johnstone 2002 — *Johnstone B. Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing, 2002.*
- Jupp et al. 1982 — *Jupp T. C., Roberts C., Cook-Gumperz J. Language and disadvantage: the hidden process // Language and Social Identity. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1982. P. 232–256.*
- Kasper, Kellerman 1997 — *Kasper G., Kellerman E. Introduction: Approaches to communication strategies // Communication Strategies: Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives / Ed. by G. Kasper, E. Kellerman. London; New York: Longman, 1997. P. 1–13.*

- Keenan, Schieffelin 1976 — *Keenan E. O., Schieffelin B.* Topic as a discourse notion // *Subject and Topic* / Ed. by C. N. Li. New York: Academic Press, 1976. P. 335–384.
- Kintsch 2004 — *Kintsch W.* The construction-integration model of text comprehension and its implications for instruction // *Theoretical Models and Processes of Reading* / Ed. by R. Ruddell, N. Unrau. 5th ed. Newark, DE: International Reading Association, 2004. P. 1270–1328.
- Labov 1972 — *Labov W.* *Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
- Labov 2013 — *Labov W.* *The Language of Life and Death: The Transformation of Experience in Oral Narratives.* Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Labov, Waletzky 1967 — *Labov W., Waletzky J.* Narrative analysis: oral versions of personal experience // *Essays on the Verbal and Visual Arts: Proc. of the 1966 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society* / Ed. by J. Helm. Seattle; London: University of Washington Press, 1967. P. 12–44.
- Lakoff 2003 — *Lakoff G.* *Metaphor and War, Again.* 2003 // URL: <http://www.alternet.org/story/15414>
- Lakoff 1991 — *Lakoff G.* *Metaphor and war: The metaphor system used to justify War in the Gulf* // *Engulfed in War: Just War and the Persian Gulf* / Ed. by B. Hallet. Honolulu: Matsunaga Institute for Peace, 1991. P. 95–111.
- Lakoff 1987 — *Lakoff G.* *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind.* Chicago, University of Chicago Press, 1987.
- Lakoff, Johnson 1980 — *Lakoff G., Johnson M.* *Metaphors We Live By.* Chicago: University of Chicago Press, 1980.
- Langacker 1988 — *Langacker R. W.* A view of linguistic semantics // *Topics in Cognitive Linguistics* / Ed. by B. Rudzka-Ostyn. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1988. P. 49–90.
- Lasswell 1964 — *Lasswell H. D.* The structure and function of communication in society // *The Communication of Ideas: A Series of Addresses* / Ed. by L. Bryson. New York: Institute for Religious and Social Studies, 1964. P. 37–52.
- Lasswell 1965a — *Lasswell H. D.* *Detection: Propaganda detection and the courts* // *Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics.* 2nd ed. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1965. P. 173–232.

- Lasswell 1965b — *Lasswell H. D.* Style in the language of politics // *Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics*. 2nd ed. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1965. P. 20–39.
- Leech 1983 — *Leech G. N.* *Principles of Pragmatics*. London; New York: Longman, 1983.
- Leech 2014 — *Leech G. N.* *The Pragmatics of Politeness*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Levinson 1983 — *Levinson S.* *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Levinson 2000 — *Levinson S.* *Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature*. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 2000.
- Linde, Labov 1975 — *Linde C., Labov W.* Spatial networks as a site for the study of language and thought // *Language*. 1975. Vol. 51. No. 4. P. 924–940.
- Locher, Watts 2005 — *Locher M. A., Watts R. J.* Politeness theory and relational work // *Journal of Politeness Research: Language, Behaviour, Culture*. 2005. Vol. 1. No. 1. P. 9–33.
- Longacre 1976 — *Longacre R. E.* ‘Mystery’ particles and affixes // *Papers from the 12th Regional Meeting*. Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society, 1976. P. 468–475.
- Longacre, Levinsohn 1978 — *Longacre R., Levinsohn S.* Field analysis of discourse // *Current Trends in Textlinguistics / Ed. by W. U. Dressler*. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1978. P. 103–122.
- Mann, Thompson 1988 — *Mann W. C., Thompson S. A.* Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization // *Text: Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse*. 1988. Vol. 8. No. 3. P. 243–281.
- Mayring 2010 — *Mayring P.* *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz, 2010.
- Mintz 1965 — *Mintz A.* The feasibility of the use of samples in content analysis // *Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics*. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1965. P. 127–152.
- Moeschler 2002 — *Moeschler J.* Speech act theory and the analysis of conversation // *Vanderveken D., Kubo S.* *Essays in Speech Act Theory*. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2002. P. 239–261.
- Pinker 2007 — *Pinker S.* The evolutionary social psychology of off-record indirect speech acts // *Intercultural Pragmatics*. 2007. Vol. 4. No. 4. P. 437–461.

- Power, Dal Martello 1986 — *Power R. J. D., Dal Martello M. F.* Some criticisms of Sacks, Schegloff, and Jefferson on turn-taking // *Semiotica*. 1986. Vol. 58. No. 1–2. P. 29–40.
- Prince 1973 — *Prince G.* *A Grammar of Stories*. Berlin: Mouton, 1973.
- Relevance Theory — *Relevance Theory* // *Stanford Encyclopedia of Pragmatics*. (URL: <https://plato.stanford.edu/entries/implicature/#RelThe>)
- Sacks et al. 1974 — *Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G.* A simplest systematics for the organization of turn-taking for the conversation // *Language*. 1974. Vol. 50. No. 4, part 1. P. 696–735.
- Schegloff et al. 1977 — *Schegloff E. A., Jefferson G., Sacks H.* The preference for self-correction in the organization of repair in conversation // *Language*. 1977. Vol. 53. No. 2. P. 361–382.
- Schegloff, Sacks 1973 — *Schegloff E. A., Sacks H.* Opening up closings // *Semiotica*. 1973. Vol. 8. No. 4. P. 289–327.
- Schiffrin 1987 — *Schiffrin D.* *Discourse markers*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Schiffrin 1994 — *Schiffrin D.* *Approaches to discourse*. Oxford; Cambridge: Blackwell Publishers, 1994.
- Schiffrin et al. 2001 — *Schiffrin D., Tannen D., Hamilton H. E.* *The Handbook of Discourse Analysis*. Oxford: Blackwell Publishers, 2001.
- Scinto 1977 — *Scinto L. F. M.* Textual competence: a preliminary analysis of orally generated texts // *Linguistics*. 1977. No. 194. P. 5–34.
- Scollon, Scollon 2001 — *Scollon R., Scollon S. W.* *Intercultural Communication: A Discourse Approach*. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2001.
- Searle 1992 — *Searle J.* *Conversation* // (On) *Searle on Conversation* / Compiled and introduced by H. Parret, J. Verschuere. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1992. P. 7–29.
- Sidnell, Stivers (eds) 2012 — *The Handbook of Conversation Analysis* / Ed. by J. Sidnell, T. Stivers. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2012.
- Smith 1990 — *Smith B.* *Towards a history of speech act theory* // *Speech Acts, Meanings and Intentions. Critical Approaches to the Philosophy of John R. Searle* / Ed. by A. Burkhardt. Berlin; New York: de Gruyter, 1990. P. 29–61.
- Spencer-Oatey 2005 — *Spencer-Oatey H.* (Im)Politeness, face and perceptions of rapport: unpackaging their bases and interrelationships // *Journal of Politeness Research: Language, Behaviour, Culture*. 2005. Vol. 1. No. 1. P. 95–119.

- Sperber, Wilson 1986 — *Sperber D., Wilson D.* Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
- Stalnaker 1972 — *Stalnaker R.* Pragmatics // Semantics of Natural Language. Dordrecht; Boston: D. Reidel, 1972. P. 380–397.
- Stubbs 1983 — *Stubbs M.* Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Oxford: Blackwell Publishers, 1983.
- Talmy 1983 — *Talmy L.* How language structures space // Spatial orientation: Theory, research, and application / Ed. by H. L. Pick, Jr., L. P. Acredolo. New York; London: Plenum Press, 1983. P. 225–282.
- Tannen 1982 — *Tannen D.* Ethnic style in male-female conversation // Language and Social Identity. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1982. P. 217–231.
- Tannen 1994 — *Tannen D.* Gender and Discourse. New York: Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Tannen 2005 — *Tannen D.* Interactional sociolinguistics as a resource for intercultural pragmatics // Intercultural Pragmatics. 2005. Vol. 2. No. 2. P. 205–208.
- Taylor 2013 — *Taylor S.* What Is Discourse Analysis? London, etc.: Bloomsbury, 2013.
- Trudgill 1974 — *Trudgill P.* The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
- Van Dijk (ed.) 1997a — Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 1: Discourse as Structure and Process / Ed. by T. A. Van Dijk. London, etc.: SAGE Publications, 1997.
- Van Dijk (ed.) 1997b — Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2: Discourse as Social Interaction / Ed. by T. A. Van Dijk. London, etc.: SAGE Publications, 1997.
- Van Dijk 1994 — *Van Dijk T. A.* Discourse and cognition in society // *Crowley D., D. Mitchell* (eds). Communication Theory Today. Cambridge: Polity Press, 1994. P. 107–126.
- Van Oostendorp, Goldman (eds) 1999 — *Van Oostendorp H., Goldman S. R.* (eds). The Construction of Mental Representations during Reading. Mahwah, NJ; London: Lawrence Erlbaum Associates, 1999.
- Vanderveken 2001 — *Vanderveken D.* Illocutionary logic and discourse typology // *Revue Internationale de Philosophie*. 2001. No. 2. P. 243–255.
- Watson Todd 2011 — *Watson Todd R.* Analysing discourse topics and topic keywords // *Semiotica*. 2011. Vol. 184. P. 251–270.

- Watson Todd 2016 — *Watson Todd R.* Discourse Topics. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2016.
- Wilson, Sperber 2012 — *Wilson D., Sperber D.* Meaning and Relevance. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Wodak 1996 — *Wodak R.* Disorders of Discourse. London; New York: Longman, 1996.
- Yakobson, Lasswell 1965 — *Yakobson S., Lasswell H. D.* May Day slogans in Soviet Russia, 1918–1943 // *Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics*. 2nd ed. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1965. P. 233–297.
- Young 1982 — *Young L. W. L.* Inscrutability revisited // *Language and Social Identity*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1982. P. 72–84.
- Zufferey et al. 2019 — *Zufferey S., Moeschler J., Reboul A.* Implicatures. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
-

Татьяна Георгиевна Скребцова

ЛИНГВИСТИКА ДИСКУРСА:
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА
Курс лекций

Корректор О. Круподер
Ведущий редактор И. Богатырева
Оригинал-макет и оформление переплета И. Богатыревой

Подписано в печать 20.05.2020. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Minion Pro.
Усл. печ. л. 19,5. Тираж 500. Заказ №

Издательский Дом ЯСК
№ госрегистрации 1147746155325
Phone: 8 (495) 624-35-92 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

ООО «ИТДГК «Гнозис»»
Розничный магазин «Гнозис» (с 10:00 до 19:00)
Турчанинов пер., д. 4, стр. 2. Тел.: +7 499 255-77-57
itdkggnosis@gmail.com

Оптовый отдел
Ул. Бутлерова, д. 17Б, оф. 313. Тел.: +7 499 793-58-01
sales@gnosisbooks.ru
www.gnosisbooks.ru, vk.com/gnosisbooks
